МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

В. В. НАБОКОВ

ДРУГИЕ БЕРЕГА



В. В. Набоков

Другие берега



Москва
Берлин
2020

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2=411.2)6-442.3
Н14

Набоков, В. В.
Н14 Другие берега : автобиография / В. В. Набоков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 368 с.

ISBN 978-5-4499-0401-0

Издание открывает автобиографическое произведение Владимира Владимировича Набокова (1899–1977 гг.) «Другие берега». «Американский писатель, рожденный в России» и «безбожник с вольной душой», каковым он сам себя определил, объял в своих воспоминаниях почти сорокалетний период — с начала XX века по май 1940 года – времени окончательного переселения В. В. Набокова из Европы в Соединенные Штаты. Цель книги, по мнению автора, – «…описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе».

Автор скандальной «Лолиты» всю свою жизнь не переставал удивлять окружающих противоречивым характером и шокирующими произведениями. «Любитель не только парадокса, но и мастер камуфляжа, запутыванья следов, нагромождающий камни преткновения перед своими исследователями, он как будто и посмертно желал бы ускользнуть — как личность — от любознательности или любопытства следующих поколений» — именно так охарактеризовала своего современника Владимира Набокова русская писательница и мемуаристка Зинаида Алексеевна Шаховская (1906–2001 гг.) в книге «В поисках Набокова».

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2=411.2)6-442.3

ISBN 978-5-4499-0401-0

Другие берега

Автобиография

Посвящаю моей жене

Предисловие к русскому изданию

Предлагаемая читателю автобиография обнимает период почти в сорок лет — с первых годов века по май 1940 года, когда автор переселился из Европы в Соединенные Штаты. Ее цель — описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон.

Основой и отчасти подлинником этой книги послужило ее американское издание, «Conclusive Evidence»[1]. Совершенно владея с младенчества и английским и французским, я перешел бы для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который, до того как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда в 1940 году я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишком лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого — или Иванова, няни, русской публицистики — словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла

[1] «Убедительное Доказательство» *(англ.)*.

довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, — и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставанья с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня.

Я вижу невыносимые недостатки в таких моих английских сочинениях, как, например, «The Real Life of Sebastian Knight»[2]; есть кое-что удовлетворяющее меня в «Bend Sinister»[3] и некоторых отдельных рассказах, печатавшихся время от времени в журнале «The New Yorker». Книга «Conclusive Evidence» писалась долго (1946–1950), с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад — музыкально недоговоренный, русский, — а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. В получившейся книге некоторые мелкие части механизма были сомнительной прочности, но мне казалось, что целое работает довольно исправно — покуда я не взялся за безумное дело перевода «Conclusive Evidence» на прежний, основной мой язык. Недостатки объявились такие, так отвратительно таращилась иная фраза, так много было и пробелов и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: «Позвольте представиться, — сказал попутчик мой без улыбки. — Моя фамилья N.». Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. «Так-то, сударь», — закончил он со вздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо

[2] «Истинная Жизнь Себастьяна Найта» *(англ.)*.

[3] «Под Знаком Незаконнорожденных» *(англ.)*.

над каким-то пригородом, там и сям еще горели, или уже зажглись, окна в отдаленных домах...

Вот звон путеводной ноты.

Глава первая

1

Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час. Я знавал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией и в отношении к безграничному прошлому. С томлением прямо паническим просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет вовсе, что никто его отсутствия не замечает и по нем не горюет. Особенно навязчив и страшен был вид только что купленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной косностью гроба; коляска была пуста, как будто «при обращении времени в мнимую величину минувшего», как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости его исчезли.

Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям. И то сказать: коли та или другая добротная догма не приходит в подмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности. В зрелом же возрасте рядовой читатель так привыкает к непонятности ежедневной жизни, что относится с равнодушием к обеим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт. Так

давайте же ограничим воображение. Его дивными и мучительными дарами могут наслаждаться только бессонные дети или какая-нибудь гениальная развалина. Дабы восторг жизни был человечески выносим, давайте (говорит читатель) навяжем ему меру.

Против всего этого я решительно восстаю. Я готов, перед своей же земной природой, ходить, с грубой надписью под дождем, как обиженный приказчик. Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль — но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы. Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унизительным соседством романисток, лепечущих о разных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхассы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах — и раз уж я заговорил о снах, прошу заметить, что безоговорочно отметаю фрейдовщину и всю ее темную средневековую подоплеку, с ее маниакальной погоней за половой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие.

В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы —

моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно, и открытие, что я — *я*, а мои родители — *они*, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток — и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне, летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, — между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Все это соответствует теории онтогенического повторения пройденного. Филогенически же, в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени.

Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретилась в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряску. При этом втором крещении, более действительном, чем первое (совершенное при воплях полуутопленного полувиктора, — звонко, из-за двери, мать успела поправить нерасторопного протоиерея Константина Ветвеницкого), я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил — как делишь, плещась, яркую морскую воду — с другими купающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, — моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку, — отец. Они шли, и между

ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня, посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей — длинную, прямую, обсаженную дубками, — прорезавших «новую» часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, двадцать первого, по нашему календарю, июля 1902 года: и, глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого оба моих водителя, и левый и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами; но теперь, при созвучии трех цифр, крепкая, облая, сдобно-блестящая кавалергардская кираса, обхватывавшая грудь и спину отца, взошла как солнце, и слева, как дневная луна, повис парасоль матери; и потом в течение многих лет я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени.

Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутке, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания — что тоже имеет рекапитулярный смысл, ибо первые существа, почуявшие течение времени, несомненно, были и первыми умевшими улыбаться.

2

Первобытная пещера, а не модное лоно, — вот (венским мистикам наперекор) образ моих игр, когда мне было три-четыре года. Передо мной встает большой диван, с клеверным крапом по белому кретону, в одной из гостиных нашего деревенского дома: это массив, нагроможденный в

эру доисторическую. История начинается неподалеку от него, с флоры прекрасного архипелага, там, где крупная гортензия в объемистом вазоне со следами земли наполовину скрывает за облаками своих бледно-голубых и бледно-зеленых соцветий пьедестал мраморной Дианы, на которой сидит муха.



В. В. Набоков с родителями

Прямо над диваном висит батальная гравюра в раме из черного дерева, намечая еще один исторический этап. Стоя на пружинистом кретоне, я извлекал из ее смеси эпизодического и аллегорического разные фигуры, смысл которых раскрывался с годами; раненого барабанщика, трофеи, павшую лошадь, усачей со штыками и, неуязвимого среди этой застывшей возни, бритого императора в походном сюртуке на фоне пышного штаба.

С помощью взрослого домочадца (которому приходилось действовать сначала обеими руками, а потом мощным коленом) диван несколько отодвигался от стены (здравствуйте, дырочки штепселя). Из диванных валиков строилась крыша; тяжелые подушки служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным наслаждением. Делалось душно и страшно, в коленку впивался кусочек ореховой скорлупы, но я все же медлил в этой давящей тьме, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы. Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему; и, весь вспыхнув как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку. Мечтательнее и тоньше была другая пещерная игра, — когда, проснувшись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла и давал волю воображению среди бледного света, полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей. Заодно воскресает образ моей детской кровати, с подъемными сетками из пушистого шнура по бокам, чтобы автор не выпал; и, в свою очередь, этот образ направляет память к другому утреннему приключению. Как, бывало, я упивался восхитительно крепким, гранатово-красным, хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи! Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенько намок, я туго заворачивал в него граненое сокровище и, все еще подлизывая спеленутые его плоскости, глядел, как горящий румянец постепенно просачивается сквозь влажную ткань со все возрастающей насыщенностью рдения. Непосредственнее этого мне редко удавалось питаться красотой.

Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям; но как же не быть мне благодарным им?

Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И все я стою на коленях — классическая поза детства! — на полу, на постели, над игрушкой, ни над чем. Как-то раз, во время заграничной поездки, посреди отвлеченной ночи, именно так я стоял на подушке у окна спального отделения: это было, должно быть, в 1903 году, между прежним Парижем и прежней Ривьерой, в давно не существующем тяжелозвонном train de luxe[4], вагоны которого были окрашены понизу в кофейный цвет, а поверху — в сливочный. Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тисненую шторку в головах моей койки. С неизъяснимым замираньем я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства. Загадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, — и в силу этой гармонии они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками. Привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до глав юности. И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же

[4] Экспресс *(фр.)*.

все запасы и заготовки были сделаны, гениальность исчезла, как бывает оно с вундеркиндами в узком значении слова — с каким-нибудь кудрявым, смазливым мальчиком, управлявшим оркестром или укрощавшим гремучий, громадный рояль, у пальмы, на освещенной как Африка сцене, но впоследствии становящимся совершенно второстепенным, лысоватым музыкантом, с грустными глазами, и какой-нибудь редкой внутренней опухолью, и чем-то тяжелым и смутно уродливым в очерке евнушьих бедер. Пусть так, но индивидуальная тайна пребывает и не перестает дразнить мемуариста. Ни в среде, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор, оттиснувший в начале моей жизни тот неповторимый водяной знак, который сам различаю только подняв ее на свет искусства.

3

Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки саг. Но в иных случаях хронология ложится у ног с любовью. Вижу, например, такую картину: карабкаюсь лягушкой по мокрым, черным приморским скалам; мисс Норкот, томная и печальная гувернантка, думая, что я следую за ней, удаляется с моим братом вдоль взморья; карабкаясь, я твержу, как некое истое, красноречивое, утоляющее душу заклинание, простое английское слово «чайльдхуд» (детство); знакомый звук постепенно становится новым, странным, и вконец завораживается, когда другие «худ»'ы к нему присоединяются в моем маленьком, переполненном и кипящем мозгу — «Робин Худ» и «Лишь Ред Райдинг Худ» (Красная Шапочка) и бурый куколь («худ») горбуньи-феи. В скале есть впадинки, в них стоит теплая морская водица, и, бормоча, я как бы колдую над этими васильковыми купелями.

Место это, конечно, Аббация, на Адриатике. Накануне в кафе у фиумской пристани, когда уже нам подавали заказанное, мой отец заметил за ближним столиком двух японских офицеров — и мы тотчас ушли; однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем небной болью рту. Время, значит, 1904 год, мне пять лет. Лондонский журнал, который выписывает мисс Норкот, со смаком воспроизводит рисунки японских корреспондентов, изображающих, как будут тонуть совсем на вид детские — из-за стиля японской живописи — паровозы русских, если они вздумают провести рельсы по байкальскому льду.

У меня, впрочем, есть в памяти и более ранняя связь с этой войной. Как-то в начале того же года, в нашем петербургском особняке, меня повели из детской вниз, в отцовский кабинет, показаться генералу Куропаткину, с которым отец был в коротких отношениях. Желая позабавить меня, коренастый гость высыпал рядом с собой на оттоманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая: «Вот это — море — в тихую — погоду». Затем он быстро сдвинул углом каждую чету спичек, так чтобы горизонт превратился в ломаную линию, и сказал: «А вот это — море в бурю». Тут он смешал спички, и собрался было показать другой — может быть, лучший — фокус, но нам помешали. Слуга ввел его адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крякнув, Куропаткин, в полтора, как говорится, приема, встал с оттоманки, причем разбросанные на ней спички, подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным главнокомандующим Дальневосточной армии.

Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил

седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет, опростившемуся Куропаткину избежать советского конца (энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот). Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись; пропала и его армия; провалилось все; провалилось, как проваливались сквозь слюду ледка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду висбаденского отеля, зимой 1904–1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста.

4

Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень, но никогда не оставались так долго — целый год — за границей, как тогда, и мне, шестилетнему, довелось впервые по-настоящему испытать древесным дымом отдающий восторг возвращения на родину — опять же, милость судьбы, одна из ряда прекрасных репетиций, заменивших представление, которое, по мне, может уже не состояться, хотя этого, как будто, и требует музыкальное разрешение жизни.

Итак, переходим к лету 1905 года: мать с тремя детьми в петербургском имении; политические дела задерживают отца в столице. В один из коротких своих наездов к нам, в Выру, он заметил, что мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, но русской азбуки не знаем (помнится, кроме таких слов, как «какао», я ничего по-русски не мог прочесть). Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять.

Каким веселым звуком, под стать солнечной и соленой ноте свистка, украшавшего мою белую матроску, зовет меня мое дивное детство на возобновленную встречу с бодрым Василием Мартыновичем! У него было толстовского типа широконосое лицо, пушистая плешь, русые усы и светло-голубые, цвета моей молочной чашки, глаза с небольшим интересным наростом на одном веке. Рукопожатие его было крепкое и влажное. Он носил черный галстук, повязанный либеральным бантом, и люстриновый пиджак. Ко мне, ребенку, он обращался на «вы», как взрослый к взрослому, т. е. совершенно по-новому, — не с противной чем-то интонацией наших слуг и, конечно, не с особой пронзительной нежностью, звеневшей в голосе матери (когда ей случалось хватиться самого крохотного пассажира, или оказывался у меня жар, и она переходила на «вы», словно хрупкое «ты» не могло бы выдержать груз ее обожания). Он был, как говорили мои тетки, шипением своего ужаса, как кипятком, ошпаривая человека, «красный»; мой отец его вытащил из какой-то политической истории (а потом, при Ленине, его, по слухам, расстреляли за эсэрство). Брал он меня чудесами чистописания, когда, выводя «покой» или «люди», он придавал какую-то органическую густоту тому или другому сгибу, точно это были готовые ожить ганглии, чернилоносные сосуды. Во время полевых прогулок, завидя косарей, он сочным баритоном кричал им: «Бог помощь!» В дебрях наших лесов, горячо жестикулируя, он говорил о человеколюбии, о свободе, об ужасах войны и о тяжкой необходимости взрывать тиранов динамитом. Когда же он потчевал меня цитатами из «Долой Оружье!» благонамеренной, но бездарной Берты Зуттнер, я горячо восставал в защиту кровопролития, спасая свой детский мир пружинных пистолетов и Артуровых рыцарей.



Набоков (справа) с матерью Е. И. Набоковой,
братом Сергеем, сестрами Еленой и Ольгой 1907 г.

С помощью Василия Мартыновича Мнемозина может следовать и дальше по личной обочине общей истории. Спустя года полтора после «Выборгского Воззвания» (1906) отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью беззаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги), которую переносил преданный друг семьи, А. И. Каминка. Мы были в деревне, когда его выпустили; Василий Мартынович руководил торжественной встречей, украсив проселочную дорогу арками из зелени — и откровенно красными лентами. Мать ехала с отцом со станции Си-

верской, а мы, дети, выехали им навстречу; и, вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу — сперва шедшую между Старым парком и Новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошеных полей; — а дальше: поворот, спуск к реке, искрящейся промеж парчовой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост, через рукав Оредежи, другой холм, с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых; наконец: шоссейную дорогу через село, окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб; флаги перед новым, каменным, зданием сельской школы рядом со старым, деревянным; и, при стремительном нашем проезде, черную, белозубую собачонку, выскочившую откуда-то с невероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую лай до того мгновения, когда она очутится вровень с коляской.

5

В это первое необыкновенное десятилетие века фантастически перемешивалось новое со старым, либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фаталистическим богатством. Не раз случалось, что, во время завтрака в многооконной, орехом обшитой столовой вырского дома, буфетчик Алексей наклонялся с удрученным видом к отцу, шепотом сообщая (при гостях шепот становился особенно шепеляв), что пришли мужики и просят его выйти к ним. Быстро переведя салфетку с колен на скатерть и извинившись перед моей матерью, отец покидал стол. Одно из восточных

окон выходило на край сада у парадного подъезда; оттуда доносилось учтивое жужжанье, невидимая гурьба приветствовала барина. Из-за жары окна были затворены, и нельзя было разобрать смысл переговоров: крестьяне, верно, просили разрешенья скосить или срубить что-нибудь, и если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и его, по старинному русскому обычаю, дюжие руки раскачивали и подкидывали несколько раз.



Усадебный дом в Выре

В столовой между тем братцу и мне велено было продолжать есть. Мама, готовясь снять двумя пальцами с вилки комочек говядины, заглядывала вниз, под воланы скатерти, там ли ее сердитая и капризная такса. «Un jour ils vont le laisser tomber»[5] — замечала Mlle Golay, чопорная старая пессимистка, бывшая гувернантка матери, продолжавшая

[5] Когда-нибудь они его уронят *(фр.)*.

жить у нас в доме, всегда кислая, всегда в ужасных отношениях с детскими англичанками и француженками. Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там, за стеклом, на секунду являлась, в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыблелся, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и «ура» незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь, и как бы навек, на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые, в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, парят на церковных сводах в звездах, между тем как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мреении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застят лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней, в еще не закрытом гробу.

Глава вторая

1

Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, но неизлечимых галлюцинаций. Одни из них слуховые, другие зрительные, а проку от них нет никакого. Вещие голоса, останавливавшие Сократа и понукавшие Жанну Дарк, сводятся в моем случае к тем обрывочным пустякам, которые — подняв телефонную трубку — тотчас прихлопываешь, не желая подслушивать чужой вздор. Так, перед отходом ко сну, но в полном еще сознании, я часто слышу, как в смежном отделении мозга непринужденно идет какая-то странная однобокая беседа, никак не относящаяся к действительному

течению моей мысли. Присоединяется, иначе говоря, неизвестный абонент, безличный паразит; его трезвый, совершенно посторонний голос произносит слова и фразы, ко мне не обращенные и содержания столь плоского, что не решаюсь привести пример, дабы нечаянно не заострить хоть слабым смыслом тупость этого бубнения. Ему есть и зрительный эквивалент — в некоторых предсонных образах, донимающих меня, особенно после кропотливой работы. Я имею в виду, конечно, не «внутренний снимок» — лицо умершего родителя, с телесной ясностью возникающее в темноте по приложении страстного, героического усилия; не говорю я и о так называемых muscae volitantes[6] — тенях микроскопических пылинок в стеклянистой жидкости глаза, которые проплывают прозрачными узелками наискось по зрительному полю, и опять начинают с того же угла, если перемигнешь. Ближе к ним — к этим гипногогическим увеселениям, о которых идет неприятная речь, — можно, пожалуй, поставить красочную во мраке рану продленного впечатления, которую наносит, прежде чем пасть, свет только что отсеченной лампы. У меня вырастали из рубиновых оптических стигматов и Рубенсы, и Рембрандты, и целые пылающие города. Особого толчка, однако, не нужно для появления этих живописных призраков, медленно и ровно развивающихся перед закрытыми глазами. Их движение и смена происходят вне всякой зависимости от воли наблюдателя и, в сущности, отличаются от сновидений только какой-то клейкой свежестью, свойственной переводным картинкам, да еще тем, конечно, что во всех их фантастических фазах отдаешь себе полный отчет. Они подчас уродливы: привяжется, бывало, средневековый, грубый профиль, распаленный вином карл, нагло растущее ухо или нехорошая ноздря. Но иногда, перед

[6] Перелетающие мухи *(лат.)*.

самым забытьем, пухлый пепел падает на краски, и тогда фотизмы мои успокоительно расплываются, кто-то ходит в плаще среди ульев, лиловеют из-за паруса дымчатые острова, валит снег, улетают тяжелые птицы.

Кроме всего, я наделен в редкой мере, так называемой audition colorée — цветным слухом. Тут я мог бы невероятными подробностями взбесить самого покладистого читателя, но ограничусь только несколькими словами о русском алфавите: латинский был мною разобран в английском оригинале этой книги.

Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о «слухе»: цветное ощущение создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между разноязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от нее (или, иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма), может быть как-нибудь причастен понятию «структурных» красок в природе. Любопытно, что большей частью русская, инакописная, но идентичная по звуку, буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской.

Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное (по сравнению с рваным R) Р; крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, О, Х, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Ш и такое же, но с прожелтью, Щ.

Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем B), розово-фланелевым М и розовато-телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжеватым Е, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т (все это суше, чем их латинские однозвучия); и наконец, синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым З. Такова моя азбучная радуга (ВЁЕПСКЗ).

Исповедь синестета назовут претенциозной те, кто защищен от таких просачиваний и смешений чувств более плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери все это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков — и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не всегда того же цвета, что ее; согласные она видела довольно неясно, но зато музыкальные ноты были для нее как желтые, красные, лиловые стеклышки, между тем как во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Надобно сказать, что у обоих моих родителей был абсолютный слух: но, увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний. Могу по бедности понять и принять цыганистую скрипку или какой-нибудь влажный перебор арфы в «Богеме», да еще всякие испанские спазмы и звон, — но концертное фортепиано с фалдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших — оголение всех нервов и даже понос.

Моя нежная и веселая мать во всем потакала моему ненасытному зрению. Сколько ярких акварелей она писала при

мне, для меня! Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего вырастал куст персидской сирени в райском цвету! Какую муку и горе я испытывал, когда мои опыты, мои мокрые, мрачно-фиолетово-зеленые картины, ужасно коробились или свертывались, точно скрываясь от меня в другое, дурное, измерение! Как я любил кольца на материнской руке, ее браслеты! Бывало, в петербургском доме, в отдаленнейшей из ее комнат, она вынимала из тайника в стене целую груду драгоценностей, чтобы позанять меня перед сном. Я был тогда очень мал, и эти струящиеся диадемы и ожерелья не уступали для меня в загадочном очаровании табельным иллюминациям, когда в ватной тишине зимней ночи гигантские монограммы и венцы, составленные из цветных электрических лампочек — сапфирных, изумрудных, рубиновых, — глухо горели над отороченными снегом карнизами домов.

2

Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. В детстве, до десяти, что ли, лет, я был отягощен исключительными, и даже чудовищными, способностями к математике, которые быстро потускнели в школьные годы и вовсе пропали в пору моей, на редкость бездарной во всех смыслах, юности (от пятнадцати до двадцати пяти лет). Математика играла грозную роль в моих ангинах и скарлатинах, когда, вместе с расширением термометрической ртути, беспощадно пухли огромные шары и многозначные цифры у меня в мозгу. Неосторожный гувернер поторопился объяснить мне — в восемь лет — логарифмы, а в одном из детских моих английских журналов мне попалась статейка про феноменального индуса, который ровно в две секунды мог извлечь корень семнадцатой степени из такого, скажем, приятного числа, как 3529471145760275132301897342055866171392 (кажется, 212, но это неважно). От этих монстров, откормленных на

моем бреду и как бы вытеснявших меня из себя самого, невозможно было отделаться, и в течение безнадежной борьбы я поднимал голову с подушки, силясь объяснить матери мое состояние. Сквозь мои смещенные логикой жара слова она узнавала все то, что сама помнила из собственной борьбы со смертью в детстве, и каким-то образом помогала моей разрывающейся вселенной вернуться к Ньютонову классическому образцу.



Родители Набокова в Выре, 1900 г.

Будущему узкому специалисту-словеснику будет небезынтересно проследить, как именно изменился, при передаче литературному герою (в моем романе «Дар»), случай, бывший и с автором в детстве. После долгой болезни я лежал в постели, размаянный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок: планомерная ежедневность приношений придавала медленным выздоравливаниям и прелесть и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать, но сквозь магический кристалл моего настроения я со сверхчувственной ясностью видел ее санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому (ныне Проспекту какого-то Октября, куда вливается удивленный Герцен). Я различал все: гнедого рысака, его храп, ритмический шелк его мошны и твердый стук комьев мерзлой земли и снега об передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике, кучерской зад, с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке; они показывали двадцать минут третьего. Мать в вуали, в котиковой шубе, поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях; петли медвежьей полости были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятках, выездной с кокардой.

Не выпуская санок из фокуса ясновидения, я остановился с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги: он нес за ней покупку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом, так что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полость,

я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня. Видел и знакомую ужимку матери: у нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка, и вот сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне, летит, ликуя, стремглав из снежно-синего, синеоконного (еще не спустили штор) прошлого.

Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась с хитрой полуулыбкой. В объятиях у нее большой, удлиненный пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении оттого, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещей некоторая склонность к гигантизму. Но нет: карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом, около двух аршин в длину и соответственно толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана как дирижабль, и мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что нельзя было, или не совсем можно было, за деньги купить (приказчику пришлось сначала снестись с неким доктором Либнером, точно дело было и впрямь врачебное). Помню секунду ужасного сомнения: из графита ли острие, или это подделка? Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идет через всю длину: надобно отдать справедливость Фаберу и Либнеру, с их стороны это было сущее «искусство для искусства».

«О, еще бы, — говаривала мать, когда, бывало, я делился с нею тем или другим необычайным чувством или наблюдением, — еще бы, это я хорошо знаю...» И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию, и сны, и потрескивающие столики, и странные ощущения «уже раз виденного» (le déjà vu). Среди отдаленных ее предков, сибирских Рукавишниковых (коих не должно смешивать с известными

московскими купцами того же имени), были староверы, и звучало что-то твердо-сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церкви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась; страшная беззащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе — это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то *настоящего.* Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чуют и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений, — стройную действительность прошедшей и предстоящей яви.

3

Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе — таково было ее простое правило. «Вот запомни», — говорила она, с таинственным видом, предлагая моему вниманию заветную подробность: жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зарниц, снимающих в разных положеньях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имению, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. Ее родители оба скончались, от рака, вскоре после ее свадьбы, а до этого умерло молодыми семеро из девяти их детей, и память обо всей этой обильной далекой жизни, мешаясь с веселыми велосипедами и крокетными дужками

ее девичества, украшало мифологическими виньетками Выру, Батово и Рождествено на детальной, но несколько несбыточной карте. Таким образом, я унаследовал восхитительную фатаморгану, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество — и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь. Материнские отметины и зарубки были мне столь же дороги, как и ей, так что теперь в моей памяти представлена и комната, которая в прошлом отведена была ее матери под химическую лабораторию, и отмеченный — тогда молодой, теперь почти шестидесятилетней — липою подъем в деревню Грязно, перед поворотом на Даймищенский большак, — подъем столь крутой, что приходилось велосипедистам спешиваться, — где, поднимаясь рядом с ней, сделал ей предложение мой отец, и старая теннисная площадка, чуть ли не каренинских времен, свидетельница благопристойных перекидок, а к моему детству заросшая плевелами и поганками.

Новая теннисная площадка — в конце той узкой и длинной просади черешчатых дубков, о которых я уже говорил, — была выложена по всем правилам грунтового искусства рабочими, выписанными из Восточной Пруссии. Вижу мать, отдающую мяч в сетку — и топающую ножкой в плоской белой туфле. Майерсовское руководство для игры в лоун-теннис перелистывается ветерком на зеленой скамейке. С добросовестными и глупыми усилиями бабочки-белянки пробивают себе путь в проволочной ограде вокруг корта. Воздушная блуза и узкая пикейная юбка матери (она играет со мной в паре против отца и брата, и я сержусь на ее промахи) принадлежат к той же эпохе, как фланелевые рубашки и штаны мужчин. Поодаль, за цветущим лугом, окружающим площадку, проезжие мужики глядят с почтительным удивлением на резвость господ, точно так же, как глядели на волан или серсо в восемнадцатом веке. У отца сильная прямая

подача в классическом стиле английских игроков того времени, и, сверяясь с упомянутой книгой, он все справляется у меня и у брата, сошла ли на нас благодать — отзывается ли драйв у нас от кисти до самого плеча, как полагается.

Мать любила и всякие другие игры, особенно же головоломки и карты. Под ее умело витающими руками из тысячи вырезанных кусочков постепенно складывалась на ломберном столе картина из английской охотничьей жизни, и то, что казалось сначала лошадиной ногой, оказывалось частью ильма, а никуда не входившая пупочка (материнское слово для всякой кругловатой штучки) вдруг приходилась к крапчатому крупу, удивительно ладно восполняя пробел — вернее, просинь, ибо ломберное сукно было голубое. Эти точные восполнения доставляли мне, зрителю, какое-то и отвлеченное, и осязательное удовольствие.

В начале второго десятилетия века у нее появилась страсть к азартным играм, особенно к покеру; последний был занесен в Петербург радением дипломатического корпуса, но, по пути из далекой Америки пройдя через сравнительно близкий Париж, он пришел к нам оснащенный французскими названиями комбинаций, как, например, brelan и couleur[7]. Технически говоря, это был так называемый draw poker с довольно частыми jack-pot'ами и с джокером, заменяющим любую карту. Мать иногда играла до четырех часов утра, и впоследствии вспоминала с наивным ужасом, как шофер дожидался ее во всю морозную ночь; на самом деле чай с ромом в сочувственной кухне значительно скрашивал эти вигилии.

Любимейшим ее летним удовольствием было хождение по грибы. В оригинале этой книги мне пришлось подчеркнуть само собою понятное для русского читателя отсутствие гастрономического значения в этом деле. Но, разговаривая

---

[7] Брелан и масть покер *(фр.)*.

с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как, например, то, что сыроежки или там рыжики, и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармой, совершенно игнорировались знатоками, которые брали только классически прочно и округло построенные виды из рода Boletus, боровики, подберезовики, подосиновики. В дождливую погоду, особливо в августе, множество этих чудных растеньиц вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом — смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, — от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках, или мрамористый «гусар», или болотная форма худосочного белесого березовика.

Под моросящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасясь корзинкой — вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся из тумана аллеи; бисерная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сени парка, она замечает меня, и немедленно лицо ее принимает странное, огорченное выражение, которое, казалось бы, должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной усталости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту.

Около белой, склизкой от сырости садовой скамейки со спинкой она выкладывает свои грибы концентрическими кругами на круглый железный стол со сточной дырой посредине. Она считает и сортирует их. Старые, с рыхлым

исподом, выбрасываются; молодым и крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесет слуга в неведомое и неинтересное ей место, но сейчас можно стоять и тихо любоваться ими. Выпадая в червонную бездну из ненастных туч, перед самым заходом, солнце, бывало, бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы: к иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка; к иной подштрихованной, изогнутой ножке прилип родимый мох; и крохотная гусеница геометриды, идя по краю стола, как бы двумя пальцами детской руки все мерила что-то и изредка вытягивалась вверх, ища никому не известный куст, с которого ее сбили.

4

Все, что относилось к хозяйству, занимало мою мать столь же мало, как если бы она жила в гостинице. Не было хозяйственной жилки и у отца. Правда, он заказывал завтраки и обеды. Этот ритуал совершался за столом, после сладкого. Буфетчик приносил черный альбомчик. С легким вздохом отец раскрывал его и, поразмысливши, своим изящным, плавным почерком вписывал меню на завтра. У него была привычка давать химическому карандашу, или перу-самотеку, быстро-быстро трепетать на воздухе, над самой бумагой, покуда он обдумывал следующую зыбельку слов. На его вопросительные наименования блюд мать отвечала неопределенными кивками или морщилась. Официально в экономках числилась Елена Борисовна, бывшая няня матери, древняя, очень низенького роста старушка, похожая на унылую черепаху, большеногая, малоголовая, с совершенно потухшим, мутно-карим взглядом и холодной, как забытое в кладовой яблочко, кожей. Про Бову она мне что-то не рассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионовна (кстати, взятая к Олиньке Пушкиной с Суйды, неподалеку от нас). Она была на семьдесят лет старше меня, от нее шел легкий,

но нестерпимый запах — смесь кофе и тлена, — и за последние годы в ней появилась патологическая скупость, по мере развития которой был потихоньку от нее введен другой домашний порядок, учрежденный в лакейской. Ее сердце не выдержало бы, узнай она, что власть ее болтается в пространстве, с ее же ключничьего кольца, и мать старалась лаской отогнать подозрение, заплывавшее в слабеющий ум старушки. Та правила безраздельно каким-то своим, далеким, затхлым, маленьким царством — вполне отвлеченным, конечно, иначе бы мы умерли с голоду; вижу, как она терпеливо топает туда по длинным желтым коридорам, под насмешливым взглядом слуг, унося в тайную кладовую сломанный петибер, найденный ею где-то на тарелке. Между тем, при отсутствии всякого надзора над штатом в полсотни с лишком человек, и в усадьбе и в петербургском доме шла веселая воровская свистопляска. По словам пронырливых старых родственниц, заправилами были повар, Николай Андреич, да старый садовник, Егор, — оба необыкновенно положительные на вид люди, в очках, с седеющими висками — словом, прекрасно загримированные под преданных слуг. Доносам старых родственниц никто не верил, но увы, они говорили правду. Николай Андреич был закупочным гением и, как выяснилось однажды, довольно известным в петербургских спиритических кругах медиумом; Егор (до сих пор слышу его черноземно-шпинатный бас, когда он на огороде пытался отвести мое прожорливое внимание от ананасной земляники к простой клубнике) торговал под шумок господскими цветами и ягодами так искусно, что нажил новенький дом на Сиверской: мой дядя Рукавишников как-то ездил посмотреть и вернулся с удивленным выражением. При ровном наплыве чудовищных и необъяснимых счетов мой отец испытывал, в качестве юриста и государственного человека, особую досаду от неумения разрешить экономические нелады у себя в доме. Но всякий раз, как обнаруживалось явное зло-

употребление, что-нибудь непременно мешало расправе. Когда здравый смысл велел прогнать жулика-камердинера, тут-то и оказывалось, что его сын, черноглазый мальчик моих лет, лежит при смерти — и все заслонялось необходимостью консилиума из лучших докторов столицы. Отвлекаемый то тем, то другим, мой отец оставил, в конце концов, хозяйство в состоянии неустойчивого равновесия и даже научился смотреть на это с юмористической точки зрения, между тем как мать радовалась, что этим потворством спасен от гибели сумасшедший мир старой ее няньки, уносящей в свою вечность по темнеющим коридорам уже даже не бисквит, а горсть сухих крошек. Мать хорошо понимала боль разбитой иллюзии. Малейшее разочарование принимало у нее размеры роковой беды. Как-то в Сочельник, месяца за три до рождения ее четвертого ребенка, она оставалась в постели из-за легкого недомогания. По английскому обычаю, гувернантка привязывала к нашим кроваткам в рождественскую ночь, пока мы спали, по чулку, набитому подарками, а будила нас по случаю праздника сама мать и, деля радость не только с детьми, но и с памятью собственного детства, наслаждалась нашими восторгами при шуршащем развертывании всяких волшебных мелочей от Пето. В этот раз, однако, она взяла с нас слово, что в девять утра непочатые чулки мы принесем разбирать в ее спальню. Мне шел седьмой год, брату шестой, и, рано проснувшись, я с ним быстро посовещался, заключил безумный союз, — и мы оба бросились к чулкам, повешенным на изножье. Руки сквозь натянутый уголками и бугорками шелк нащупали сегменты содержимого, похрустывавшего афишной бумагой. Все это мы вытащили, развязали, развернули, осмотрели при смугло-снежном свете, проникавшем сквозь складки штор, — и, снова запаковав, засунули обратно в чулки, с которыми в должный срок мы и явились к матери. Сидя у нее на освещенной постели, ничем не защищенные от ее довольных глаз, мы попытались

дать требуемое публикой представление. Но мы так перемяли шелковистую розовую бумагу, так уродливо перевязали ленточки и так по-любительски изображали удивление и восторг (как сейчас вижу брата, закатывающего глаза и восклицающего с интонацией нашей француженки «Ah, que c'est beau!»[8]), что, понаблюдавши нас с минуту, бедный зритель разразился рыданиями. Прошло десятилетие. В Первую мировую войну (Пуанкаре в крагах, слякоть, здравия желаем, бедняжка-наследник в черкеске, крупные, ужасно одетые его сестры в больших застенчивых шляпах, с тысячей своих частных шуточек) моя мать очень добросовестно, но довольно неумело соорудила собственный лазарет, по примеру других петербургских дам, — и вот помню ее, в ненавистной ей форме сестры, рыдающей теми же детскими слезами над фальшью модного милосердия, над мучительной, каменной, совершенно непроницаемой кротостью искалеченных мужиков. И еще позже — о, гораздо позже, — перебирая в изгнании прошлое, она часто винила себя (по-моему — несправедливо), что менее была чутка к обилию человеческого горя на земле, чем к бремени чувств, спихиваемому человеком на все безвинно-безответное, как, например, старые аллеи, старые лошади, старые псы.

Мои тетки критиковали ее пристрастие к коричневым таксам. В фотографических альбомах, подробно иллюстрирующих ее молодые годы, среди пикников, крокетов, это не вышло, спортсменок в рукавах буфами и канотье, старых слуг с руками по швам, ее в колыбели, каких-то туманных елок, каких-то комнатных перспектив, — редкая группа обходилась без таксы, с расплывшейся от темперамента задней частью гибкого тела и всегда с тем странным, психопатически-звездным взглядом, который у этой породы бывает на семейных снимках. В раннем детстве я еще застал

[8] Ах, какая красота! *(Фр.).*

на садовом угреве Лулу и Бокса Первого, мать и сына, столь дряхлых, что давно забылся кровосмесительный их союз, озадачивший былых детей. Около 1904 года отец привез с Мюнхенской выставки рыжего щенка, из которого выросла, удивительной таксичьей красоты, Трэйни. В 1915 году у нее отнялись задние ноги, и, пока мать не решилась ее усыпить, бедная собака уныло ездила по паркетам, как cul-de-jatte[9]. Затем кто-то подарил нам внука или правнука чеховских Хины и Брома. Этот окончательный таксик (представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскими классиками) последовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году в Праге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную казенную пенсию, можно было видеть ковыляющего по тусклой зимней улице далеко позади своей задумчивой хозяйки этого старого, все еще сердитого Бокса Второго, — эмигрантскую собаку в длинном проволочном наморднике и заплатанном пальтеце.

Я жил далеко от матери, в Германии или Франции, и не мог часто ее навещать. Не было меня при ней, и когда она умерла, в мае 1939 года. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, я испытывал в первую секунду встречи ту боль, ту растерянность, тот провал, когда приходится сделать усилие, чтобы нагнать время, ушедшее за разлуку вперед, и восстановить любимые черты по не стареющему в сердце образцу. Квартира, которую она делила с внуком и Евгенией Константиновной Г., самым близким ее другом, была донельзя убогой. Клеенчатые тетради, в которые она списывала в течение многих лет нравившиеся ей стихи, лежали на кое-как собранной ветхой мебели. Ужасно скоро треплющиеся томики эмигрантских изданий соседствовали со слепком отцовской руки. Около ее кушетки, ночью служившей

[9] Безногий (*фр.*).

постелью, ящик, поставленный вверх дном и покрытый зеленой материей, заменял столик, и на нем стояли маленькие мутные фотографии в разваливающихся рамках. Впрочем, она едва ли нуждалась в них, ибо оригинал жизни не был утерян. Как бродячая труппа всюду возит с собой, поскольку не забыты реплики, и дюны под бурей, и замок в тумане, и очарованный остров, — так носила она в себе все, что душа отложила про этот серый день. Совершенно ясно вижу ее, сидящую за чайным столом и тихо созерцающую, с одной картой в руке, какую-то фазу в раскладке пасьянса; другой рукой она облокотилась об стол, и в ней же, прижав сгиб большого пальца к краю подбородка, держит близко ко рту папиросу собственной набивки. На четвертом пальце правой руки — теперь опускающей карту — горит блеск двух золотых колец: обручальное кольцо моего отца, слишком для нее широкое, привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу.

Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабоченны, смутно подавлены чем-то, хотя в жизни именно улыбка была сутью их дорогих черт. Я встречаюсь с ними без удивления, в местах и обстановке, в которых они никогда не бывали при жизни, — например, в доме у человека, с которым я познакомился только потом. Они сидят в сторонке, хмуро опустив глаза, как если бы смерть была темным пятном, постыдной семейной тайной. И конечно, не там и не тогда, не в этих косматых снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи — на мачте, на перевале, за рабочим столом... И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно.

Глава третья

1

Восемнадцати лет покинув Петербург, я (вот пример галлицизма) был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной; теперь я жалею об этом — из соображений технических: при отчетливости личной памяти неотчетливость семейной отражается на равновесии слов. Уже в эмиграции кое-какими занятными сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий. У него получалось, что старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей, живших как-то там в сторонке, *на обочье,* и не от кривобокого, *набокого,* как хотелось бы, а от обрусевшего шестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок. Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого (вестфальского) рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в восемнадцатом веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными, Данзасами. Думаю, что было уже почти темно, когда по скрипучему снегу внесли раненого в геккернскую карету. Среди моих предков много служилых людей; есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн; есть сибирский золотопромышленник и миллионщик (Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны); есть ученый президент медико-хирургической академии (Николай Козлов, другой ее дед); есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений, генерал от инфантерии

Иван Набоков (брат моего прадеда), он же директор Чесменской богадельни и комендант С.-Петербургской крепости — той, в которой сидел супостат Достоевский (рапорты доброго Ивана Александровича царю напечатаны — кажется, в «Красном Архиве»); есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков (мой дед); и есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич (мой отец).

Набоковский герб изображает собой нечто вроде шашечницы с двумя медведями, держащими ее с боков: приглашение на шахматную партию, у камина, после облавы в майоратском бору; рукавишниковский же, поновее, представляет стилизованную домну. Любопытно, что уральские прииски, Алапаевские заводы, аллитеративные паи в них — все это давно уже рухнуло, когда, в тридцатых годах сего века, в Берлине, многочисленным потомкам композитора Грауна (главным образом каким-то немецким баронам и итальянским графам, которым чуть не удалось убедить суд, что все Набоковы вымерли) досталось, после всех девальваций, кое-что от замаринованных впрок доходов с его драгоценных табакерок. Этот мой предок, Карл-Генрих Граун (1701–1759), талантливый карьерист, автор известной оратории «Смерть Иисуса», считавшейся современными ему немцами непревзойденной, и помощник Фридриха Великого в писании опер, изображен с другими приближенными (среди них — Вольтер) слушающим королевскую флейту на пресловутой картине Менделя, которая преследовала меня, эмигранта, из одного берлинского пансиона в другой. В молодости Граун обладал замечательным тенором; однажды, выступая в какой-то опере, написанной брауншвейгским капельмейстером Шурманом, он на премьере заменил не нравившиеся ему места ариями собственного сочинения. Только тут чувствую какую-то вспышку родства между мной и этим благополучным музыкальным деятелем. Гораздо ближе мне

другой мой предок, Николай Илларионович Козлов (1814–1889), патолог, автор таких работ, как «О развитии идеи болезни» или «Сужение яремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц», — в каком-то смысле служащих забавным прототипом и литературных и лепидоптерологических моих работ. Его дочь Ольга Николаевна была моей бабушкой; я был младенцем, когда она умерла. Его другая дочь, Прасковья Николаевна, вышла за знаменитого сифилидолога Тарновского и сама много писала по половым вопросам; она умерла в 1913 году, кажется, и ее странные, ясно произнесенные последние слова были: «Теперь понимаю: всё — вода». О ней и о разных диковинных, а иногда и страшных Рукавишниковых у матери было много воспоминаний... Я люблю сцепление времен: когда она гостила девочкой у своего деда, старика Василья Рукавишникова, в его крымском имении, Айвазовский, очень посредственный, но очень знаменитый маринист того времени, рассказывал в ее присутствии, как он, юношей, видел Пушкина и его высокую жену, и пока он это рассказывал, на серый цилиндр художника белилами испражнилась пролетавшая птица; его моря темно сизели по разным углам петербургского (а после — деревенского) дома, и Александр Бенуа, проходя мимо них и мимо мертвечины своего брата-академика Альберта, и мимо «Проталины» Крыжицкого, где не таяло ничего, и мимо громадного прилизанного перовского «Прибоя» в зале, делал шоры из рук и как-то музыкально-смугло мычал: «Non, non, non, c’est affreux[10], какая сушь, задерните чем-нибудь» — и с облегчением переходил в кабинет моей матери, где его, действительно прелестные, дождем набухшая «Бретань» и рыже-зеленый «Версаль» соседствовали с «вкусными», как тогда говорилось, «Турками» Бакста и сомовской акварельной «Радугой» среди мокрых берез.

[10] Нет, нет, нет, это ужасно *(фр.)*.



Герб рода Набоковых



Семейный групповой портрет Набоковых. Август, 1908 г.

2

Две баронессы Корф оставили след в судебных летописях Парижа: одна, кузина моего прапращура, женатого на дочке Грауна, была та русская дама, которая, находясь в Париже в 1791 году, одолжила и паспорт свой и дорожную карету (только что сделанный на заказ, великолепный, на высоких красных колесах, обитый снутри белым утрехтским бархатом, с зелеными шторами и всякими удобствами, шестиместный берлин) королевскому семейству для знаменитого бегства в Варенн (Мария Антуанетта ехала как мадам де Корф, или как ее камеристка, король — не то как гувернер ее двух детей, не то как камердинер). Другая, моя прабабка, полвека спустя, была причастна менее трагическому маскараду, а вычитал я эту историю из довольно пошлого французского журнала «Illustration» за 1859 г., стр. 251. Граф де Морни давал бал-маскарад; на него он пригласил — цитирую источник — «une noble dame que la Russia a prêtée cet hiver à la France»[11], баронессу Корф с двумя дочками. Мужа, Фердинанда Корфа (1805–1869, праправнука Грауна по женской линии), по-видимому, не было близко, но зато тут находился друг дома и жених одной из дочек (Марии Фердинандовны, 1842–1926), а мой будущий дед, Дмитрий Набоков (1827–1904). Для девиц были заказаны к балу костюмы цветочниц, по 225 франков за каждый, что тогда представляло, по явно подрывательски-марксистскому замечанию репортера, шестьсот сорок три дня «de nourriture, de loyer et d’entretien du père Crépin» (стоимости пропитания, жилья и обуви); видимо, рабочему человеку жилось тогда дешево. Однако баронессе костюмы показались слишком открытыми, и она отказалась принять их. Портниха прислала «huissier»[12] —

[11] Благородная дама, которую Россия одолжила на эту зиму Франции *(фр.)*.

[12] Судебный пристав *(фр.)*.

судебного пристава, после чего моя прабабка, женщина страстного нрава (и не столь добродетельная, как можно было бы заключить из ее возмущения низким вырезом), подала на портниху в суд, жалуясь, что наглые мамзели, принесшие наряды, в ответ на ее слова, что такие декольте не подходят благородным девицам, «se sont permis d'exposer des théories égalitaires du plus mouvais goût» (позволили себе высказать превульгарные демократические теории). К этому она добавляла, что поздно было заказывать другие костюмы, — и рыдающие дочки не пошли на бал; что пристав и его сподручные развалились в креслах, предоставив дамам стулья; а главное, что этот пристав смел грозить арестом господину Набокову, «Conseiller d'Etat, homme sage et plein de mesure» (статскому советнику, человеку рассудительному и уравновешенному) только потому, что тот попробовал пристава выбросить из окна. Не знаю, как это случилось, но портниха дело проиграла, причем ей не только пришлось вернуть деньги за костюмы, но еще отвалить истице тысячу франков за моральный ущерб. Счет же за дивную колымагу, поданный каретником весной 1791 г. (5944 ливров), так и остался неоплаченным.

В 1878 году Дмитрий Николаевич был назначен министром юстиции. Одной из заслуг его считается закон 12 июня 1884 года, который на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров. Когда в 1885 году он вышел в отставку, Александр Третий ему предложил на выбор либо графский титул, либо денежное вознаграждение; благоразумный Набоков выбрал второе. В том же году «Вестник Европы» выразился о его деятельности так: «Он действовал как капитан корабля во время сильной бури — выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное», — что в отношении контрапункта изящно перекликается с началом его карьеры, когда будущий законник чуть не выбросил сгоряча представителя закона за окно.

К концу жизни рассудок Дмитрия Николаевича помутился. Он понимал, что тяжело болен, но он верил, что все образуется, коль скоро он останется жить на Ривьере; врачи же полагали, что ему нужен горный или северный климат. Где-то в Италии он бежал из-под надзора доктора и довольно долго блуждал, как некий Лир, понося детей своих на радость случайным прохожим. В 1903 году моя мать, единственный человек, с чьим присмотром он мирился, ходила за ним в Ницце; брат и я — ему шел четвертый, а мне пятый год — жили там же, с англичанкой мисс Норкот. Помню, как в блеске утра оконницы дребезжали на упругом морском ветру, и какая это была чудовищная, ни с чем не сравнимая боль, когда капля растопленного сургуча упала мне на руку. При помощи свечки, пламя которой было изумительно бледно на солнце, заливавшем каменные плиты, я только что так хорошо занимался превращением плавких колоритных брусков в дивно пахнущие, карминовые, изумрудные, бронзовые кляксы. Мисс Норкот была в саду с братом; на мой истошный рев прибежала, шурша, мама, и где-то поодаль, на той же или смежной террасе, мой дед в двухколесном кресле бил концом трости по звонким плитам. Ей приходилось с ним нелегко. Он бранился похабными словами. Служителя, катавшего его по Promenade des Anglais[13], он все принимал за нелюбимого сослуживца — Лорис-Меликова, умершего пятнадцать лет тому назад в той же Ницце. «Qui est cette femme? Chassez-la!»[14] — кричал он моей матери, указывая трясущимся перстом на бельгийскую или голландскую королеву, остановившуюся, чтобы справиться о его здоровье. Смутно вижу себя подбегающим к его креслу, чтоб показать ему красивый камушек — который он медленно осматривает

---

[13] Набережная в Ницце.

[14] Кто эта женщина? Прогоните ее! *(Фр.)*

и медленно кладет себе в рот. Ужасно жалею, что мало расспрашивал мать впоследствии об этой странной поре на начальной границе моего сознания и на конечном пределе сознания дедовского.



Дмитрий Николаевич Набоков, дед писателя (1827–1904)

Все дольше и дольше становились припадки забытья. Во время одного такого затмения всех чувств он был перевезен в Россию. Моя мать закамуфлировала комнату под его

спальню в Ницце. Подыскали похожую мебель, наполнили вазы выписанными с юга цветами и тот уголок стены (мне особенно нравится эта подробность), который можно было наискось разглядеть из окна, покрасили в блестяще-белый цвет, так что при каждом временном прояснении рассудка больной видел себя в безопасности, среди блеска и мимоз иллюзорной Ривьеры, художественно представленной моей матерью, и умер он мирно, не слыша голых русских берез, шумящих мартовским прутяным шорохом вокруг дома.

3

Отец вырос в казенных апартаментах против Зимнего дворца. У него было три брата, Дмитрий (женатый первым браком на Фальц-Фейн), Сергей (женатый на Тучковой) и Константин (к женщинам равнодушный, чем поразительно отличался ото всех своих братьев). Из пяти их сестер Наталья была за Петерсоном, Вера — за Пыхачевым, Нина — за бароном Раушем фон Траубенберг (а затем за адмиралом Коломейцевым), Елизавета — за князем Витгенштейном, Надежда — за Вонлярлярским. К началу второго десятилетия века у меня было, так сказать, данных, т. е. вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором, тринадцать двоюродных братьев (с большинством из которых я был в разное время дружен) и шесть двоюродных сестер (в большинство из которых я был явно или тайно влюблен). С некоторыми из этих семейств, по взаимной ли симпатии или по соседству земель, мы виделись значительно чаше, чем с другими. Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный вырский парк, прелестное бабушкино Батово, великолепные витгенштейновские имения — Дружноселье за Сиверской и Каменка в Подольской губернии — все это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящей теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе.

4

Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник — ее единственный оставшийся в живых брат Василий Иванович Рукавишников; был он дипломат, как и его свояк Константин Дмитриевич Набоков, которого я упомянул выше и теперь хочу подробнее воскресить в мыслях, — до вызова более живого, но в грустном и тайном смысле одностихийного, образа Василья Ивановича.

Константин Дмитриевич был худощавый, чопорный, с тревожными глазами, довольно меланхоличный холостяк, живший на клубной квартире в Лондоне, среди фотографий каких-то молодых английских офицеров, и не очень счастливо воевавший с соперником по посольскому первенству Саблиным. Ответив как-то: «Нет, спасибо, мне тут рядом», а в другом случае изменив планы и возвратив билет, он дважды в жизни избег необыкновенной смерти: первый раз, в Москве, когда его предложил подвезти вел. кн. Сергей Александрович, обреченный через минуту встретиться с Каляевым; другой раз, когда он собрался было плыть в Америку на «Титанике», обреченном встретиться с айсбергом. Умер он в двадцатых годах от сквозняка в продувном лондонском госпитале, где поправлялся после легкой операции. Он опубликовал довольно любопытные «Злоключения Дипломата» и перевел на английский язык «Бориса Годунова». Однажды, в 1940 году, в Нью-Йорке, где сразу по прибытии в Америку мне посчастливилось окунуться в сущий рай научных исследований, я спустился по лифту с пятого этажа Американского музея естествоведения, где проводил целые дни в энтомологической лаборатории, и вдруг — с мыслью, что, может быть, я переутомил мозг, — увидел свою фамилию, выведенную большими золотыми русскими литерами на фресковой стене в вестибюльном зале. При бо-

лее внимательном рассмотрении фамилья приложилась к изображению Константина Дмитриевича: молодой, прикрашенный, с эспаньолкой, он участвует, вместе с Витте, Коростовцом и японскими делегатами, в подписании Портсмутского мира под благодушной эгидой Теодора Рузвельта — в память которого и построен музей. Но вот Василий Иванович Рукавишников нигде не изображен, и тут наступает его очередь быть обрисованным хотя бы моими цветными чернилами.

Его александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Оредежь, против нашей Выры. В раннем детстве дядя Вася и все, что принадлежало ему, множество фарфоровых пятнистых кошек в зеркальном предзальнике его дома, его перстни и запонки, невероятные фиолетовые гвоздики в его оранжерее, урны в романтическом парке, целая роща черешен, застекленная в защиту от климата петербургской губернии, и самая тень его, которую, применяя секретный, будто бы египетский, фокус, он умел заставлять извиваться на песке без малейшего движения со стороны собственной фигуры, — все это казалось мне причастным не к взрослому миру, а к миру моих заводных поездов, клоунов, книжек с картинками, всяких детских одушевленных вещиц, и такое бывало чувство, как когда в нарядном заграничном городе, под лучистым от уличных огней дождем, вдруг набредешь, ребенком, в коричневых лайковых перчатках, на совершенно сказочный магазин игрушек или бабочек. Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год, и тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме, и почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народу,

потом все это переходило в гостиную или на веранду, а он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка, и почему-то я бывал рад, когда отец издали звал: «Вася, on vous attend»[15] — и тут же слуги с наглыми лицами убирали со стола, и, страдая, Елена Борисовна норовила из-под них вытащить, чтобы унести и спрятать, пол-яблока, булочку, одинокую в луже редиску. Как-то, после перерыва в полтора года, я с братом и гувернером поехал встречать его на станцию. Мне, должно быть, шел одиннадцатый год, и вот вздохнули и стали длинные карие вагоны Норд-Экспресса, который дядя подкупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносилось множество его сундуков, — и вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам и, мельком взглянув на меня, проговорил: «Que vous êtes devenu jaune et laid, mon pauvre garçon!» (Как ты пожелтел, как подурнел, бедняга). В день же пятнадцатых моих именин он отвел меня в сторону и довольно хмуро, на своем порывистом, точном, старомодном французском языке, объявил меня своим наследником. Он добавил, что сожжет усадьбу дотла, ежели немцы — это было в 1914 г. — когда-либо дойдут до наших мест. «А теперь, — сказал он, — можешь идти, аудиенция кончена, je n'ai plus rien à vous dire»[16].

Вижу, как на картине, его небольшую, тонкую, аккуратную фигуру, смугловатое лицо, серо-зеленые со ржавой искрой глаза, темные пышные усы, темный бобрик; вижу и очень подвижное между крахмальными отворотцами адамово яблоко, и змееобразное, с опалом, кольцо вокруг узла

---

[15] Вас ждут *(фр.)*.

[16] Мне больше нечего вам сказать *(фр.)*.

светлого галстука. Опалы носил он и на пальцах, а вокруг черно-волосатой кисти — золотую цепочку. В петлице бледно-сизого, или еще какого-нибудь нежного оттенка, пиджака почти всегда была гвоздика, которую он, бывало, быстро нюхал — движением птицы, вздумавшей вдруг обшарить клювом плечевой пух. Как я уже говорил, он появлялся у нас в деревне только летом (помню не больше двух-трех заграничных с ним встреч), и сквозь этот-то жаркий перелив в дорогом камне минувшего времени мне теперь и представляется он — вот опустился на ступень веранды для еще одного снимка (как любили сниматься тогда, как пытались задержать уходящее!) и сидит с тенью лавров на белой фланели штанов, с руками, сложенными на набалдашнике трости, с солнцем на выпуклом, веснушчатом лбу в ореоле далеко назад сдвинутого канотье.

Осенью он возвращался за границу, в Рим, Париж, Биарриц, Лондон, Нью-Йорк; в свои южные именья — итальянскую виллу, пиренейский замок около Раи; и была знаменитая в летописях моего детства поездка его в Египет, откуда он мне ежедневно посылал глянцевитые открытки с большеногими фараонами, сидящими рядком, и вечерними отражениями силуэтных пальм в розовом Ниле, через который резко и неопрятно шел его странно-некрасивый, весь в углах, дикий, *вопящий* какой-то, т. е. совсем непохожий на него самого, почерк. И опять в июне, на восхитительном севере, когда весело цвела имени безумного Батюшкова млечная черемуха и солнце припекало после очередного ливня, крупные, иссиня-черные с белой перевязью бабочки (восточный подвид тополевой нимфы) низко плавали кругами над лакомой грязью дороги, с которой их спугивала его мчавшаяся к нам коляска. С обещанием дивного подарка в голосе, жеманно переступая маленькими своими ножками в белых башмаках на высоких каблуках, он подводил меня к ближайшей липке и, изящно

сорвав листок, протягивал его со словами: «Pour mon neveu, la chose la plus belle au monde — une feuille verte»[17]. Или же из Нью-Йорка он мне привозил собранные в книжки цветные серии — смешные приключения Buster Brown'а, теперь забытого мальчика в красноватом костюме с большим отложным воротником и черным бантом; если очень близко посмотреть, можно было различить совершенно отдельные малиновые точки, из которых составлялся цвет его блузы. Каждое приключение кончалось для маленького Брауна феноменальной поркой, причем его мать, дама с осиной талией и тяжелой рукой, брала что попало — туфлю, щетку для волос, разламывающийся от ударов зонтик, даже дубинку услужливого полисмена, — и какие тучи пыли выколачивала она из жертвы, ничком перекинутой через ее колени! Так как меня в жизни никто никогда не шлепал, эти истязания казались мне диковинной, экзотической, но довольно однообразной пыткой — менее интересной, чем, скажем, закапывание врага с выразительными глазами по самую шею в песок кактусовой пустыни, как было показано на заглавном офорте одного из лондонских изданий Майн-Рида.

5

Василий Иванович вел праздную и беспокойную жизнь. Дипломатические занятия его, главным образом при нашем посольстве в Риме, были довольно туманного свойства. Он говорил, впрочем, что мастер разгадывать шифры на пяти языках. Однажды мы его подвергли испытанию, и, в самом деле, он очень быстро обратил «5.13 24.11 13.16 9.13.5 5.13 24.11» в начальные слова известного монолога Гамлета. В розовом фраке, верхом на взмывающей через преграды громадной гнедой кобыле, он участвовал в лисьих охотах

---

[17] Моему племяннику — прекраснейшая вещь в мире: зеленый листок *(фр.)*.

в Италии, в Англии. Закутанный в меха, он однажды попытался проехать на автомобиле из Петербурга в По, но завяз в Польше. В черном плаще (спешил на бал) он летел на фанерно-проволочном аэроплане и едва не погиб, когда аппарат разбился о Бискайские скалы (я все интересовался, как реагировал, очнувшись, несчастный летчик, сдававший машину. «Il sanglotait»[18], — подумавши, ответил дядя). Он писал романсы — меланхолически-журчащую музыку и французские стихи, причем хладнокровно игнорировал все правила насчет учета немого «e». Он был игрок и исключительно хорошо блефовал в покере.

Его изъяны и странности раздражали моего полнокровного и прямолинейного отца, который был очень сердит, например, когда узнал, что в каком-то иностранном притоне, где молодого Г., неопытного и небогатого приятеля Василья Ивановича, обыграл шулер, — Василий Иванович, знавший толк в фокусах, сел с шулером играть и преспокойно передернул, чтобы выручить приятеля. Страдая нервным заиканьем на губных звуках, он не задумался переименовать своего кучера Петра в Льва — и мой отец обозвал его крепостником. По-русски Василий Иванович выражался с нарочитым трудом, предпочитая для разговора замысловатую смесь французского, английского и итальянского. Всякий его переход на русский служил средством к издевательству, заключавшемуся в том, чтобы исковеркать или некстати употребить простонародный оборот, прибаутку, красное словцо. Помню, как за столом, подытоживая всяческие свои горести — замучила сенная лихорадка, улетел один из павлинов, пропала любимая борзая, — он вздыхал и говорил: «Je suis comme une[19] былинка в поле!» — с таким видом, точно и впрямь могла такая поговорка существовать.

---

[18] Он рыдал *(фр.)*.

[19] Я как… *(фр.)*.

Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца и что для облегчения припадка ему необходимо бывает лечь навзничь на пол. Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез, и когда зимой 1916 года, всего сорока пяти лет от роду, он действительно помер от грудной жабы — совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем, — с каким щемящим чувством вспомнилось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой — когда, бывало, входил с послеобеденным кофе на расписанном пионами подносе не предупрежденный буфетчик и мой отец косился с досадой на распростертое посреди ковра тело шурина, а затем, с любопытством, на начавшуюся пляску подноса в руках у все еще спокойного на вид слуги.

От других, более сокровенных терзаний, донимавших его, он искал облегчения — если я правильно понимаю эти странные вещи — в религии: сначала, кажется, в какой-то отрасли русского сектантства, а потом, по-видимому, в католичестве; лет за пять до его смерти моя мать и кузина отца Екатерина Дмитриевна Данзас однажды не могли заснуть в своем отделении от рокота и рева латинских гимнов, заглушавших шум поезда, — и несколько опешили, узнав, что это поет на сон грядущий Василий Иванович в смежном купе. А помощь ему с его натурой была, верно, до крайности нужна. Его красочной неврастении подобало бы совмещаться с гением, но он был лишь светский дилетант. В юные годы он много натерпелся от Ивана Васильевича, его странного, тяжелого, безжалостного к нему отца. На старых снимках это был благообразный господин с цепью мирового судьи, а в жизни — тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте, с разными затеями, с собственной гимназией для сыновей, где преподавали лучшие петербургские профессора, с частным театром, на котором у него играли Варламов и Давыдов, с картинной галереей, на три четверти полной всякого темного вздора. По позднейшим рассказам матери, бешеный его

нрав угрожал чуть ли не жизни сына, и ужасные сцены разыгрывались в мрачном его кабинете. Рождественская усадьба — купленная им, собственно, для старшего, рано умершего, сына — была, говорили, построена на развалинах дворца, где Петр Первый, знавший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея. Теперь это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение, и подробности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете, рукообразный предметик из слоновой кости для чесания спины — и уже относящуюся к другой главе в этой книге, незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой юности.

После 1914 года я больше его не видал. Он тогда в последний раз уехал за границу и спустя два года там умер, оставив мне миллионное состояние и петербургское свое имение Рождествено с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек да всякая аксаково-тургенево-толстовская дичь. Не знаю, как в настоящее время, но до Второй мировой войны дом, по донесениям путешественников, все еще стоял на художественно-исторический показ иностранному туристу, проезжающему мимо моего холма по Варшавскому шоссе, где — в шестидесяти верстах от Петербурга — расположено за одним рукавом реки Оредежь село Рождествено, а за другим — наша Выра. Река местами подернута парчой нитчатки и водяных лилий, а дальше, по ее излучинам, как бы врастают в облачно-голубую воду совершенно черные

отражения еловой глуши по верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи и веет черемухой; и если двигаться вниз, вдоль высокого нашего парка, достигаешь наконец плотины водяной мельницы — и тут, когда смотришь через перила на бурно текущую пену, такое бывает чувство, точно плывешь все назад да назад, стоя на самой корме времени.

6

В сем месте американской и великобританской версий нынешней книги, в назидание беспечному иностранцу, получившему в свое время через умных пропагандистов и дураков-попутчиков чисто советское представление о нашем русском прошлом (или просто потерявшему деньги в каком-нибудь местном банковском крахе и потому полагающему, что «понимает» меня), я позволил себе небольшое отступление, которое привожу здесь только для полноты; суть его окажется слишком очевидной русскому читателю — по крайней мере, свободному русскому читателю моего поколения:

«Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов, потому что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

И еще:

Выговариваю себе право тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать по северной России.

7

Мне было семнадцать лет; вторая любовь и первые паузники занимали все мои досуги, о материальном строе жизни я не помышлял — да и на фоне общего благополучия семьи никакое наследство не могло особенно выделиться; но те-

перь мне вчуже странно, и даже немного противно, думать, что в течение короткого года, пока я владел этим обреченным наследством, я слишком был поглощен общими местами юности — *уже* терявшей свою первородную самоцветность, — чтобы испытать какое-либо добавочное удовольствие от вещественного владения домом и дебрями, которыми и так владела душа, или какую-либо досаду, когда большевистский переворот это вещественное владение уничтожил в одну ночь. Мне это противно — точно я поступил неблагодарно по отношению к дяде Васе, взглянул на него, чудака, с улыбкой снисхождения, с которой на него смотрели даже те, кто его любил. И уже с совершенной обидой вспоминаю, как наш швейцарец гувернер, коренастый и обычно добродушный Нуазье, брызгал ядовитым сарказмом, разбирая однажды французские стихи и музыку дяди — «Octobre» — лучший его романс. Он сочинил эту, может быть, и банальную, но певуче-ручьистую вещь как-то осенью, в своем замке около По, в Нижних Пиренеях, недалеко, помнится, от имения Ростана, мимо которого мы проезжали по дороге из Биаррица. Имение называлось Перпинья, — он его завещал какому-то итальянцу. Глядя с террасы на виноградники, желтеющие внизу по скатам, на горы, лиловеющие вдали, терзаемый астмой, сердечными перебоями, ознобом, каким-то прустовским обнажением всех чувств (он лицом несколько походил на Пруста), бедный Рука — как звали его друзья-иностранцы — отдал мучительную дань осенним краскам — «chapelle ardente de feuilles aux tons violents»[20], как выпелось у него, — и единственный, кто запомнил романс от начала до конца, был мой брат, непривлекательный тогда увалень в очках, которого Василий Иванович едва замечал и который за смертью не может ныне помочь мне восстановить забытые мною слова.

---

[20] Часовня из огнецветных листьев *(фр.)*.

L’air transparent fait monter de la plaine…[21] –

высоким тенором пел Василий Иванович, приехавший к завтраку, а пока что присевший у белого рояля, наполовину отраженного в палевом паркете вырской гостиной, — и ежели я, со своей рампеткой из зеленой кисеи, шел в эту минуту домой через парк (вдоль которого по ломаной линии молодого ельника только что пронесся ассирийский профиль дядиного кучера, — бархатный бюст, малиновые рукава, — и дядино канотье), ужасно жалобные и переливчатые звуки:

Un vol de tourterelles strie le ciel tendre,
les chrysanthèmes se parent pour la Toussaint…[22] –

доплывали до меня в петлистых тенях дышащей в такт аллеи, и в ее конце открывался мне красный песок садовой площадки с углом зеленой усадьбы, из бокового окна которой, как из раны, лилась эта музыка, это пенье.

8

Заклинать и оживлять былое я научился Бог весть в какие ранние годы — еще тогда, когда, в сущности, никакого былого и не было. Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки — уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды, и гонг, зовущий к завтраку, и то, что всегда тронешь проходя — пружинистое круглое место в голубом сукне карточного столика, которое при нажатии большого пальца с приятной спазмой мгновенно выгоняет тайный ящичек, где лежат красные и зеленые фишки и какой-то ключик, отделенный навеки от всеми забытого, может быть, и тогда уже не существовавшего замка. Полагаю, кроме

[21] Прозрачный воздух доносит с равнины… *(Фр.)*

[22] Голубиная стая штрихует нежное небо, / хризантемы наряжаются к Празднику Всех Святых… *(Фр.)*

того, что моя способность держать при себе прошлое — черта наследственная. Она была и у Рукавишниковых, и у Набоковых. Было одно место в лесу на одной из старых троп в Батово, и был там мосток через ручей, и было подгнившее бревно с края, и была точка на этом бревне, где пятого по старому календарю августа 1883 года вдруг села, раскрыла шелковисто-багряные с павлиньими глазками крылья и была поймана ловким немцем-гувернером этих предыдущих набоковских мальчиков исключительно редко попадавшаяся в наших краях ванесса. Отец мой как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике и он перебирал и разыгрывал всю сцену с начала, как бабочка сидела дыша, как ни он, ни братья не решались ударить рампеткой и как в напряженной тишине немец ощупью выбирал у него из рук сачок, не сводя глаз с благородного насекомого.

На адриатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с Петерсонами (я узнаю ее до сих пор по большой белой башне на видовых открытках Аббации), предаваясь мечтам во время сиесты, при спущенных шторах, в детской моей постели я, бывало, поворачивался на живот — и старательно, любовно, безнадежно, с художественным совершенством в подробностях (трудносовместимым с нелепо малым числом сознательных лет), пятилетний изгнанник чертил пальцем на подушке дорогу вдоль высокого парка, лужу с сережками и мертвым жуком, зеленые столбы и навес подъезда, все ступени его и непременно почему-то блестящую между колеями драгоценную конскую подкову вроде той, что посчастливилось мне раз найти, — и при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка, вы, нынешние шуты-психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии!

А вот еще помню. Мне лет восемь. Василий Иванович поднимает с кушетки в нашей классной книжку из серии «Bibliothèque Rose». Вдруг, блаженно застонав, он находит

в ней любимое им в детстве место: «Sophie n'était pas jolie...»[23]; и через сорок лет я совершенно так же застонал, когда в чужой детской случайно набрел на ту же книжку о мальчиках и девочках, которые сто лет тому назад жили во Франции тою стилизованной vie de château[24], на которую Mme de Ségur, née Rastopchine[25] добросовестно перекладывала свое детство в России, — почему и налаживалась, несмотря на вульгарную сентиментальность всех этих «Les Malheurs de Sophie», «Les Petites Filles Modèles», «Les Vacances»[26], тонкая связь с русским усадебным бытом. Но мое положение сложнее дядиного, ибо когда читаю опять, как Софи остригла себе брови или как ее мать в необыкновенном кринолине на приложенной картинке необыкновенно аппетитными манипуляциями вернула кукле зрение, и потом с криком утонула во время кораблекрушения по пути в Америку, а кузен Поль под необитаемой пальмой высосал из ноги капитана яд змеи, — когда я опять читаю всю эту чепуху, я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но еще ложится на душу мое воспоминание о том, как он это переживал. Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол изразцовой печки, отворенное окно: оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы в овальном зеркале над канапе, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над растрепанной розовой книжкой. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с го-

---

[23] Соня не была хороша собой... *(Фр.)*

[24] Усадебная жизнь *(фр.)*.

[25] Мадам де Сегюр, рожд. Растопчина *(фр.)*.

[26] «Сонины Проказы», «Примерные Девочки», «Каникулы» *(фр.)*.

лубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Всё так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет.

Глава четвертая

1

В обиходе таких семей, как наша, была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка М. Ф. Набокова говорила уже совсем по старинке: «аглицки». Дегтярное лондонское мыло, черное как смоль в сухом виде, а в мокром — янтарное на свет, было скользким участником ежеутренних обливаний, для которых служили раскладные резиновые ванны — тоже из Англии. Дядька намыливал всего мальчика от ушей до пят при помощи особой оранжево-красной губки, а затем несколько раз обливал теплой водой из большого белого кувшина, вокруг которого обвивалась черная фаянсовая лоза. Этот мой резиновый tub[27] я взял с собой в эмиграцию, и он, уже заплатанный, был мне сущим спасением в моих бесчисленных европейских пансионах: грязнее французской общей ванной нет на свете ничего, кроме немецкой.

За брекфастом яркий паточный сироп, golden syrup, наматывался блестящими кольцами на ложку, а оттуда сползал змеей на деревенским маслом намазанный русский черный хлеб. Зубы мы чистили лондонской пастой, выходившей из тубочки плоскою лентой. Бесконечная череда удобных, добротных изделий, да всякие ладные вещи для разных игр, да снедь текли к нам из Английского магазина на Невском. Тут были и кексы, и нюхательные соли, и покерные

[27] Ванна *(разг. англ.)*.

карты, и какао, и в цветную полоску спортивные фланелевые пиджаки, и чудные скрипучие кожаные футболы, и белые как тальк, с девственным пушком, теннисные мячи в упаковке, достойной редкостных фруктов. Эдемский сад мне представлялся британской колонией.

Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски; некоторая неприятная для непетербургского слуха — да и для меня самого, когда слышу себя на пластинке, — брезгливость произношения в разговорном русском языке сохранилась у меня и по сей день (помню, при первой встрече, в 1945, что ли, году, в Америке, биолог Добжанский наивно мне заметил: «А здорово, батенька, вы позабыли родную речь»). Первыми моими английскими друзьями были незамысловатые герои грамматики — коричневой книжки с синяком кляксы во всю обложку: Ben, Dan, Sam и Ned. Много было какой-то смутной возни с установлением их личности и местопребывания. «Who is Ben?», «He is Dan», «Sam is in bed», «Is Ned in bed?»[28] и тому подобное. Из-за того, что вначале составителю мешала необходимость держаться односложных слов, представление об этих лицах получилось у меня и сбивчивое и сухое, но затем воображение пришло на помощь, и я увидел их. Туполицые, плоскоступые, замкнутые оболтусы, болезненно гордящиеся своими немногими орудиями (Ben has an axe[29]), они вялой подводной походкой медленно шагают вдоль самого заднего задника сценической моей памяти; и вот, перед дальнозоркими моими глазами вырастают буквы грамматики, как безумная азбука на таблице у оптика.

Классная разрисована ломаными лучами солнца. Брат смиренно выслушивает отповедь англичанки. В запотевшей стеклянной банке под марлей несколько пестрых, с шипами, гусениц методично пасется на крапивных листьях, изредка

---

[28] Кто такой Бен? Это — Дэн. Сэм в постели. В постели ли Нэд? *(Англ.)*

[29] У Бена есть топор *(англ.)*.

выделяя интересные зеленые цилиндрики помета. Клетчатая клеенка на круглом столе пахнет клеем. Чернила пахнут черносливом. Виктория Артуровна пахнет Викторией Артуровной. Кроваво-красный спирт в столбике большого наружного градусника восхищенно показывает 24 Реомюра в тени. В окно видать поденщиц в платках, выпалывающих ползком, то на корточках, то на четвереньках, садовые дорожки: до рытья государственных каналов еще далеко. Иволги в зелени издают свой золотой, торопливый, четырехзвучный крик.

Вот прошел Ned, посредственно играя младшего садовника. На дальнейших страницах слова удлинялись, а к концу грамматики настоящий связный рассказец развивался взрослыми фразами в награду маленькому читателю. Меня сладко волновала мысль, что и я могу когда-нибудь дойти до такого блистательного совершенства. Эти чары не выдохлись, — и когда ныне мне попадается учебник, я первым делом заглядываю в конец — в будущность прилежного ученика.

2

Летние сумерки («сумерки» — какой это томный сиреневый звук!). Время действия: тающая точка посреди первого десятилетия нашего века. Место: пятьдесят девятый градус северной широты, считая от экватора, и сотый восточной долготы, считая от кончика моего пера. Июньскому дню требовалась вечность для угасания: небо, высокие цветы, неподвижные воды — все это как-то повисало в бесконечном замирании вечера, которое не разрешалось, а продлевалось еще и еще грустным мычанием коровы на далеком лугу или грустнейшим криком птицы за речным низовьем, с широкого туманного мохового болота, столь недосягаемого и таинственного, что еще дети Рукавишниковы прозвали его: Америка.

Брата уже уложили; мать, в гостиной, читает мне английскую сказку перед сном. Подбираясь к страшному месту,

где Тристана ждет за холмом неслыханная, может быть роковая, опасность, она замедляет чтение, многозначительно разделяя слова, и прежде чем перевернуть страницу, таинственно кладет на нее маленькую белую руку с перстнем, украшенным алмазом и розовым рубином; в прозрачных гранях которых, кабы зорче тогда гляделось мне в них, я мог бы различить ряд комнат, людей, огни, дождь, площадь — целую эру эмигрантской жизни, которую предстояло прожить на деньги, вырученные за это кольцо.

Были книги о рыцарях, чьи ужасные, — но удивительно свободные от инфекции — раны омывались молодыми дамами в гротах. Со скалы, на средневековом ветру, юноша в трико и волнистоволосая дева смотрели вдаль на круглые Острова Блаженства. Была одна пугавшая меня картинка с каким-то зеркалом, от которой я всегда так быстро отворачивался, что теперь не помню ее толком! Были нарочито трогательные, возвышенно аллегорические повести, скроенные малоизвестными англичанками для своих племянников и племянниц. Особенно мне нравилось, когда текст, прозаический или стихотворный, лишь комментировал картинки. Живо помню, например, приключения американского Голивога. Он представлял собою крупную, мужского пола куклу в малиновых панталонах и голубом фраке, с черным лицом, широкими губами из красной байки и двумя бельевыми пуговицами вместо глаз. Пять деревянных, суставчатых кукол составляли его скромный гарем. Из них две старших смастерили себе платья из американского флага: Пегги взяла себе матронистые полоски, а Сарра Джейн — грациозные звезды, и тут я почувствовал романтический укол, ибо нежно-голубая ткань особенно женственно облекала ее нейтральный стан. Две других куклы, близнецы, и пятая, крохотная Миджет, остались совершенно нагими и, следовательно, бесполыми.

В рождественскую ночь проснулись игрушки и так далее. Сарру Джейн испугал и, по-видимому, ушиб какой-то

лохматый наглец, взвившийся на пружинах из своей разукрашенной коробки, и это было неприятно (бывало, в гостях нравившаяся мне какая-нибудь девочка, прищемив палец или шлепнувшись, вдруг превращалась в страшного багрового урода — ревущий рот, морщины). Затем им попался навстречу печальный восточный человечек, тосковавший в чужой Америке. Выйдя на улицу, наши друзья бросались снежками. В других сериях они совершали велосипедную поездку в страну бежевых каннибалов или катались на проглотившем аршин красном автомобиле тех времен (около 1906 года), причем Сарра Джейн была наряжена в изумрудную вуаль, окончательно меня покорившую. Однажды Голивог построил себе и четырем из своих кукол дирижабль из желтого шелка, а миниатюрному Миджету — собственный маленький воздушный шар. Как ни было увлекательно путешествие голивогской группы, меня волновало другое: со страстной завистью я смотрел на лилипутового аэронавта, ибо в гибельной черной бездне, среди снежинок и звезд, счастливец плыл совершенно отдельно, совершенно один.

3

Затем вижу: посреди дома, вырастая из длинного, залоподобного помещения или внутренней галереи, сразу за вестибюлем, поднимается на второй этаж, широко и полого, чугунная лестница; паркетная площадка второго этажа, как палуба, обрамляет пролет с четырех сторон, а наверху — стеклянный свод и бледно-зеленое небо. Мать ведет меня к лестнице за руку, и я отстаю, пытаюсь ехать за нею, шаркая и скользя по плитам зала; смеясь, она подтягивает меня к балюстраде; тут я любил пролезать под ее заворот между первым и вторым столбиком, и с каждым летом плечам и хребту было теснее, больнее: ныне и призрак мой, пожалуй бы, не протиснулся.

Следующая часть вечернего обряда заключалась в том, чтоб подниматься по лестнице с закрытыми глазами: «Step» (ступенька), — приговаривала мать, медленно ведя меня вверх. «Step, step», — и в самодельной темноте лунатически сладко было поднимать и ставить ногу. Очарование становилось все более щекотным, ибо я не знал, не хотел знать, где кончается лестница. «Step», — говорила мать все тем же голосом, и, обманутый им, я лишний раз — высоко-высоко, чтоб не споткнуться, — поднимал ногу, и на мгновение захватывало дух от призрачной упругости отсутствующей ступеньки, от неожиданной глубины достигнутой площадки. Страшно подумать, как «растолковал» бы мрачный кретин-фрейдист эти тонкие детские вдохновения.

С удивительной систематичностью я умел оттягивать укладыванье. На верхней площадке, по четырем сторонам которой белелись двери многочисленных покоев, мать сдавала меня Виктории Артуровне или француженке. В доме было пять ванных комнат, а кроме того, много старомодных комодообразных умывальников с педалями: помню, как, бывало, после рыданий, стыдясь красных глаз, я отыскивал такого старца в его темном углу и как, при нажатии на ножную педаль, слепой фонтанчик из крана нежно нащупывал мои опухшие веки и заложенный нос. Клозеты, как везде в Европе, были отдельно от ванн, и один из них, внизу, в служебном крыле дома, был до странности роскошен, но и угрюм, со своей дубовой отделкой, тронной ступенью и толстым пурпурово-бархатным шнуром: потянешь книзу за кисть, и сдержанно-музыкально журчало и переглатывало в глубинах; в готическое окно можно было видеть вечернюю звезду и слышать соловьев в старых неэндемичных тополях за домом; и там, в годы сирени и тумана, я сочинял стихи — и впоследствии перенес все сооружение в первую свою повесть, как через океан перевозится разобранный замок.

Но в раннюю пору, о которой сейчас идет речь, мне отведено было значительно более скромное место на втором этаже, довольно случайно расположенное в нише коридорчика, между плетеной бельевой корзиной с крышкой (как вспомнился ее скрип!) и дверью в ванную при детской. Эту дверь я держал полуотворенной, и играл ею, глядя сонными глазами на пар, поднимающийся из приготовленной ванны, на расписное окно за ней с двумя рыцарями, состоящими из цветных прямоугольников, на долиннеевскую ночницу, ударявшуюся о жестяной рефлектор керосиновой лампы, желтый свет которой, сквозь пар, сказочно озарял флотилью в ванне: большой, приятный, плавучий градусник в деревянной оправе, с отсыревшей веревкой, продетой в глазок ручки, целлулоидового лебедя, лодочку, меня в ней с Тристановой арфой. Наклоняясь с насиженной доски, я прилаживал лоб к удивительно удобной краевой грани двери, слегка двигая ее туда-сюда своей прижатой головой. Сонный ритм проникал меня всего; капал кран, барабанила бабочка; и, впрок сопрягая звуковые узоры со зрительными, я упирался взглядом в линолеум и находил в ступенчатом рисунке его лабиринта щиты и стяги, и зубчатые стены, и шлемы в профиль. Обращаюсь 7 в. Набоков, т. 5 ко всем родителям и наставникам: никогда не говорите ребенку «Поторопись!».

Последний этап моего путешествия наступал, когда, вымытый, вытертый, я доплывал, наконец, до островка постели. С веранды, где шла без меня обольстительная жизнь, мать поднималась проститься со мной. Стоя коленями на подушке, в которой через полминуты предстояло потонуть моей звенящей от сонливости голове, я без мысли говорил английскую молитву для детей, предлагавшую — в хореических стихах с парными мужскими рифмами — кроткому Иисусу благословить малого дитятю. В соединении с православной иконкой в головах, на которой виднелся смуглый

святой в прорези темной фольги, все это составляло довольно поэтическую смесь. Горела одна свеча, и передо мной, над иконкой, на зыбкой стене колыхалась тень камышовой ширмы, и то туманился, то летел ко мне акварельный вид — сказочный лес, через стройную глушь которого вилась таинственная тропинка; мальчик в сказке перенесся на такую нарисованную тропинку прямо с кровати и углубился в глушь на деревянном коньке; и, дробя молитву, присаживаясь на собственные икры, млея в припудренной, преддремной, блаженной своей мгле, я соображал, как перелезу с подушки в картину, в зачарованный лес — куда, кстати, в свое время я и попал.

4

Несоразмерно длинная череда английских бонн и гувернанток — одни бессильно ломая руки, другие загадочно улыбаясь — встречает меня при моем переходе через реку лет, словно я бодлеровский Дон Жуан, весь в черном. Был я трудный, своенравный, до прекрасной крайности избалованный ребенок (балуйте детей побольше, господа, вы не знаете, что их ожидает!). Могу себе представить, как этим бедным воспитательницам иногда бывало скучно со мной, какие длинные письма писали они в тишине своих скучных комнат. Я теперь читаю курс по европейской литературе в американском университете тремстам студентам.

Мисс Рэчель, простую толстуху в переднике, помню только по английским бисквитам (в голубой бумагой оклеенной жестяной коробке, со вкусными, миндальными, наверху, а пресно-сухаристыми — внизу), которыми она нас — трехлетнего и двухлетнего — кормила перед сном (а вот, кстати, слово «корм», «кормить» вызывает у меня во рту ощущение какой-то теплой сладкой кашицы — должно быть, совсем древнее, русское няньковское воспоминание). Я уже упоминал о довольно строгонькой мисс Клэйтон, Виктории

Артуровне: бывало, разваливаюсь или горблюсь, а она тык меня костяшками руки в поясницу, или еще сама противно расправит и выгнет стан, показывая, значит, как надобно держаться. Была томная, черноволосая красавица с синими морскими глазами, мисс Норкот, однажды потерявшая на пляже в Ницце белую лайковую перчатку, которую я долго искал среди всякой пестрой гальки, да ракушек, да совершенно округленных и облагороженных морем бутылочных осколков; она оказалась лесбиянкой, и с ней расстались в Аббации. Была небольшая, кислая, малокровная и близорукая мисс Хант, чье недолгое у нас пребывание в Висбадене окончилось в день, когда мы, пятилетний и четырехлетний, бежали из-под ее надзора и каким-то образом проникли в толпе туристов на пароход, который унес нас довольно далеко по Рейну, покуда нас не перехватили на одной из пристаней. Потом была опять Виктория Артуровна. Помню еще ужасную старуху, которая читала мне вслух повесть Марии Корелли «Могучий Атом» о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника. Были и другие. Их череда заходит за угол и пропадает, и воспитание мое переходит во французские и русские руки. Немногие часы, остававшиеся на английскую стихию, посвящались урокам с мистером Бэрнес и мистером Куммингс, которые не жили у нас, а приходили на дом в Петербурге, где у нас был на Морской (№ 47) трехэтажный, розового гранита, особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами. После революции в него вселилось какое-то датское агентство, а существует ли он теперь — не знаю. Я там родился — в последней (если считать по направлению к площади, против нумерного течения) комнате, на втором этаже, — там, где был тайничок с материнскими драгоценностями: швейцар Устин лично повел к нему восставший народ через все комнаты в ноябре 1917 года.

5

Бэрнес был крупного сложения, светлоглазый шотландец с прямыми желтыми волосами и с лицом цвета сырой ветчины. По утрам он преподавал в какой-то школе, а на остальное время набирал больше частных уроков, чем день мог вместить. При переезде с одного конца города в другой он всецело зависел от несчастных, шлепающих рысцой ванек, и хорошо, если попадал на первый урок с опозданием в четверть часа, а на второй опаздывал вдвое; к четырехчасовому он добирался уже около половины шестого. Все это отягощало ожидание; уроки его были прескучные, и я всегда надеялся, что хоть на этот раз сверхчеловеческое упорство запоздалого ездока не одолеет серой стены бурана, сгущающейся перед ним. Это было всего лишь свойственное восьмилетнему возрасту чувство, возобновление которого едва ли предвидишь в зрелые лета; однако мне пришлось испытать нечто очень похожее спустя четверть века, когда в чужом, ненавистном Берлине, будучи сам вынужден преподавать английский язык, я, бывало, сидел у себя и ждал одного особенно упрямого и бездарного ученика, который с каменной неизбежностью наконец появлялся (и необыкновенно аккуратно складывал пальто на добротной подкладке, этаким пакетом на стуле), несмотря на все баррикады, которые я мысленно строил поперек его длинного и трудного пути.

Самая темнота зимних сумерек, заволакивающих улицу, казалась мне побочным продуктом тех усилий, которые делал мистер Бэрнес, чтобы добраться до нас. Приходил камердинер, звучно включал электричество, неслышно опускал пышно-синие шторы, с перестуком колец затягивал цветные гардины и уходил. Крупное тиканье степенных стенных часов с медным маятником в нашей классной постепенно приобретало томительную интонацию. Короткие штаны жали

в паху, а черные рубчатые чулки шерстили под коленками, и к этому примешивался скромный позыв, который я ленился удовлетворить. Мне было — как выражалась няня сестер, следовавшая их англичанке в технических вопросах, — необходимо «набава́н» (number one, в отличие от более основательного «набату́», number two, — да не посетует чопорный русский читатель на изобилие гигиенических подробностей в этой главе: без них нет детства). Нудно проходил целый час — Бэрнеса все не было. Брат уходил в комнату Mademoiselle, и она ему там читала уже знакомого мне «Генерала Дуракина». Покинув верхний, «детский», этаж, я лениво обнимал лаковую балюстраду и в мутном трансе, полуразинув рот, соскальзывал вдоль по накалявшимся перилам лестницы на второй этаж, где находились апартаменты родителей (интересно, клюнет ли тут с гнилым мозгом фрейдист). Обычно они в это время отсутствовали — мать много выезжала, отец был в редакции или на заседании, — и в сумеречном оцепенении его кабинета молодые мои чувства подвергались — не знаю, как выразиться, — телеологическому, что ли, «целеобусловленному» воздействию, как будто собравшиеся в полутьме знакомые предметы сознательно и дальновидно стремились создать тот определенный образ, который у меня теперь запечатлен в мозгу; эту тихую работу вещей надо мной я часто чувствовал в минуты пустых, неопределенных досугов. Часы на столе смотрели на меня всеми своими фосфорическими глазками. Там и сям, бликом на бронзе, бельмом на черном дереве, блеском на стекле фотографий, глянцем на полотне картин, отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы, где уже горели лунные глобусы газа. Тени, точно тени самой метели, ходили по потолку. Нервы заставлял «полыхнуть» сухой стук о мрамор столика — от падения лепестка пожилой хризантемы.

У будуара матери был навесный выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой Мариинской

площади. Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лакомился сквозь тюль холодом стекла. Всего через одно десятилетие, в начальные дни революции, я из этого фонаря наблюдал уличную перестрелку и впервые видел убитого человека: его несли, и свешивалась нога, и с этой ноги норовил кто-то из живых стащить сапог, а его грубо отгоняли; но сейчас нечего было наблюдать, кроме приглушенной улицы, лилово-темной, несмотря на линию ярких лун, висящих над нею; вокруг ближней из них снежинки проплывали, едва вращаясь каким-то изящным, почти нарочито замедленным движением, показывая, как это делается и как это все просто. Из другого фонарного окна я заглядывался на более обильное падение освещенного снега, и тогда мой стеклянный выступ начинал подыматься, как воздушный шар. Экипажи проезжали редко; я переходил к третьему окну в фонаре, и вот извозчичьи сани останавливались прямо подо мной, и мелькала неприличная лисья шапка Бэрнеса.

Предупреждая его набег, я спешил вернуться в классную и уже оттуда слышал, как по длинному коридору приближаются энергичные шаги испытанного скорохода. Какой бы ни был мороз на дворе, его лоб весь блестел перловым потом. Урок состоял в том, что в продолжение первой четверти он молча исправлял заданное в прошлый раз упражнение, вторую четверть посвящал диктовке, исправлял ее, а затем, лихорадочно сверив свои жилетные часы со стенными, принимался писать быстрым, округлым почерком, со страшной энергией нажимая на плюющееся перо, очередное задание. Перед самым его уходом я выпрашивал у него любимую пытку. Держа в своем похожем на окорок кулаке мою небольшую руку, он говорил лимерик (нечто вроде пятистрочной частушки весьма строгой формы) о lady from Russia, которая кричала, screamed, когда ее сдавливали, crushed her,

и прелесть была в том, что при повторении слова «screamed» Бэрнес все крепче и крепче сжимал мне руку, так что я никогда не выдерживал лимерика до конца. Вот перефразировка по-русски:

Есть странная дама из Кракова:
орет от пожатия всякого,
орет наперед
и все время орет –
но орет не всегда одинаково.

6

Тихий, сутулый, бородатый, со старомодными манерами, мистер Куммингс, носивший заместо демисезонного пальто зеленовато-бурый плащ-лоден, был когда-то домашним учителем рисования моей матери и казался мне восьмидесятилетним старцем, хотя на самом деле ему не было и сорока пяти в те годы — 1907–1908, — когда он приходил мне давать уроки перспективы (небрежным жестом смахивая оттертыш гуттаперчи и необычайно элегантно держа карандаш, который волшебными штрихами стягивал в одну бесконечно отдаленную точку даль дивной, но почему-то совершенно безмебельной залы). В Россию он, кажется, попал в качестве иностранного корреспондента-иллюстратора лондонского «Graphic»'а. Говорили, что его личная жизнь омрачена несчастьями. Грусть и кротость скрадывали скудость его таланта. Маленькие его акварели — полевые пейзажи, вечерняя река и тому подобное, — приобретенные членами нашей семьи и домочадцами, прозябали по углам, оттесняемые все дальше и дальше, пока их совсем не скрывала холодная компания копенгагенских зверьков или новообрамленные снимки. После того что я научился тушевать бок куба и при стирании резинкой не превращать с треском бумагу в гармонику, симпатичный старец довольствовался тем, что просто писал при мне свои райски яркие виды.

Впоследствии, с десяти лет и до пятнадцати, мне давали уроки другие художники: сперва известный Яремич, который заставлял меня посмелее и порасплывчатее, «широкими мазками», воспроизводить в красках какие-то тут же кое-как им слепленные из пластилина фигурки; а затем — знаменитый Добужинский, который учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем не виданную структуру в органах бабочки, — но внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве. С чисто же эмоциональной стороны, в смысле *веселости* красок, столь сродной детям, старый Куммингс пребывает у меня в красном углу памяти. Еще лучше моей матери умел он все это делать — с чудным проворством навертывал на мокрую черную кисточку несколько красок сряду, под аккомпанемент быстрого дребезжания белых эмалевых чашечек, в которых некоторые подушечки, красные, например, и желтые, были с глубокими выемками от частого пользования. Набрав разноцветного меда, кисточка переставала витать и тыкаться и двумя-тремя сочными обмазами пропитывала бристоль ровным слоем оранжевого неба, через которое, пока оно еще было чуть влажно, прокладывалось длинное акулье облако фиолетовой черноты: «And that’s all, dearia, — и это все, голубок мой, никакой мудрости тут нет».

Увы, однажды я попросил его нарисовать мне международный экспресс. Я наблюдал через его угловатое плечо за движеньями его умелого карандаша, выводившего веерообразную снегочистку или скотоловку, и передние слишком нарядные фонари такого паровоза, который, пожалуй, мог быть куплен для Сибирской железной дороги после того,

что он пересек Америку через Ютаху в шестидесятых годах. За этим паровиком последовало пять вагонов, которые меня сильно разочаровали своей простотой и бедностью. Покончив с ними, он вернулся к локомотиву, тщательно оттенил обильный дым, валивший из преувеличенной трубы, склонил набок голову и, полюбовавшись на свое произведение, протянул мне его, приятно смеясь. Я старался казаться очень довольным. Он забыл тендер.

Через четверть века мне довелось узнать две вещи: что покойный Бэрнес, который кроме диктанта да глупой частушки, казалось, не знал ничего, был весьма ценимым эдинбургскими знатоками переводчиком русских стихов, тех стихов, которые уже в отрочестве стали моим алтарем, жизнью и безумием; и что мой кроткий Куммингс, которому я щедро давал в современники самых дремучих Рукавишниковых и дряхлого слугу Казимира с бакенбардами (того, который умел и любил откусывать хвосты новорожденным щенкам-фокстерьерам), счастливо женился dans la force de l’age[30], т. е. в моих теперешних летах, на молодой эстонке около того времени, когда я женился сам (в 1925 году). Эти вести меня странно потрясли, как будто жизнь покусилась на мои творческие права, на мою печать и подпись, продлив свой извилистый ход за ту личную мою границу, которую Мнемозина провела столь изящно, с такой экономией средств.

Глава пятая

1

В холодной комнате, на руках у беллетриста, умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства,

[30] В расцвете сил *(фр.)*.

и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе. Так вкрапленный в начало «Защиты Лужина» образ моей французской гувернантки погибает для меня в чуждой среде, навязанной сочинителем. Вот попытка спасти, что еще осталось от этого образа.

Мне было шесть лет, брату пять, когда, в 1905 году, к нам приехала Mademoiselle. Показалась она мне огромной, и в самом деле она была очень толста. Вижу ее пышную прическу, с непризнанной сединой в темных волосах, три, — и только три, но какие! — морщины на суровом лбу, густые мужские брови над серыми — цвета ее же стальных часиков — глазами за стеклами пенсне в черной оправе; вижу ее толстые ноздри, зачаточные усы и ровную красноту большого лица, сгущающуюся, при наплыве гнева, до багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается прямо на высоком скате ее многосборчатой блузы. Вот, готовясь читать нам, она придвигает к себе толчками, незаметно пробуя его прочность, верандовое кресло и приступает к акту усадки: ходит студень под нижнею челюстью, осмотрительно опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю свою колышимую массу камышовому сиденью, которое со страху разражается скрипом и треском.

Зима, среди которой она приехала к нам, была единственной проведенной нами в деревне, и все было ново и весело — и валенки, и снеговики, и гигантские синие сосульки, свисающие с крыши красного амбара, и запах мороза и смолы, и гул печек в комнатах усадьбы, где в разных приятных занятиях тихо кончалось бурное царство мисс Робинсон. Год, как известно, был революционный, с бунтами, надежда-

ми, городскими забастовками, и отец правильно рассчитал, что семье будет покойнее в Выре. Правда, в окрестных деревнях были, как и везде, и хулиганы и пьяницы, — а в следующем году даже так случилось, что зимние озорники вломились в запертый дом и выкрали из киотов разные безделицы, — но, в общем, отношения с местными крестьянами были идиллические: как и всякий бескорыстный барин-либерал, мой отец делал великое количество добра в пределах рокового неравенства.

Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в девяти верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя, и через него вижу ясно, как она выходит из желтого вагона в сумеречную глушь небольшой оснежённой станции в глубине гиперборейской страны и что она чувствует при этом. Ее русский словарь состоял из одного короткого слова — того же, ничем не обросшего, неразменного слова, которое спустя десять лет она увезла обратно, в родную Лозанну. Это простое словечко, «где», превращалось у нее в «гиди-э» и, полнясь магическим смыслом, звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. «Гиди-э, гиди-э?» — заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали — одиночество, страх, бедность, болезнь и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее наконец поймут и оценят.

Бесплотный представитель автора предлагает ей невидимую руку. На ней пальто из поддельного котика и шляпа с птицей. По перрону извивается за́меть. Куда идти? Изредка дверь ожидальни отворяется с дрожью и воем в тон стуже; оттуда вырывается светлый пар, почти столь же густой, как тот, который валит из трубы шумно ухающего паровоза. «Et je me tenais là abandonnée de tous, pareille à la Comtesse

Karénine»[31], — красноречиво, если и не совсем точно, жаловалась она впоследствии. Но вот появляется настоящий спаситель, наш кучер Захар, рослый, выщербленный оспой человек, в черных усах, похожий на Петра Первого, чудак, любитель прибауток, одетый в нагольный овечий тулуп, с рукавицами, засунутыми за красный кушак. Слышу, добросовестно скрипит под его валенками снег, пока он возится с багажом «мадмазели», с упряжью, позвякивающей в темноте, и с собственным носом, который, обходя сани, он мощно облегчает отечественным приемом зажима и стряха. Медленно, грузно, томимая мрачными предчувствиями, путешественница, держась за помощника, усаживается в утлые сани. Вот она всунула кулаки в плюшевую муфту, вот чмокнул Захар, вот переступили, напрягая мышцы, вороные Зойка и Зинка, и вот Mademoiselle подалась всем корпусом назад — это дернулись сани, вырываясь из мира вещей и плоти, чтобы плавно потечь прочь, едва касаясь отрешенной от трения снежной стези.

Мимолетом, благодаря свету провожающего нас фонаря, чудовищно преувеличенная тень — с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя, — несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью, там, где перенимает санки другой, последний, фонарь, и все исчезает: путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называла с содроганьем «степью». И действительно, чем не la jeune Sibérienne?[32] В неведомой мгле желтыми волчьими глазами кажутся переменчивые огни (сейчас мы проедем ветхую деревеньку в овраге, перед которой четко стоит — с 1840 г., что ли, — на слегка подгнившей, но крепкой доске: 116 душ — хотя и тридцати не наберется). Бедная иностранка

[31] И вот я стояла, всеми брошенная, совсем как графиня Каренина *(фр.)*.
[32] Юная Сибирячка *(фр.)*.

чувствует, что замерзает «до центра мозга» — ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербол, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, дабы удостовериться, что другие сани, с ее черным сундуком и шляпной картонкой, следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компанейские призраки кораблей, которые нам описали полярные мореходы.

Не забудем и полной луны. Вот она — легко и скоро скользит, зеркалистая, из-под каракулевых тучек, тронутых радужной рябью. Дивное светило наводит глазурь на голубые колеи дороги, где каждый сверкающий ком снегу подчеркнут вспухнувшей тенью.

Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет; бубенчики их — лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой — за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег — настоящий на ощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев.

2

В гостиную вплывает керосиновая лампа на белом лепном пьедестале. Она приближается — и вот, опустилась. Рука Мнемозины, теперь в нитяной перчатке буфетчика Алексея, ставит ее, в совершенстве заправленную, с огнем как ирис, посредине круглого стола. Ее венчает розовый абажур с воланами, кругосветно украшенный по шелку полупрозрачными изображеньицами маркизовых зимних игр. Дверь отворена в проходной кабинетик, и оттуда низвергается

желтый паркет из овального зеркала над карельской березы диваном (всем этим я не раз меблировал детство героев). За столом мы рисуем. На шкафчике в простенке лоснистым хребтом горбится бледно-серая обезьяна из фарфора с бледно-серым фруктом в руке, необыкновенно похожая на А. Ф. Кони, поедающего яблоко. Подвески люстры изредка позвякивают, вероятно оттого, что наверху передвигают что-то в будущей комнате Mademoiselle. Старая Робинсон, которой я не терплю (но *все* лучше неизвестной француженки), отложив книгу, смотрит на часы: навалило много снегу, и вообще много чего ждет заместительницу.

Лиловый карандаш стал так короток от частого употребления, что его трудно держать. Синий проводит горизонт любого моря. Голубой ужасно ломок: его шатающийся молочный кончик подпирается выступом выщепки. Зеленый спиральным движением производит липу — или дым из домишки, где варят шпинат. Желтый безнадежно сломан. Оранжевый создает солнце, садящееся за морской горизонт. Красный малыш едва ли не короче лилового. И из всех карандашей только белый сохранял свою девственную длину — пока я не догадался, что этот альбинос, будто бы не оставляющий следа на бумаге, на самом деле орудие идеальное, ибо, водя им, можно было вообразить незримое запечатление настоящих, взрослых картин, без вмешательства собственной младенческой живописи.

Увы, эти карандаши я тоже раздарил вымышленным детям. Как все размазалось, как все поблекло! Не помню, одалживал ли я кому Бокса Первого, любимца ключницы, пережившего свою Лулу-Иокасту. Он спит на расшитой подушке, в углу козетки. Седоватая морда с таксичьей бородавкой у рта заткнута под бедро, и время от времени его все еще крутенькую грудную клетку раздувает глубокий вздох. Он так стар, так устлан изнутри сновидениями о запахах прошлого, что не шевелится, когда сани с путешествен-

ницей и сани с ее багажом подъезжают к дому и оживает гулкий, в чугунных узорах вестибюль. А как я надеялся, что она не доедет!

3

Совсем другой, некомнатный, пес, благодушный родоначальник свирепой, но продажной семьи цепных догов, выпускаемых только по ночам, сыграл приятную для него роль в происшествии, имевшем место чуть ли не через день после прибытия Mademoiselle. Случилось так, что мы с братом Сергеем оказались на полном ее попечении. Мать неосторожно уехала на несколько дней в Петербург, — она была встревожена событиями того года, а кроме того, ожидала четвертого ребенка и была очень нервна. Робинсон, вместо того чтобы помочь Mademoiselle утрястись, не то уехала тоже, не то была унаследована трехлетней моей сестрой — у нас мальчики и девочки воспитывались совершенно отдельно, как в старину. Чтобы показать наше недовольство, я предложил покладистому брату повторить висбаденскую эскападу, когда, шурша подошвами в ярких сухих листьях, мы так удачно бежали к пристани от мисс Хант и потом врали Бог знает что каким-то американкам на рейнском пароходике. Но теперь, вместо нарядной осени, кругом расстилалась снежная пустыня, и не помню, как я себе представлял переход из Выры на Сиверскую, где, по-видимому (как нахожу, порывшись заново у себя в памяти), я замышлял сесть с братом в петербургский поезд. Дело было на склоне дня, мы только что вернулись с первой нашей прогулки в обществе Mademoiselle и кипели негодованием и ненавистью. Бороться с малознакомым нам языком, да еще быть лишенными всех привычных забав — с этим, как я объяснил брату, мы примириться не могли. Несмотря на солнце и безветрие, она заставила нас нацепить вещи, которых мы не носили

и в пургу, — какие-то страшные гетры и башлыки, мешавшие двигаться. Она не позволила нам ходить по пухлым, белым округлостям, заменившим летние клумбы, или подлезать под волшебное бремя елок и трясти их. La bonne promenade[33], которую она нам обещала, свелась к чинному хождению взад и вперед по усыпанной песком снежной площадке сада. Вернувшись с прогулки, мы оставили ее пыхтеть и снимать ботики в парадной, а сами промчались через весь дом к противоположной веранде, откуда опять выбежали на двор, правильно рассчитав, что она будет долго искать нас за шкафами и диванами еще мало ей известных комнат. Упомянутый дог как раз примеривался к ближнему сугробу, но его желтые глаза нас заметили — и, радостно скача, он присоединился к нам.

Втроем пройдя по полупротоптанной тропинке, мы вскоре свернули через пушистый снег к проезжей дороге и двинулись окружным путем по направлению так называемой Песчанки, откуда можно было пройти к станции, минуя село Рождествено. Меж тем солнце село, и очень скоро стало совсем темно. Братец стал жаловаться, что продрог и устал, и я помог ему сесть верхом на дога, единственного члена экспедиции, который был по-прежнему весел. Брат в совершенном молчании все сваливался со своего неудобного коня, и, как в страшной сказке, лунный свет пересекался черными тенями придорожных гигантов-деревьев. Вдруг нас нагнал слуга с фонарем, посадил на дровни и повез домой. Mademoiselle стояла на крыльце и выкликала свое безумное «гиди-э». Я скользнул мимо нее. Брат расплакался и сдался. Дог, которого, между прочим, звали Турка, вернулся к своим прерванным исследованиям в отношении удобных и осведомительных сугробов.

---

[33] Славная прогулка *(фр.)*.

4

В детстве мы лучше видим руки людей, ибо они, эти знакомые руки, витают на уровне нашего роста; мадемуазелины были неприятны мне каким-то лягушечьим лоском тугой кожи по тыльной стороне, усыпанной уже старческой горчицей. До нее никто никогда не трепал меня по щеке — это было отвратительное иностранное ощущение, — она же именно с этого и начала — в знак мгновенного расположения, что ли. Все ее ужимки, столь новые для меня после довольно однообразных и сдержанных жестов наших англичанок, ясно вспоминаются мне, как только воображаю ее руки: манера чинить карандаш к себе, к своей огромной бесплодной груди, облеченной в зеленую шерсть безрукавной кофточки поверх блузы; способ чесать в ухе — вдруг совала туда мизинец, и он как-то быстро-быстро там трепетал. И еще — обряд, соблюдавшийся при выдаче чистой тетрадки: со всегдашним легким астматическим пыхтением, округлив по-рыбьи рот, она наотмашь раскрывала тетрадку, делала в ней поле, т. е. резко проводила ногтем большого пальца вертикальную черту и по ней сгибала страницу, после чего тетрадка одним движением обращалась вокруг оси, чтобы поместиться передо мной. В любимую мою сердоликовую вставку она для меня всовывала новое перо и с сырым присвистом слюнила его блестящее острие, прежде чем деликатно обмакнуть его в чернильницу. Ручка с еще чисто-серебряным, только наполовину посиневшим, пером наконец передавалась мне, и, наслаждаясь отчетливостью выводимых букв — особенно потому, что предыдущая тетрадь безнадежно кончилась всякими перечеркиваниями и безобразием, — я надписывал «Dictée», покамест Mademoiselle выискивала в учебнике что-нибудь потруднее да подлиннее.

5

Декорация между тем переменилась. Инеистое дерево и кубовый сугроб убраны безмолвным бутафором. Сад в бело-розово-фиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи — все цело, все прелестно, молоко выпито, половина четвертого, Mademoiselle читает нам вслух на веранде, где циновки и плетеные кресла пахнут из-за жары вафлями и ванилью. Летний день, проходя сквозь ромбы и квадраты цветных стекол, ложится драгоценной росписью по беленым подоконникам и оживляет арлекиновыми заплатами сизый коленкор одного из длинных диванчиков, расположенных по бокам веранды. Вот место, вот время, когда Mademoiselle проявляет свою сокровенную суть.

Какое неимоверное количество томов и томиков она перечла нам на этой веранде, у этого круглого стола, покрытого клеенкой! Ее изящный голос тек да тек, никогда не ослабевая, без единой заминки; это была изумительная чтеческая машина, никак не зависящая от ее больных бронхов. Так мы прослушали и мадам де Сегюр, и Додэ, и длиннейшие, в распадающихся бумажных переплетах, романы Дюма, и Жюль Верна в роскошной брошюровке, и Виктора Гюго, и еще много всякой всячины. Она сливалась со своим креслом столь же плотно, столь же органически, как, скажем, верхняя часть кентавра с нижней. Из неподвижной горы струился голос; только губы да самый маленький — но настоящий — из ее подбородков двигались. Ее чеховское пенсне окружало черными ободками два опущенных глаза с веками, очень похожими на этот подбородок-подковку. Иногда муха садилась ей на лоб, и тогда все три морщины разом подскакивали; но ничто другое не возмущало этого лица, которое, таясь, я так часто рисовал, ибо его простая симметрия гораздо сильнее притягивала мой карандаш, чем ваза с анютиными глазками, будто служившая мне моделью.

Мое вниманье отвлекалось — и тут-то выполнял свою настоящую миссию ее на редкость чистый и ритмичный голос. Я смотрел на крутое летнее облако — и много лет спустя мог отчетливо воспроизвести перед глазами очерк этих сбитых сливок в летней синеве. Запоминались навек длинные сапоги, картуз и расстегнутая жилетка садовника, подпирающего зелеными шестиками пионы. Трясогузка пробегала несколько шажков по песку, останавливалась, будто что вспомнив, и семенила дальше. Откуда ни возьмись, бабочка-полигония, сев на верхнюю ступень веранды, расправляла плашмя на припеке свои вырезные бронзовые крылья, мгновенно захлопывала их, чтобы показать белую скобочку на аспидном исподе, вспыхивала опять — и была такова. Постояннейшим же источником очарования в часы чтения на вырской веранде были эти цветные стекла, эта прозрачная арлекинада! Сад и опушка парка, пропущенные сквозь их волшебную призму, исполнялись какой-то тишины и отрешенности. Посмотришь сквозь синий прямоугольник — и песок становился пеплом, траурные деревья плавали в тропическом небе. Сквозь зеленый параллелепипед зелень елок была зеленее лип. В желтом ромбе тени были как крепкий чай, а солнце как жидкий. В красном треугольнике темнорубиновая листва густела над розовым мелом аллеи. Когда же после всех этих роскошеств обратишься, бывало, к одному из немногих квадратиков обыкновенного пресного стекла, с одиноким комаром или хромой карамарой в углу, это было так, будто берешь глоток воды, когда не хочется пить, и трезво белела скамья под знакомой хвоей; но из всех оконец в него-то мои герои-изгнанники мучительно жаждали посмотреть.

Mademoiselle так и не узнала никогда, как могущественны были чары ее ровно журчавшего голоса. В дальнейшем, по возвращении ее в Швейцарию, ее притязания на минувшее

оказались совсем другими: «Ah, comme on s'aimait!»[34], — вздыхала она, вспоминая: «Как мы веселились вместе! А как, бывало, ты поверял мне шепотом свои детские горести» (Никогда!), «А уютный уголок в моей комнате, куда ты любил забиваться, так тебе было там тепло и покойно...».

Комната Mademoiselle, и в Выре и в Петербурге, была странным и даже жутким местом. В едком тумане этой теплицы, где глухо пахло, из-под прочих испарений, ржавчиной яблок, тускло светилась лампа, и необыкновенные предметы поблескивали на столиках: лаковая шкатулка с лакричными брусками, которые она распиливала перочинным ножом на черные кусочки, — одно из любимых ее лакомств; самой Помоной украшенная округлая жестянка со слипшимися монпансье — другая ее страсть; толстый слоистый шар, слепленный из серебряных бумажек с тех несметных шоколадных плиток и кружков, которые она ела в постели; цветной снимок — швейцарское озеро и замок с крупицами перламутра вместо окон; несколько кабинетных фотографий — покойного племянника, его матери (расписавшейся «Mater Dolorosa»[35]), таинственного усача, Monsieur de Marante, которого семья заставила жениться на богатой вдове; главенствовал же над ними портрет в усыпанной поддельными каменьями рамке: на нем была снята вполоборота стройная молодая брюнетка в плотно облегающем бюст платье, с твердой надеждой в глазах и гребнем в роскошной прическе. «Коса до пят, и вот такой толщины», — говорила с пафосом Mademoiselle — ибо эта бодрая матовая барышня была когда-то ею, но тщетно недоверчивый глаз силился извлечь из ее теперешних стереоптических очертаний ими поглощенный тонкий силуэт. Нам с братом, увы, были даны как раз

---

[34] Ах, как мы любили друг друга! *(Фр.)*

[35] Скорбящая Мать *(лат.)*.

обратные откровения: то, чего не могли видеть взрослые, наблюдавшие лишь облаченную в непроницаемые доспехи, дневную Mademoiselle, видели мы, всезнающие дети, когда, бывало, тому или другому из нас приснится дурной сон, и, разбуженная звериным воплем, она появлялась из соседней комнаты, босая, простоволосая, подняв перед собою свечу, миганьем своим обращавшую в чешую золотые блестки на ее кроваво-красном капоте, который не прикрывал ее чудовищных колыханий: в эту минуту она казалась сущим воплощением Иезавели из «Athalie», дурацкой трагедии Расина, куски которой мы, конечно, должны были знать наизусть вместе со всяким другим лжеклассическим бредом.

6

Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то «баллотируются», или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться. Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку, к этому еженощному, довольно анекдотическому разрыву со своим сознанием. В зрелые годы у меня это свелось приблизительно к чувству, которое испытываешь перед операцией с полной анестезией, но в детстве предстоявший сон казался мне палачом в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец. Единственной опорой в темноте была щель слегка приоткрытой двери в соседнюю комнату, где горела одна лампочка из потолочной группы и куда Mademoiselle из своего дневного логовища часов в десять приходила спать. Без этой вертикали кроткого света мне было бы не к чему прикрепиться

в потемках, где кружилась и как бы таяла голова. Удивительно приятной перспективой была мне субботняя ночь, та единственная ночь в неделе, когда Mademoiselle, принадлежавшая к старой школе гигиены и видевшая в наших английских привычках лишь источник простуд, позволяла себе роскошь и риск ванны — чем продлевалось чуть ли не на час существование моей хрупкой полоски света. В петербургском доме ей отведенная ванная находилась в конце дважды загибающегося коридора, в каких-нибудь двадцати ударах сердца от моего изголовья, и, разрываясь между страхом, что ей вздумается сократить свое торжественное купанье, и завистью к мирному посапыванью брата за ширмой, я никогда не успевал воспользоваться лишним временем и заснуть, пока световая щель в темноте все еще оставалась залогом хоть точки моего я в бездне. И наконец, они раздавались, эти неумолимые шаги: вот они тяжело приближаются по коридору и, достигнув последнего колена, заставляют невесело брякать какой-нибудь звонкий предметик, деливший у себя на полке мое бдение. Вот — вошла в соседнюю комнату. Происходит быстрый пересмотр и обмен световых ценностей: свечка у ее кровати скромно продолжает дело лампы, которая, со стуком взбежав на две ступени дивного добавочного света, тут же отменяет его и с таким же стуком тухнет. Моя вертикаль еще держится, но как она тускла и ветха, как неприятно содрогается всякий раз, что скрипит мадемуазелина кровать... Наступает период упадка: она читает в постели Бурже. Слышу серебристый шелест оголяемого шоколада и чирканье фруктового ножа, разрезающего страницы новой «Revue des Deux Mondes»[36]. Я даже различаю знакомый зернистый присвист ее дыханья. И все время, в ужасной тоске, я стараюсь приманить ненавистный сон,

[36] Французский толстый журнал.

ибо знаю, что сейчас будет. Ежеминутно открываю глаза, чтобы проверить, там ли мой мутный луч. Рай — это место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи! И тут-то оно и случается: защелкивается футляр пенсне; шуркнув, журнал перемещается на ночной столик; Mademoiselle бурно дует; с первого раза подшибленное пламя выпрямляется вновь; при втором порыве свет гибнет. Бархатный убийственный мрак ничем не прерван, кроме моих частных беззвучных фейерверков, и я теряю направление, постель тихо вращается, в паническом трепете сажусь и всматриваюсь в темноту. Господи, ведь знают же люди, что я не могу уснуть без точки света, — что бред, сумасшествие, смерть и есть вот эта совершенно черная чернота! Но вот, постепенно приноравливаясь к ней, взгляд отделяет действительное мерцание от энтоптического шлака, и продолговатые бледноты, которые, казалось, плывут куда-то в беспамятстве, пристают к берегу и становятся слабо, но бесценно светящимися вогнутостями между складками гардин, за которыми бодрствуют уличные фонари.

Непонятными, ничтожными казались эти ночные невзгоды в те восхитительные утра, когда не только ночь, но и зима проваливалась в мокрую синь Невы, и веяло в лицо лирической шероховатой весной северной палеарктики, и можно было с полушубка на бобровом меху перейти на синее пальто с якорьками на медных пуговицах. Сияли крыши, гремел Исаакий, и нигде я не видел такой фиолетовой слякоти, как на петербургских мостовых. On se promenait en voiture — или en équipage[37], как говорилось по старинке в русских семьях. Черно-сливового цвета плюш величественно холмится на груди у Mademoiselle, расположившейся на заднем сиденье открытого ландо с моим торжествующим и заплаканным

---

[37] Ездили кататься в коляске... в экипаже *(фр.)*.

братцем, которого я, сидя напротив, иногда напоследок лягаю под общим пледом — мы еще дома повздорили; впрочем, обижал я его не часто, но и дружбы между нами не было никакой — настолько, что у нас не было даже имен друг для друга — Володя, Сережа, — и со странным чувством думается мне, что я мог бы подробно описать всю свою юность, ни разу о нем не упомянув. Ландо катится, машисто бегут лошади, свежо шее, и немного поташнивает; и, надуваясь ветром высоко над улицей, на канатах, поперек Морской у Арки, три полосы полупрозрачных полотнищ — бледно-красная, бледно-голубая и просто линялая — усилиями солнца и беглых теней лишаются случайной связи с каким-то неприсутственным днем, но зато теперь, в столице памяти, несомненно празднуют они пестроту того весеннего дня, стук копыт по торцам, начало кори, распушенное невским ветром крыло птицы, с одним красным глазком, на шляпе у Mademoiselle.

7

Она провела с нами около восьми лет, и уроки становились все реже, а характер ее все хуже. Незыблемой скалой кажется она по сравнению с приливом и отливом английских гувернанток и русских воспитателей, перебывавших у нас; со всеми ними она была в дурных отношениях. Предпосылки ее обид отличались тончайшими оттенками. Летом редко садилось меньше двенадцати человек за стол, а в дни именин и рождений бывало, по крайней мере, втрое больше, и вопрос, где ее посадят, был для нее жгуч. Из Батова в тарантасах и шарабанах приезжали Набоковы, Лярские, Рауши, из Рождествена — Василий Иванович, держась за кушак кучера (что отец мой считал неприличным), из Дружноселья — Витгенштейны, из Митюшина — Пыхачевы; были тут и разные отцовские и материнские дальние родственники, компаньон-

ки, управляющие, гувернантки и гувернеры; рождественский доктор прикатывал на своих легоньких дрожках, запряженных крутошеей цирковой понькой с гривкой как зубная щетка; и в прохладном вестибюле звучно сморкался и все это упаковывал в платок, и проверял в высоких зеркалах свой белый шелковый галстук милый Василий Мартынович, принесший, в зависимости от сезона, любимые цветы матери или отца — зеленоватые влажные ландыши в туго скрипучем букете или крупный пук словно синеных васильков, перевязанных алой лентой. Интересно, кто заметит, что этот параграф построен на интонациях Флобера.

Особенно зорко следила Mademoiselle за одной из беднейших набоковских родственниц, Надеждой Ильиничной Назимовой, старой девой, кочевавшей всякое лето из одного поместья в другое и слывшей художницей, — она выжигала цветные русские тройки по дереву и переписывалась славянской вязью с сочленами какого-то черносотенного союза. Жидковолосая, с челкой, с громадным, земляничного цвета, лицом, которое было столь скошено набок, вследствие застуженного в печальной молодости флюса, что речь ее, как бы рупорная, казалась направленной в собственное левое ухо, она была уродлива и очень толста, фигурой походя на снежную бабу, т. е. была менее хорошо распределена, чем Mademoiselle. Когда, бывало, эти две дамы плыли одна навстречу другой по широкой аллее парка и безмолвно разминались — Надежда Ильинична с лопухом, пришпиленным ради свежести к волосам, а Mademoiselle под муаровым зонтиком, обе в кушачках и объемистых юбках, которые ритмично со стороны на сторону мели подолами по песку, они очень напоминали те два пузатых электрических вагона, которые так однообразно и невозмутимо расходились посреди ледяной пустыни Невы. «Je suis une sylphide à coté de ce

monstre»[38] — презрительно говаривала Mademoiselle. Когда же той удавалось пересесть ее за праздничным столом, губы Mademoiselle от обиды складывались в дрожащую ироническую усмешку, и если при этом какой-нибудь простодушный ее визави отзывался любезной улыбкой, то она быстро мотала головой, будто выходя из глубокой задумчивости, и произносила: «Excusez-moi, je souriais à mes tristes pensées»[39].

Природа постаралась ее наградить всем тем, что обостряет уязвимость. К концу ее пребывания у нас она стала глохнуть. За столом, случалось, мы с братом замечали, как две крупных слезы сползают по ее большим щекам. «Ничего, не обращайте внимания», — говорила она и продолжала есть, пока слезы не затопляли ее; тогда, с ужасным всхлипом, она вставала и чуть ли не ощупью выбиралась из столовой. Добивались очень постепенно пустячной причины ее горя: она, например, все более убеждалась, что если общий разговор временами и велся по-французски, то делалось это по сговору ради дьявольской забавы — не давать ей направлять и украшать беседу. Бедняжка так торопилась влиться в понятную ей речь до возвращения разговора в русский хаос, что неизменно попадала впросак. «А как поживает ваш парламент, Monsieur Nabokofï?» — бодро выпаливала она, хотя уж много лет прошло со времени Первой Думы. А не то ей покажется, что разговор коснулся музыки, и многозначительно она преподносила: «Помилуйте, и в тишине есть мелодия! Однажды, в дикой альпийской долине, я — вы не поверите, но это факт — *слышала* тишину». Невольным следствием таких реплик — особливо когда слабеющий слух подводил ее и она отвечала на мнимый вопрос — была мучительная пауза,

---

[38] Я сильфида по сравнению с этим чудовищем *(фр.)*.

[39] Простите, я улыбалась своим грустным мыслям *(фр.)*.

а вовсе не вспышка блестящей, легкой causerie[40]. Между тем сам по себе ее французский язык был так обаятелен! Неужто нельзя было забыть поверхностность ее образования, плоскость суждений, озлобленность нрава, когда эта жемчужная речь журчала и переливалась, столь же лишенная истинной мысли и поэзии, как стишки ее любимцев Ламартина и Коппе! Настоящей французской литературе я приобщился не через нее, а через рано открытые мною книги в отцовской библиотеке; тем не менее хочу подчеркнуть, сколь многим обязан я ей, сколь возбудительно и плодотворно действовали на меня прозрачные звуки ее языка, подобного сверканью тех кристаллических солей, кои прописываются для очищения крови. Потому-то так грустно думать теперь, как страдала она, зная, что никем не ценится соловьиный голос, исходящий из ее слоновьего тела. Она зажилась у нас, все надеясь, что чудом превратится в некую grande précieuse[41], царящую в золоченой гостиной и блеском ума чарующую поэтов, вельмож, путешественников.

Она бы продолжала ждать и надеяться, если бы не Ленский, розовый, полнолицый студент с рыжеватой бородкой, голубой обритой головою и добрыми близорукими глазами, который в десятых годах жил у нас в качестве репетитора. У него было несколько предшественников, ни одного из них Mademoiselle не любила, но про Ленского говорила, что это le comble[42] — дальше идти некуда. Он был довольно неотесанный одессит с чистыми идеалами и, преклоняясь перед моим отцом, откровенно осуждал кое-что в нашем обиходе, как, например, лакеев в синих ливреях, реакционных приживалок, «снобичность» некоторых забав и, увы, французский

---

[40] Беседа *(фр.)*.

[41] Хозяйка светского салона *(фр.)*.

[42] Переходит все границы *(фр.)*.

язык, неуместный, по его мнению, в доме у демократа. Mademoiselle, которой за все время их совместного прозябания ни разу не пришло в голову, что Ленский не знает ни слова по-французски, решила, что если он на все ей отвечает мычанием (чудак, за неимением других прикрас, старался по крайней мере его германизировать), то делает он это с намерением ее грубо оскорбить и осадить при всех — ведь никто за нее не заступится. Это были незабываемые сцены, и постоянное повторение их не делало чести уму ни той, ни другой стороне. Сладчайшим тоном, но уже со зловещим подрагиванием губ, Mademoiselle просила соседа передать ей хлеб, а сосед кивал, бурча что-то вроде «их денке зо аух», и спокойно продолжал хлебать суп; при этом в Надежде Ильиничне, не жаловавшей Mademoiselle за сожжение Москвы, а Ленского за распятие Христа, злорадство боролось с сочувствием. Наконец, преувеличенно широким движением, Mademoiselle ныряла через тарелку Ленского по направлению к корзинке с французской булкой и втягивалась обратно через него же, крикнув: «Merci, Monsieur» — с такой сокрушительной интонацией, что пушком поросшие уши Ленского становились алее герани. «Скот! Наглец! Нигилист!» — всхлипывая, жаловалась она моему брату, смирно сидевшему на ее постели, — которая давно переехала из смежной с нами комнаты в ее собственную.

В нашем петербургском особняке был небольшой водяной лифт, который всползал по бархатистому канату на третий этаж вдоль медленно спускавшихся подтеков и трещин на какой-то внутренней желтоватой стене, странно разнящейся от гранита фронтона, но очень похожей на другой, тоже наш, дом со стороны двора, где были службы и сдавались, кажется, какие-то конторы, судя по зеленым стеклянным колпакам ламп, горящих среди ватной темноты в тех скучных потусторонних окнах. Оскорбительно наме-

кая на ее тяжесть, этот лифт часто бастовал, и Mademoiselle бывала принуждена, со многими астматическими паузами, подниматься по лестнице. К ней навстречу по этим ступеням тяжеловато, но резво сбегал, бывало, Ленский, и в течение двух зим она доказывала, что, проходя, он непременно толкнет ее, пихнет, собьет с ног, растопчет ее безжизненное тело. Все чаще и чаще уходила она из-за стола, — и какой-нибудь пломбир или профитроль, о котором она бы пожалела, дипломатично посылался ей вдогонку. Из глубины как бы все удалявшейся комнаты своей она писала матери письма на шестнадцати страницах, и мать спешила наверх и заставала ее трагически укладывающей чемодан в присутствии удрученного Сережи. И однажды ей дали доуложиться.

8

Она переехала куда-то, мы еще иногда виделись, а в самом начале Первой мировой войны она вернулась в Швейцарию. Советская революция переместила нас на полтора года в Крым, а оттуда мы навсегда уехали за границу. Я учился в Англии, в Кембриджском университете, и как-то во время зимних каникул, в 1921 г., что ли, поехал с товарищем в Швейцарию на лыжный спорт — и на обратном пути, в Лозанне, посетил Mademoiselle.

Еще потолстевшая, совсем поседевшая и почти совершенно глухая, она встретила меня бурными изъявлениями любви. Ей, должно быть, было лет семьдесят — возраст свой она всегда скрывала с какой-то страстью и могла бы сказать: «L’âge est mon seul trésor»[43]. Изображение Шильонского замка заменила аляповатая тройка, выжженная на крышке лаковой шкатулки. Она с таким же жаром вспоминала свою

[43] Годы — мое единственное сокровище *(фр.)*.

жизнь в России, как если бы это была ее утерянная родина. И то сказать: в Лозанне проживала целая колония таких бывших гувернанток, ушедших на покой; они жались друг к дружке и ревниво щеголяли воспоминаниями о прошлом, образуя странно ностальгический островок среди чуждой стихии: «Аргентинцы изнасиловали всех наших молодых девушек», — уверяла все еще красноречивая Mademoiselle. Лучшим ее другом была теперь сухая старушка, похожая на мумию подростка, бывшая гувернантка моей матери, Mlle Golay, которая тоже вернулась в Швейцарию, причем они не разговаривали друг с другом, пока обе жили у нас. Человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом, чем отчасти и объясняется как бы посмертная любовь этих бедных созданий к далекой и, между нами говоря, довольно страшной стране, которой они по-настоящему не знали и в которой никакого счастья не нашли.

Так как беседа мучительно осложнялась глухотой Mademoiselle, мы с приятелем решили принести ей в тот же день аппарат, на который ей явно не хватало средств. Сначала она неправильно приладила сложный инструмент, что, впрочем, не помешало ей сразу же поднять на меня влажный взгляд, посильно изображавший удивление и восторг. Она клялась, что слышит даже мой шепот. Между тем этого не могло быть, ибо, озадаченный и огорченный поведением машинки, я не сказал ни слова, а если бы заговорил, то предложил бы ей поблагодарить моего товарища, заплатившего за аппарат. Быть может, она слышала то самое молчание, к которому прислушивалась когда-то в уединенной долине: тогда она себя обманывала, теперь меня.

Прежде чем покинуть Лозанну, я вышел пройтись вокруг озера холодным, туманным вечером. В одном месте особенно унылый фонарь разбавлял мглу и, проходя через его тусклую ауру, туман обращался в бисер дождя. Вспомнилось: «Il pleut

toujours en Suisse»[44] — утверждение, которое некогда доводило Mademoiselle до слез. «Mais non, — говорила она, — il fait si beau, si beau»[45], — и от обиды не могла определить точнее это «beau». За парапетом шла по воде крупная рябь, почти волна, — когда-то поблизости чуть не погибла в бурю Жюли де Вольмар. Вглядываясь в тяжело плещущую воду, я различил что-то большое и белое. Это был старый, жирный, неуклюжий, похожий на удода лебедь. Он пытался забраться в причаленную шлюпку, но ничего у него не получалось. Беспомощное хлопанье его крыльев, скользкий звук его тела о борт, колыханье и чмоканье шлюпки, клеенчатый блеск черной волны под лучом фонаря — все это показалось мне насыщенным странной значительностью, как бывает во сне, когда видишь, что кто-то прижимает перст к губам, а затем указывает в сторону, но не успеваешь досмотреть и в ужасе просыпаешься.

Память об этой пасмурной прогулке вскоре заслонилась другими впечатлениями; но когда года два спустя я узнал о смерти сироты-старухи (удалось ли мне вызволить ее из моих сочинений, не знаю), первое, что мне представилось, было не ее подбородки, и не ее полнота, и даже не музыка ее французской речи, а именно тот бедный, поздний, тройственный образ: лодка, лебедь, волна.

Глава шестая

1

Проснешься, бывало, летним утром и сразу, в отроческом трепете, смотришь: какова щель между ставнями? Ежели водянисто-бледна, то валишься назад на подушки: не стоит и растворять ставни, за которыми заранее видишь всю досадную

[44] В Швейцарии всегда идет дождь *(фр.)*.

[45] Да нет же, погода там такая хорошая *(фр.)*.

картину — свинцовое небо, рябую лужу, потемневший гравий, коричневую кашицу опавших соцветий под кустами сирени и преждевременно блеклый древесный листок, плоско прилипший к мокрой садовой скамейке! Но если ставни щурились от ослепительно-росистого сверканья, я тотчас принуждал окно выдать свое сокровище: одним махом комната раскалывалась на свет и на тень. Пропитанная солнцем, березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зеленого винограда; еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве, и эта синева была такой насыщенности, какою мне довелось опять насладиться только много лет спустя в горно-боровой зоне Колорадо.

Сыздетства утренний блеск в окне говорил мне одно, и только одно: есть солнце — будут и бабочки. Началось все это, когда мне шел седьмой год, и началось с довольно банального случая. На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона — до сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом! Великолепное, бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с попугаичьим глазком над каждой из парных черно-палевых шпор, свешивалось с наклоненной малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, все время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желанья. Один из слуг — тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом в Выре, — ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина; но когда на другое утро Mademoiselle отперла шкаф, чтобы взять что-то, бабочка, с мощным шорохом, вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку, и все продолжала лететь на восток, над тайгой и тунд-

рой, на Вологду, Вятку и Пермь, а там — за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск, а из Верхнеколымска — где она потеряла одну шпору — к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль Скалистых Гор, где наконец, после сорокалетней погони, я настиг ее и ударом рампетки «сбрил» с ярко-желтого одуванчика, вместе с одуванчиком, в ярко-зеленой роще, вместе с рощей, высоко над Боулдером.

Бывало, влетев в комнату, пускалась

цветная бабочка в шелку,
порхать, шуршать и трепетать
по голубому потолку –

цитирую по памяти изумительные стихи Бунина (единственного русского поэта, кроме Фета, «видевшего» бабочек). Бывало, большая глянцевито-красная гусеница переходила тропинку и оглядывалась на меня. А вскоре после шкафной истории я нашел крупного замшевого, с цепкими лапками, сфинкса на окне парадного крыльца, и моя мать усыпила его при помощи эфира. Впоследствии я применял разные другие средства, но и теперь малейшее дуновение, отдающее тем первым снадобьем, сразу распахивает дверь прошлого; уже будучи взрослым юношей и находясь под эфиром во время операции аппендицита, я в наркотическом сне увидел себя ребенком с неестественно гладким пробором, в слишком нарядной матроске, напряженно расправлявшим под руководством чересчур растроганной матери свежий экземпляр глазчатого шелкопряда. Образ был подчеркнуто ярок, как на коммерческой картинке, приложенной к полезной забаве, хотя ничего особенно забавного не было в том, что расправлен и распорот был, собственно, я, которому снилось все это — промокшая, пропитанная ледяным эфиром вата, темнеющая от него, похожая на ушастую беличью

мордочку, голова шелкопряда с перистыми сяжками, и последнее содроганье его расчлененного тела, и тугой хряск булавки, правильно проникающей в мохнатую спинку, и осторожное втыкание довольно увесистого существа в пробковую щель расправилки, и симметричное расположенье под приколотыми полосками чертежной бумаги широких, плотных, густо опыленных крыльев, с матовыми оконцами и волнистой росписью орхидейных оттенков.

2

В петербургском доме была у отца большая библиотека; постепенно туда переходило кое-что и из вырского, где стены внутренней галереи, посреди которой поднималась лестница, были уставлены полками с книгами; добавочные залежи находились в одном из чуланов верхнего палубообразного этажа. Мне было лет восемь, когда, роясь там, среди «Живописного Обозрения» и «Graphic»'а в мраморных переплетах, гербариев с плоскими фиалками и шелковистыми эдельвейсами, альбомов, из которых со стуком выпадали твердые, с золотым обрезом, фотографии неизвестных людей в орденах, и всяких пыльных разрозненных игр вроде хальмы, я нашел чудные книги, приобретенные бабушкой Рукавишниковой в те дни, когда ее детям давали частные уроки зоолог Шимкевич и другие знаменитости. Помню такие курьезы, как исполинские бурые фолианты монументального произведения Альбертуса Себа («Locupletissimi Rerum Naturalium Thesauri Accurata Descriptio...»[46]), Амстердам, около 1750 года: на их желтоватых, грубо-шершавых страницах гравированы были и змеи, и раковины, и странно-голенастые бабочки, и в стеклянной банке за шею подвешенный зародыш эфиопского младенца женского пола; часами я разглядывал гидру на таблице CII — ее семь драконовых голов на семи длинных

---

[46] Заглавие ученого труда по зоологии.

шеях, толстое тело с пупырками и витой хвост. Из волшебного чулана я в объятиях нес к себе вниз, в угловой кабинетик, бесценные томы: тут были и прелестные изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибиллы Мериан (1647–1717), и «Die Schmetterlinge» (Эрланген, 1777) гениального Эспера, и Буадювалевы «Icones Historiques de Lepidoptères Nouveaux ou Peu Connus» (Париж, 1832 года и позже). Еще сильнее волновали меня работы, относящиеся ко второй половине девятнадцатого столетия, — «Natural History of British Butterflies and Moths» Ньюмана, «Die Gross-Schmetterlinge Europas» Гофмана, замечательные «Mémoires» вел. кн. Николая Михайловича и его сотрудников, посвященные русско-азиатским бабочкам, с несравненно-прекрасными иллюстрациями кисти Кавригина, Рыбакова, Ланга, и классический труд великого американца Скуддера, «Butterflies of New England»[47].

Уже отроком я зачитывался энтомологическими журналами, особенно английскими, которые тогда были лучшими в мире. То было время, когда систематика подвергалась коренным сдвигам. До того, с середины прошлого столетия, энтомология в Европе приобрела великую простоту и точность, ставши хорошо поставленным делом, которым заведовали немцы: верховный жрец, знаменитый Штаудингер, стоял во главе и крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми, и в его интересах было не усложнять определений бабочек; даже и поныне, через полвека после его смерти, среднеевропейской, а также и русской лепидоптерологии (почти несуществующей, впрочем, при Советах) далеко не удалось сбросить гипнотическое иго его авторитета. Штаудингер был еще жив, когда его школа начала терять свое научное значение в мире. Между тем как он и его приверженцы консервативно держались видовых и родовых названий, освященных

[47] Заглавия трудов по чешуекрылым.

долголетним употреблением, и классифицировали бабочек лишь по признакам, доступным голому глазу любителя, англо-американские работники вводили номенклатурные перемены, вытекавшие из строгого применения закона приоритета, и перемены таксономические, основанные на кропотливом изучении сложных органов под микроскопом. Немцы силились не замечать новых течений и продолжали снижать энтомологию едва ли не до уровня филателии. Забота штаудингерьянцев о «рядовом собирателе», которого не следует заставлять препарировать, до смешного похожа на то, как современные издатели романов пестуют «рядового читателя», которого не следует заставлять думать.

Обозначилась о ту пору и другая, более общая, перемена. Викторианское и штаудингеровское понятие о виде как о продукте эволюции, подаваемом природой коллекционеру на квадратном подносе, т. е. как о чем-то замкнутом и сплошном по составу, с кое-какими лишь внешними разновидностями (полярными, островными, горными), сменилось новым понятием о многообразном, текучем, тающем по краям виде, органически состоящем из географических рас (подвидов); иначе говоря, вид включил разновидности. Этими более гибкими приемами классификации лучше выражалась эволюционная сторона дела, и одновременно с этим биологические исследования чешуекрылых были усовершенствованы до неслыханной тонкости — и заводили в те тупики природы, где нам мерещится основная тайна ее. В этом смысле загадка «мимикрии» всегда пленяла меня — и тут английские и русские ученые делят лавры — я чуть не написал «ларвы» — поровну. Как объяснить, что замечательная гусеница буковой ночницы, наделенной во взрослой стадии странными членистыми придатками и другими особенностями, маскирует свою гусеничную сущность тем, что принимается «играть» двойную роль какого-то длинноногого, корчащегося насекомого и муравья, будто бы поеда-

ющего его, — комбинация, рассчитанная на отвод птичьего глаза? Как объяснить, что южноамериканская бабочка-притворщица, в точности похожая и внешностью и окраской на местную синюю осу, подражает ей и в том, что ходит по-осиному, нервно шевеля сяжками? Таких бытовых актеров среди бабочек немало. А что вы скажете о художественной совести природы, когда, не довольствуясь тем, что из сложенной бабочки каллимы она делает удивительное подобие сухого листа с жилками и стебельком, она, кроме того, на этом «осеннем» крыле прибавляет сверхштатное воспроизведение тех дырочек, которые проедают именно в таких листьях жучьи личинки? Мне впоследствии привелось высказать, что «естественный подбор» в грубом смысле Дарвина не может служить объяснением постоянно встречающегося математически невероятного совпадения хотя бы только трех факторов подражания в одном существе — формы, окраски и поведения (т. е. костюма, грима и мимики); с другой же стороны, и «борьба за существование» ни при чем, так как подчас защитная уловка доведена до такой точки художественной изощренности, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг гипотетического врага — птицы, что ли, или ящерицы: обманывать, значит, некого, кроме разве начинающего натуралиста. Таким образом, мальчиком я уже находил в природе то сложное и «бесполезное», которого я позже искал в другом восхитительном обмане — в искусстве.

3

В отношении множества человеческих чувств — надежды, мешающей заснуть, роскошного ее исполнения, несмотря на снег в тени, тревог тщеславия и тишины достигнутой цели — полвека моих приключений с бабочками, и ловитвенных и лабораторных, стоит у меня на почетнейшем месте. Если в качестве сочинителя единственную отраду нахожу

в личных молниях и посильном их запечатлении, а славой не занимаюсь, то — признаюсь — вскипаю непонятным волнением, когда перебираю в уме свои энтомологические открытия — изнурительные труды, изменения, внесенные мной в систематику, революцию с казнями коллег в светлом кругу микроскопа, образ и вибрацию во мне всех редкостных бабочек, которых я сам и поймал и описал, и свою отныне бессмертную фамилью за придуманным мною латинским названием или ее же, но с малой буквы, и с окончанием на латинское «i» в обозначении бабочек, названных в мою честь. И как бы на горизонте этой гордыни сияют у меня в памяти все те необыкновенные, баснословные места — северные трясины, южные степи, горы в четырнадцать тысяч футов вышины, — которые с кисейным сачком в руке я исходил и стройным ребенком в соломенной шляпе, и молодым человеком на веревочных подошвах, и пятидесятилетним толстяком в трусиках.

Я рано понял то, что так хорошо поняла мать в отношении подберезовиков: что в таких случаях надо быть одному. В течение всего моего детства и отрочества я маниакально боялся спутников, и конечно, ничто в мире, кроме дождя, не могло помешать моей утренней пятичасовой прогулке. Мать предупреждала гувернеров и гувернанток, что утро принадлежит мне всецело, — и они благоразумно держались в стороне. По этому поводу вспоминаю: был у меня в Тенишевском училище трогательный товарищ, мешковатый заика с длинным бледным лицом; другие дразнили его, а мне, с моими крепкими кулаками, нравилось защищать его из спортивного щегольства. Как-то летом, поздно вечером, весь в пыли, с разбитым коленом, он неожиданно явился к нам в Выру. Его отец недавно умер, семья была разорена, и, за недостатком денег на железнодорожный билет, бедняжка проделал верст сорок на велосипеде. На другое утро, встав

спозаранку, я сделал все возможное, чтоб покинуть дом без его ведома. Отчаянно тихо я собрал свои охотничьи принадлежности — сачок, зеленую жестянку на ремне, конвертики и коробочки для поимок — и через окно классной выбрался наружу. Углубившись в чащу, я почувствовал, что спасен, но все продолжал быстро шагать, с дрожью в икрах, со слезами в глазах, и сквозь жгучую призму стыда представлял себе кроткого гостя с его большим бледным носом и траурным галстуком, валандающимся в саду, треплющим от нечего делать пыхтящих от зноя собак — и старающимся как-нибудь оправдать мое жестокое отсутствие.

Кажется, только родители понимали мою безумную, угрюмую страсть. Бывало, мой столь невозмутимый отец вдруг с искаженным лицом врывался ко мне в комнату с веранды, хватал сачок и кидался обратно в сад, чтоб минут десять спустя вернуться с продолжительным стоном на «Аааа» — упустил дивного эль-альбума! Потому ли, что «чистая наука» только томит или смешит интеллигентного обывателя, но, исключив родителей, вспоминаю по отношению к моим бабочкам только непонимание, раздражение и глум. Если даже такой записной любитель природы, как Аксаков, мог в бездарнейшем «Собирании Бабочек» (приложение к студенческим «Воспоминаниям») уснастить свою благонамеренную болтовню всякими нелепицами (не знаю, был ли он более сведущ насчет всяких славянофильских чирков и язей), можно себе представить темноту рядового образованного человека в этом вопросе. До сих пор вспоминаю с беспомощной досадой, как наш сельский врач, милейший доктор Розанов, которому, как человеку ученому, я, доверчивый десятилетний мальчик, оставил на попечение драгоценные синеватые куколки редкой совки (боялся взять их с собой в заграничное путешествие), преспокойно написал мне в Биарриц, что они отлично вылупились, — но на самом

деле их, вероятно, пожрала мышь, ибо по моем возвращении обманщик торжественно преподнес мне каких-то потертых крапивниц, почему-то обложенных ватой, которых крестьянские ребята, верно, наловили ему в его же саду. Мне рано открылось и другое обстоятельство, а именно то, что энтомолог, смиренно занимающийся своим делом, непременно возбуждает что-то странное в своих ближних. Бывало, собираемся на пикник с кузенами, и я, памятуя, что рядом с избранной рощей есть замечательный заповедничек, тихо, никому не мешая, но уже чувствуя, что действую домашним на нервы, заранее несу свои скромные принадлежности в шарабан, отдающий дегтем, или красный автомобиль, отдающий чаем (так пах бензин в 1910 году), и какая-нибудь пожилая родственница или чужая гувернантка с усами говорит: «Vraiment, Volodya[48], оставил бы сетку дома хоть этот раз. Ведь будете играть в каш-каш и казаки-разбойники — при чем тут бабочки? Неужели тебе нравится портить всем удовольствие?» У придорожного знака «*Nach Bodenlaube*»[49] в Бад Киссингене (Бавария), только что я догнал вышедших на прогулку отца и монументального бледнолицего Муромцева, недавнего председателя Первой Думы, как он обратил ко мне свою мраморную голову и важно проговорил: «Смотри, мальчик, только не гоняться за бабочками: это портит ритм прогулки». На тесной от душистых кустов тропинке, спускавшейся из Гаспры (Крым) к морю, ранней весной 1918 года какой-то большевистский часовой, колченогий дурень с серьгой в одном ухе, хотел меня арестовать за то, что, дескать, сигнализирую сачком английским судам. Летом 1929 года, когда я собирал бабочек в Восточных Пиренеях, не было, кажется, случая, чтобы, шагая с сачком через деревушку, я

---

[48] Право, Володя... *(Фр.)*
[49] «К Боденлаубе» *(нем.)*.

оглянулся и не увидел каменеющих по мере моего прохождения поселян, точно я был Содом, а они жены Лота. Еще через десять лет, в Приморских Альпах, я однажды заметил, как за мной извилисто-тихо, по-змеиному, зыблется трава, и, пойдя назад, наступил на жирного полевого жандарма, который полз на животе, уверенный, что я беззаконно ловлю певчих птиц для продажи. Америка выказала, пожалуй, еще больше нездорового интереса по отношению ко мне. Угрюмые фермеры молчаливым жестом указывали мне на надпись «Удить воспрещается»; из проносившихся по шоссе автомобилей доносился издевательский рев; сонные собаки, равнодушные к зловоннейшему бродяге, настораживались и, рыча, шли на меня; малютки надрывно спрашивали: «Что же это такое?» — у своих озадаченных мам; старые опытные туристы хотели знать, не рыболов ли я, собирающий кузнечиков для насадки; журнал «Лайф» звонил, спрашивая, не хочу ли я быть снятым в красках преследующим популярных бабочек, с популярным объяснительным текстом; и однажды, в пустыне, где-то в Новой Мексике, среди высоких юкк в лилейном цвету и натуженных кактусов, за мною шла в продолжение двух-трех миль огромная вороная кобыла.

4

Когда, отряхнув погоню, я сворачивал с рыхлой красной дороги в парк, чтобы добраться через него до полей и леса, оживление и блеск молодого лета были как трепет сочувствия ко мне со стороны единодушной природы. Тут весной, высоко и слабо, между елок вился шелковисто-лазоревый аргиол; едва заметный, темный, на зеленой подкладке, хвостатик посещал цветущую чернику; мчалась через прогалины белая, с оранжевыми кончиками, аврора; теперь же, в июне, тихо порхала, где тень и трава, вдоль троп и у мостиков, черная со ржавчиной эребия, появлявшаяся с таинственным

постоянством только каждый второй год; и тут же грелась, раскрывшись, на листьях молодых осинок, красно-черная, испещренная мелом, евфидриада. Вот сложилась полупрозрачная, в графитных жилках, боярышница, присевшая на расцветший от одного взгляда памяти придорожный репейник, и с него же снялись, стрельнув вверх один за другим, два самца червонной лицены: выше и выше поднимаются они, дерясь, а затем победитель возвращается на свой цветок, где уже боярышницу сменила резвая, рыжая, изумрудно-перламутровая с исподу, аглая. Все это были обыкновенные насекомые, но всякую минуту могло перебить стук сердца появление чего-нибудь давно мечтавшегося, необычайного. Помню, как однажды я заметил на веточке у калитки парка имевшуюся у меня только в купленных экземплярах, драгоценнейшую, темно-коричневую, украшенную тонким, белым зигзагом с изнанки, тэклу. Ее наблюдали в губернии лишь раз до меня, и вообще это была прелестная редкость. Я замер. Ударить по ней мне было не с руки, — она сидела у самого моего правого плеча, и я с бесконечными предосторожностями стал переводить сачок за спиной из одной руки в другую; тэкла между тем ждала с хитреньким выражением крыльев: они были плотно сжаты, и нижние, снабженные усикоподобными хвостиками, терлись друг о дружку дискообразным движением — быть может, производя стрепет, слишком высокий по тону, чтобы человек мог его уловить. Наконец, с размаху, я свистнул по ней рампеткой. Мы все слыхали стон теннисиста, когда, на краю победы промазав легкий мяч, он в ужасной муке вытягивается на цыпочках, откинув голову и приложив ладонь ко лбу. Мы все видали лицо знаменитого гроссмейстера, вдруг подставившего ферзя местному любителю, Борису Исидоровичу Шаху. Но никто не присутствовал при том, как я вытряхивал веточку из сетки и глядел на дырку в кисее.

5

Утреннюю неудачу иногда возмещала ловля в сумерки или ночью. На крайней дорожке парка лиловизна сирени, перед которой я стоял в ожидании бражников, переходила в рыхлую пепельность по мере медленного угасания дня, и молоком разливался туман по полям, и молодая луна цвета Ю висела в акварельном небе цвета В. Во многих садах этак стаивал я впоследствии — в Афинах, Антибах, Атланте, Лос-Анджелесе, — но никогда, никогда не изнывал я от таких колдовских чувств, как тогда, перед сереющей сиренью. И вот начиналось: ровное гудение переходило от цветка к цветку, и мерцающим призраком повисал розовооливковый сфинкс, как колибри, перед венчиком, который он с воздуха пытал длинным хоботком. Его красавица гусеница, миниатюрная кобра с очковыми пятнами на передних сегментах, которые она умела забавно раздувать, водилась в августе в сырых местах, на высоких розовых цветах царского чая (эпилобия). Так всякое время дня и года отличалось другим очарованием. В угрюмые ночи, поздней осенью, под ледяным дождем, я ловил ночниц на приманку, вымазав стволы в саду душистой смесью патоки, пива и рома: среди мокрого черного мрака мой фонарь театрально освещал липко-блестящие трещины в дубовой коре, где, по три-четыре на каждый ствол, сказочно прекрасные катокалы впитывали пьяную сладость коры, нервно подняв, как дневные бабочки, крупные полураскрытые крылья и показывая невероятный, с черной перевязью и белой оборкой, ярко-малиновый атлас задних из-под лишаеватых передних. «Катокала адультера!» — восторженно орал я по направлению освещенного окна и спотыкаясь бежал в дом показывать отцу улов.

6

Парк, отделявший усадьбу от полей и лесов, был дик и дремуч в приречной своей части. Туда захаживали лоси, что менее сердило нашего сторожа Ивана, степенного, широкоплечего старика с окладистой бородой, чем беззаконное внедрение случайных дачников. Были и прямые тропинки, и вьющиеся, и все это переплеталось, как в лабиринте. Еще в первые годы изгнания моя мать и я могли без труда обойти весь парк, и старую и новую его часть, по памяти, но теперь замечаю, что Мнемозина начинает плутать и растерянно останавливается в тумане, где там и сям, как на старинных картах, виднеются дымчатые, таинственные пробелы: терра инкогнита.

В некошеных полях за парком воздух переливался бабочками среди чудного обилья ромашек, скабиоз, колокольчиков, — все это скользит у меня сейчас цветным маревом перед глазами, как те пролетающие мимо широких окон вагона-ресторана, бесконечно обольстительные луга, которых никогда не обследовать пленному пассажиру. А за полями поднимался, как темная стена, лес. Часами блуждая по трущобе, я любил выискивать мелких пядениц, принадлежащих к роду евпитеций: эти нежные ночные существа, размером с ноготок, днем плотно прикладываются к древесной коре, распластав бледные крыльца и приподняв крохотное брюшко. Видов их описано огромное количество, и если природа подтушевала этих бабочек под сероватые поверхности (точно обособив, впрочем, узорную ливрею каждого вида), зато их гусенички, живущие на низких растениях, окрашены в яркие тона цветочных лепестков. Медленно кружась в солнечной зелени, осматривая со всех сторон ствол за стволом, — о, как я мечтал в те годы открыть новый вид евпитеции! Мое пестрое воображение, как бы заискивая передо мной и потворствуя ребенку (а на самом деле, где-то за сце-

ной, в заговорщичьей тиши, тщательно готовя распределение событий моего далекого будущего), преподносило мне призрачные выписки мелким шрифтом: «Единственный известный экземпляр Eupithecia petropolitanata был взят русским школьником (или "молодым собирателем..." или еще лучше "автором...") в Царскосельском уезде Петербургской губернии, в 1912 г... 1913 г... 1914 г...».

А затем наступило одно беспокойное июньское утро, когда я почувствовал потребность хорошенько исследовать обширную болотистую местность, простиравшуюся за Оредежью. Пройдя пять-шесть верст вдоль реки, я наконец перешел ее по узкому упруго-дощатому мостику, откуда видать было избенки по ближнему песчаному скату, черемуху, желтые бревна на зеленом бережку и красочные пятна одежд, скинутых деревенскими девчонками, которые, блестя и белеясь в мелкой воде, кричали, окунались, плескались, столь же мало заботясь о прохожем, как если бы он был моим нынешним бесплотным послом.

На противоположном низком берегу, где начиналась арктика, густое сборище мелких бабочек, состоявшее главным образом из самцов голубянок, пьянствовало на черной грязи, жирно растоптанной и унавоженной коровами, и весь лазоревый рой поднялся на воздух из-под моих ног, и, померцав, снова опустился по моем прохождении.

Продравшись сквозь растрепанный, низкорослый сосняк, я достиг моего мохового, седого и рыжеватого, рая. Не успел слух уловить характерный зуд двукрылых, кочковое чмоканье, приглушенный кряк дупеля, как я был уже окружен теми полярными бабочками, которых знал только по ученым описаниям, ибо всякие шметтерлингсбухи с картинками для среднеевропейских простаков, если вообще упоминали эти северные редкости, не считали нужным их иллюстрировать, — «потому что рядовой любитель вряд ли когда-либо на них набредет» — фраза, которая меня бесит и в пошлых

ботанических атласах в применении к редким растениям. Теперь же я видел их не только воочию, не только вживе, а в естественном гармоническом взаимоотношении с их родимой средой. Мне кажется, что это острое и чем-то приятно волнующее ощущение экологического единства, столь хорошо знакомое современным натуралистам, есть новое или, по крайней мере, по-новому осознанное чувство — и что только тут, по этой линии, парадоксально намечается возможность связать в синтез идею личности и идею общности.

Над кустиками голубики, как-то через зрение вяжущей рот матовостью своих дремных ягод; над карим блеском до боли холодных мочажек, куда вдруг погружалась нога; над мхом и валежником; над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи, ночными фиалками, темно-коричневая с лиловизной болория скользила низким полетом, проносилась гонобоблевая желтянка, отороченная черным и розовым, порхали между корявыми сосенками великолепные смуглые сатириды-энеисы. Едва замечая уколы комаров, которые как паюсной икрой вдруг покрывали голую по локоть руку, я становился на одно колено, чтобы с мычанием сладчайшего удовлетворения сжать двумя пальцами сквозь кисею сачка трепетную грудку синей, с серебряными точками с исподу, диковинки и любовно высвободить сверкающего маленького мертвеца из складок сетки, — даже на нее садились обезумевшие от моей близости комары. Мои пальцы пахли бабочками — ванилью, лимоном, мускусом, — ноги промокли до пахов, губы запеклись, колотилось сердце, но я все шел да шел, держа наготове сачок. Наконец я добрался до конца болота. Подъем за ним весь пламенел местными цветами — лупином, аквилией, пенстемоном; лилия-марипоза сияла под пондерозовой сосной; вдали и в вышине, над границей древесной растительности, округлые тени летних облаков бежали по тускло-зеленым горным лу-

гам, а за ними вздымался скалисто-серый, в пятнах снега Longs Peak[50].

Далеко я забрел, — однако былое у меня все под боком, и частица грядущего тоже со мной. В цветущих зарослях аризонских каньонов, высоко на рудоносных склонах Сан-Мигуэльских гор, на озерах Тетонского урочища и во многих других суровых и прекрасных местностях, где все тропы и яруги мне знакомы, каждое лето летают, и будут летать мною открытые, мною описанные виды и подвиды. Именем моим названа — нет, не река, а бабочка в Аляске, другая в Бразилии, третья в Ютахе, где я взял ее высоко в горах, на окне лыжной гостиницы, — та Eupithecia nabokovi MeDunnough, которая таинственно завершает тематическую серию, начавшуюся в петербургском лесу. Признаюсь, я не верю в мимолетность времени — легкого, плавного, персидского времени! Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой. Споткнется или нет дорогой посетитель, это его дело. И высшее для меня наслаждение — вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства — это наудачу выбранный пейзаж, все равно в какой полосе, тундровой или полынной, или даже среди остатков какого-нибудь старого сосняка у железной дороги между мертвыми в этом контексте Олбани и Скенектеди (там у меня летает один из любимейших моих крестников, мой голубой samuelis), — словом, любой уголок земли, где я могу быть в обществе бабочек и кормовых их растений. Вот это — блаженство, и за блаженством этим есть нечто, не совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется, чтобы заполнить ее, все, что я люблю в мире. Это вроде мгновенного трепета умиления и благодарности,

[50] Горная вершина в Колорадо.

обращенной, как говорится в американских официальных рекомендациях, to whom it may concern[51] — не знаю, к кому и к чему, — гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного счастливца.

Глава седьмая

1

В железнодорожном агентстве на Невском была выставлена двухаршинная модель коричневого спального вагона: международные составы того времени красились под дубовую обшивку, и эта дивная, тяжелая с виду вещь с медной надписью над окнами далеко превосходила в подробном правдоподобии все мои, хорошие, но явно жестяные и обобщенные заводные поезда. Мать пробовала ее купить; увы, бельгиец-служащий был неумолим. Во время утренней прогулки с гувернанткой или воспитателем я всегда останавливался и молился на нее. Иметь в таком портативном виде, держать в руках так запросто вагон, который почти каждую осень нас уносил за границу, почти равнялось тому, чтобы быть и машинистом, и пассажиром, и цветными огнями, и пролетающей станцией с неподвижными фигурами, и отшлифованными до шелковистости рельсами, и туннелем в горах. Снаружи сквозь витрину модель была доступнее влюбленному взгляду, чем изнутри магазина, где мешали какие-то плакаты... Можно было разглядеть в проймах ее окон голубую обивку диванчиков, красноватую шлифовку и тисненую кожу внутренних стенок, вделанные в них зеркала, тюльпанообразные лампочки... Широкие окна чередовались

[51] К тому, кого это может касаться *(англ.).* Англо-американская формула, которой традиционно начинаются официальные рекомендации.

с более узкими, то одиночными, то парными. В некоторых отделениях уже были сделаны на ночь постели.

Тогдашний величественный Норд-Экспресс (после Первой мировой войны он уже был не тот), состоявший исключительно из таких международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж; я сказал бы, прямо в Париж, если бы не нужно было — о, не пересаживаться, а быть переводимым — в совершенно такой же коричневый состав на русско-немецкой границе (Вержболово–Эйдкунен), где бокастую русскую колею заменял узкий европейский путь, а березовые дрова — уголь.

В памяти я могу распутать, по крайней мере, пять таких путешествий в Париж, с Ривьерой или Биаррицем в конце. Выбираю относящееся к 1909 году. Мне кажется, что сестры — шестилетняя Ольга и трехлетняя Елена — остались в Петербурге под надзором нянь и теток. (По словам Елены, я не прав: они тоже участвовали в поездке.) Отец в дорожной кепке и замшевых перчатках сидит с книгой в купе, которое он делит с Максом, тогдашним нашим гувернером. Брат Сергей и я отделены от них проходной туалетной каморкой. Следующее купе, смежное с нашим, занимает мать со своей пожилой горничной Наташей и расстроенной таксой. Нечетный Осип, отцовский камердинер (лет через десять педантично расстрелянный большевиками за то, что угнал к себе наши велосипеды, а не передал их народу), делит четвертое купе с посторонним — французским актером Фер播оди.

В апреле того года Пири дошел до Северного полюса. В мае пел в Париже Шаляпин. В июне, озабоченный слухами о новых выводках цеппелинов, американский военный министр объявил, что Соединенные Штаты намерены создать воздушный флот. В июле Блерио на своем монопланчике перелетел из Кале в Дувр (сделав лишний крюк — заблудился). Теперь был август. Ели и болота северо-западной России

прошли своим чередом и на другой день, при некотором увеличении скорости, сменились немецкими соснами и вереском. На подъемном столике мать играет со мной в дурачки. Хотя день еще не начал тускнеть, наши карты, стакан, соли в лежачем флакончике и — на другом оптическом плане — замки чемодана демонстративно отражаются в оконном стекле. Через поля и леса, и в неожиданных оврагах, и посреди убегающих домишек, призрачные, частично представленные картежники играют на никелевые и стеклянные ставки, ровно скользящие по ландшафту. Любопытно, что сейчас, в 1953 году, в Орегоне, где пишу это, вижу в зеркале отельного номера эти же самые кнопки того же именно, теперь пятидесятилетнего, материнского несессера из свиной кожи с монограммой, который мать брала еще в свадебное путешествие и который через полвека вожу с собой: то, что из прежних вещей уцелели только дорожные, и логично и символично.

«Не будет ли? Ты ведь устал», — говорит мать, а затем задумывается, медленно тасуя карты. Дверь в коридор отворена, и в коридорное окно видны телеграфные проволоки — шесть тонких черных проволок на бледном небе, — которые поднимаются все выше, с трогательным упорством, вот-вот готовы достигнуть верхнего края оконницы, но всякий раз их сбивает одним махом злостный столб, и приходится им опять подниматься с самого низа.

Когда, на таких поездках, Норд-Экспрессу случалось замедлить ход, чтобы величаво влачиться через большой немецкий город, где он чуть не задевал фронтонов домов, я испытывал двоякое наслаждение, которое тупик конечного вокзала мне доставить не мог. Я видел, как целый город, со своими игрушечными трамваями, зелеными липами на круглых земляных подставках и кирпичными стенами с лупящимися старыми рекламами мебельщиков и перевозчиков, вплывает к нам в купе, поднимается в простеночных зеркалах и до краев наполня-

ет коридорные окна. Это соприкосновение между экспрессом и городом еще давало мне повод вообразить себя вон тем пешеходом и за него пьянеть от вида длинных карих романтических вагонов, с черными промежуточными гармониками и огненными на низком солнце металлическими буквами («Compagnie Internationale...»[52]), неторопливо переходящих через будничную улицу и постепенно заворачивающих, со вспышкой всех окон, за последний ряд домов.

Иногда эта перемойка зрительных впечатлений мстила мне. За длинной чередой качких, узких голубых коридоров, уклоняющихся от ног, нарядные столики в широкооконном вагоне-ресторане, с белыми конусами сложенных салфеток и аквамариновыми бутылками минеральной воды, сначала представлялись прохладным и стойким убежищем, где все прельщало — и пропеллер вентилятора на потолке, и деревянные болванки швейцарского шоколада в лиловых обертках у приборов, и даже запах и зыбь глазчатого бульона в толстогубых чашках; но по мере того, как дело подходило к роковому последнему блюду, все назойливее становилось ощущение, что прозрачный вагон со всем содержимым, включая потных, кренящихся эквилибристов-лакеев (как ужасно напирал один на стол, пропуская сзади другого!), неряшливо и неосторожно вправлен в ландшафт, причем этот ландшафт находится сам в сложном многообразном движении, — дневная луна бойко едет рядом, вровень с тарелкой, плавным веером раскрываются луга вдалеке, ближние же деревья несутся навстречу на невидимых качелях и вдруг совершенно другим аллюром ускакивают, превращаясь в зеленых кенгуру, между тем как параллельная колея сливается с другой, а затем с нашей, и за ней насыпь с мигающей травой томительно поднимается, поднимается, — пока вся эта

---

[52] «Международное Общество...» *(фр.).*

мешанина скоростей не заставляла молодого наблюдателя вернуть только что поглощенный им омлет с горячим вареньем.

Только ночью оправдывалось вполне волшебное названье «Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens»[53]. С моей постели под койкой брата (спал ли он? был ли он там вообще?) я наблюдал в полумраке отделения, как опасливо шли и никуда не доходили предметы, части предметов, тени, части теней. Деревянное что-то потрескивало и скрипело. У двери в уборную покачивалась на крюке одежда или тень одежды, и в такт ей моталась кисть синего двухстворчатого колпака, снизу закрывавшего потолочную лампу, которая бодрствовала за лазурью материи. Эти пошатывания и переборы, эти нерешительные подступы и втягивания было трудно совместить в воображении с диким полетом ночи вовне, которая — я знал — мчалась там стремглав, в длинных искрах.

Я и дома старался, бывало, заманить сон тем, что пускал сознание по привычному кругу, видя себя, скажем, водителем поезда, а тут и вправду мчало меня. Реалия, замыкаясь дремотой, блаженно обтекала сознание по мере того, как я все так хорошо устраивал, — и беззаботные пассажиры (забота была моя, забота меня дурманила) гордились властителем-машинистом, покуривали, обменивались знающими улыбками, ложились, дремали; а поездная прислуга (которую мне, собственно, некуда было деть) после них пировала в вагоне-ресторане; сам же я, в гоночных очках и весь в масле и саже, высовывался из паровозной будки, стараясь высмотреть сквозь ветер рубиновую точку в черной дали. Но затем, уже во сне, я видел совсем-совсем другое — цветной стеклянный шарик, закатившийся под рояль, или игрушечный па-

---

[53] «Международное Общество Спальных Вагонов и Европейских Экспрессов Дальнего Следования» *(фр.).*

ровозик, упавший на бок и все продолжавший работать бодро жужжащими колесами.

Течение моего сна иногда прерывалось тем, что ход поезда замедлялся. Тихо шагали мимо огни; проходя, каждый из них заглядывал в ту же щелку, и световой циркуль медленно мерил мрак купе. Поезд останавливался с протяжным вздохом вестингхаузовских тормозов. Сверху вдруг падало что-нибудь (например, братние очки). Необыкновенно интересно было подползти к изножью койки — в сопровождении вывороченного одеяла, — дабы осторожно отцепить шторку с нижней кнопки и откатить ее вверх до половины (дальше не пускал край верхней койки). За стеклом был сказочный мир, — сказочный потому, что я его подглядывал нечаянно и беззаконно, без малейшей возможности принять в нем участие. Как сателлиты огромной планеты, бледные ночные бабочки вращались вокруг газового фонаря. Разъединенная на части газета ехала, погоняемая толчками ветра, по вылощенной скамье. Где-то в вагоне слышались глухие голоса, уютное покашливанье. Ничего особенно замечательного не было в случайной части безымянной станции, невинно обнажившейся передо мной и стынувшей, как мои ноги, но почему-то я не мог оторваться от нее, покуда она сама не уезжала, — Боже мой, как гладко снимался с места мой волшебный Норд-Экспресс.

На другое утро уже белелась и мчалась мимо мутная Бельгия; кафе-о-ле с отвратительными пенками как-то шло виду в окне, мокрым полям, искалеченным ивам по радиусу канавы, шеренге тополей, перечеркнутых полосой тумана. Поезд приходил в Париж в четыре пополудни, и, даже если мы там только ночевали, я всегда успевал купить что-нибудь, например маленькую медную Эйфелеву башню, грубовато покрытую серебряной краской, — прежде чем сесть в полдень на Сюд-Экспресс, который, по пути в Мадрид, доставлял

нас к десяти вечера в Биарриц, в нескольких километрах от испанской границы.

2

Биарриц в те годы еще сохранял свою тонкую сущность. Пыльные кусты ежевики и плевелистые terrains à vendre[54], полные прелестных геометрид, окаймляли белую дорогу, ведущую к нашей вилле. Карлтон тогда еще только строился, и суждено было пройти тридцати шести годам до того, как генерал Мак-Кроскей займет королевские апартаменты в Отель дю Пале, построенном на месте того дворца, где в шестидесятых годах невероятно изгибчивый медиум Daniel Ноше был пойман, говорят, на том, что босой ступней («ладонью» вызванного духа) гладил императрицу Евгению по доверчивой щеке. На каменном променаде у казино видавшая виды пожилая цветочница с л иловатыми бровями ловко продевала в петлицу какому-нибудь потентату в штатском тугую дулю гвоздики — он скашивал взгляд на ее жеманные пальцы, и слева у него вспухала складка подбородка. Вдоль променада, по задней линии пляжа, глядящего в блеск моря, парусиновые стулья заняты были родителями детей, играющих впереди на песке. Делегату-читателю нетрудно будет высмотреть среди них и меня: стою на голых коленях и стараюсь при помощи увеличительного стекла поджечь найденную в песке гребенку. Щегольские белые штаны мужчин показались бы сегодня комически севшимися в стирке: дамы же в летний сезон того года носили бланжевые или гриперлевые легкие манто с шелковыми отворотами, широкополые шляпы с большими тульями, густые вышитые белые вуали, — и на всем были кружевные оборки — на блузках, рукавах, парасолях. От морского ветра губы становились солеными: пляж трепетал как цветник, и безумно быстро через

---

[54] Участки для продажи *(фр.)*.

него проносилась залетная бабочка, оранжевая с черной каймой. Проходили продавцы разной соблазнительной дряни — орешков чуть слаще моря, витых, золотых леденцов, засахаренных фиалок, нежно-зеленого мороженого и громадных ломких, вогнутых вафель, содержавшихся в красном жестяном бочонке: старый вафельщик с этой тяжелой штукой на согнутой спине быстро шагал по глубокому мучнистому песку, а когда его подзывали, он, рванув ее за ремень, сваливал с плеча на песок и ставил стойком свою красную посудину, затем стирал пот с лица и, получив один су, пальцем приводил в трескучее движение стрелку лотерейного счастья, вращающуюся по циферблату на крышке бочонка: фортуне полагалось определять размер порции, и чем больше выходил кусок вафли, тем мне жальче бывало торговца.

Ритуал купанья происходил в другой части пляжа. Профессиональные беньеры, дюжие баски в черных купальных костюмах, помогали дамам и детям преодолевать страх и прибой. Беньер ставил клиента спиной к накатывающей волне и держал его за ручку, пока вращающаяся громада, зеленея и пенясь, бурно обрушивалась сзади, одним мощным ударом либо сбив клиента с ног, либо вознеся его к мокрому, разбитому солнцу, вместе с тюленем-спасителем. После нескольких таких схваток со стихией глянцевитый беньер вел тебя — отдувающегося, влажно сопящего, дрожащего от холода — на укатанную отливами полосу песка, где незабвенная босоногая старуха с седой щетиной на подбородке, мифическая мать всех этих океанских банщиков, быстро снимала с веревки и накидывала на тебя ворсистый плащ с капюшоном. В пахнущей сосной купальной кабинке перенимал тебя другой прислужник, горбун с лучистыми морщинками; он помогал выйти из набухшего водой, склизкого, отяжелевшего от прилипшего песка костюма и приносил таз с упоительно горячей водой для омовения ног. От

него я узнал, и навеки сохранил в стеклянной ячейке памяти, что бабочка на языке басков «мизериколетея».

3

Как-то, играя на пляже, я оказался действующим лопаткой рядом с французской девочкой Колетт. Ей должно было исполниться десять в ноябре, мне исполнилось десять в апреле. Она важно обратила мое внимание на зазубренный осколок фиолетовой раковинки, оцарапавшей ее узкую, длиннопалую ступню. «Je suis Parisienne, — объявила она, — et vous — are you English?»[55] В ее светло-зеленоватых глазах располагались по кругу зрачка рыжие крапинки, словно переправляющаяся вплавь часть веснушек, которыми было усыпано ее несколько эльфовое, изящное, курносенькое лицо. Оттого что она носила по тогдашней английской моде синюю фуфайку и синие узкие вязаные штаны, закатанные выше колен, я еще накануне принял ее за мальчика, а теперь, слушая ее порывистый щебет, с удивлением видел браслетку на худенькой кисти, шелковистые спирали коричневых локонов, свисавших из-под ее матросской шапочки.

Двумя годами раньше, на этом самом пляже, я был горячо увлечен другой своей однолеткой — прелестной, абрикосово-загорелой, с родинкой под сердцем, невероятно капризной Зиной, дочкой сербского врача; а еще раньше, в Болье, когда мне было лет пять, что ли, я был влюблен в румынскую темноглазую девочку, со странной фамилией Гика. Познакомившись же с Колетт, я понял, что вот это — настоящее. По сравнению с другими детьми, с которыми я игрывал на пляже в Биаррице, в ней было какое-то трогательное волшебство; я понимал, между прочим, что она менее счастлива, чем я, менее любима: синяк на ее тонко заштрихованном пушком запястье давал повод к ужасным догадкам.

[55] Я из Парижа, а вы — вы англичанин? *(Фр. и англ.)*

Как-то она сказала по поводу упущенного краба: «Он так же больно щиплется, как моя мама». Я придумывал разные героические способы спасти ее от ее родителей — господина с нафабренными усами и дамы с овальным, «сделанным», словно эмалированным, лицом; моя мать спросила про них какого-то знакомого, и тот ответил, пожав плечом: «Ce sont des bourgeois de Paris»[56]. Я по-своему объяснил себе эту пренебрежительную оценку, зная, что они приехали из Парижа в Биарриц на своем сине-желтом лимузине (что не так уж часто делалось в 1909 году), а девочку с фокстерьером и английской гувернанткой послали в скучном «сидячем» вагоне обыкновенного rapide[57]. Фокстерьер был экзальтированной сучкой с бубенчиком на ошейнике и виляющим задом. Из чистой жизнерадостности эта собачка, бывало, лакала морскую воду, набранную Колетт в синее ведерко: вижу яркий рисунок на нем — парус, закат и маяк, — но не могу припомнить имя собачки, и это мне так досадно.

За два месяца пребывания в Биаррице моя страсть к этой девочке едва ли не превзошла увлечения бабочками. Я видел ее только на пляже, но мечталось мне о ней беспрестанно. Если она являлась заплаканной, то во мне вскипало беспомощное страдание. Я не мог перебить комаров, искусавших ее тоненькую шею, но зато удачно отколотил рыжего мальчика, однажды обидевшего ее. Она мне совала горсточками теплые от ее ладони леденцы. Как-то мы оба наклонились над морской звездой, витые концы ее локонов защекотали мне ухо, и вдруг она поцеловала меня в щеку. От волнения я мог только пробормотать: «You little monkey»[58].

У меня была золотая монета, луидор, и я не сомневался, что этого хватит на побег. Куда же я собирался Колетт

---

[56] Они парижские буржуа *(фр.)*.

[57] Скорый поезд *(фр.)*.

[58] Ах ты, обезьянка *(англ.)*.

увезти? В Испанию? В Америку? В горы над По? «Là-bas, là-bas, dans la montagne»[59], как пела Кармен в недавно слышанной опере. Помню странную, совершенно взрослую, прозрачно-бессонную ночь: я лежал в постели, прислушивался к повторному буханью океана и составлял план бегства. Океан приподнимался, слепо шарил в темноте и тяжело падал ничком.

О самом побеге мне почти нечего рассказать. В памяти только отдельные проблески: Колетт, с подветренной стороны хлопающей палатки, послушно надевает парусиновые туфли, пока я запихиваю в коричневый бумажный мешок складную рампетку для ловли андалузских бабочек. Убегая от погони, мы сунулись в кромешную темноту маленького кинематографа около казино, — что, разумеется, было совершенно незаконно. Там мы сидели, нежно соединив руки поверх фокстерьера, изредка позвякивавшего бубенчиком у Колетт на коленях, и смотрели судорожный, мигающий черным дождичком по белизне, но чрезвычайно увлекательный фильм — бой быков в Сан-Себастьяне. Последний проблеск: гувернер уводит меня вдоль променада: его длинные ноги шагают с грозной целеустремленностью; мой девятилетний брат, которого он ведет другой рукою, то и дело забегает вперед и, подобный совенку в своих больших очках, вглядывается с ужасом и любопытством в невозмутимого преступника.

Среди безделушек, накупленных перед отъездом из Биаррица, я любил больше всего не бычка из черного камня, с золочеными рогами, и не ассортимент гулких раковин, а довольно символичный, как теперь выясняется, предметик — вырезную пенковую ручку, с хрусталиком, вставленным в микроскопическое оконце на противоположном от пера конце. Если один глаз зажмурить, а другой приложить

[59] «Туда, туда, скорее — в горы» *(фр.)*.

к хрусталику, да так, чтобы не мешал лучистый перелив собственных ресниц, то можно было увидеть в это волшебное отверстие цветную фотографию залива и скалы, увенчанной маяком. И вот тут-то, при этом сладчайшем содрогании Мнемозины, случается чудо: я снова пытаюсь вспомнить кличку фокстерьера, — и что же, заклинание действует! С дальнего того побережья, с гладко отсвечивающих вечерних песков прошлого, где каждый вдавленный пяткой Пятницы след заполняется водой и закатом, доносится, летит, отзываясь в звонком воздухе: Флосс, Флосс, Флосс!

По дороге в Россию мы остановились на один день в Париже, куда уже успела вернуться Колетт. Там в рыжем, уже надевшем перчатки, парке, под холодной голубизной неба, верно по сговору между ее гувернанткой и нашим Максом, я видел Колетт в последний раз. Она явилась с обручем, и все в ней было изящно и ловко, в согласии с осенней парижской tenue-de-ville-pour-fillettes[60]. Она взяла из рук гувернантки и передала моему довольному брату прощальный подарок — коробку драже, облитого крашеным сахаром миндаля, — который, конечно, предназначался мне одному; и тотчас же, едва взглянув на меня, побежала прочь, палочкой подгоняя по гравию свой сверкающий обруч сквозь пестрые пятна солнца, вокруг бассейна, набитого листьями, упавшими с каштанов и кленов. Эти листья смешиваются у меня в памяти с кожей ее башмаков и перчаток, и была, помнится, какая-то подробность в ней — ленточка, что ли, на ее шотландской шапочке, или узор на чулках, — похожая на радужные спирали внутри тех маленьких стеклянных шаров, коими иностранные дети играют в агатики. И вот теперь я стою и держу этот обрывок самоцветности, не совсем зная, куда его приложить, а между тем она обегает меня все шибче,

---

[60] Городской наряд для девочек (*фр.*).

катя свой волшебный обруч, и наконец растворяется в тонких тенях, падающих на парковый гравий от переплета проволочных дужек, которыми огорожены астры и газон.

Глава восьмая

1

Сейчас тут будут показывать волшебный фонарь, но сперва позвольте сделать небольшое вступление.

Я родился 10 апреля 1899 года по старому стилю в Петербурге; брат мой Сергей родился там же, 28 февраля следующего года. При переходе нашем в отрочество англичанок и француженок постепенно стали вытеснять отечественные воспитатели и репетиторы, причем, нанимая их, отец как будто следовал остроумному плану выбирать каждый раз представителя другого сословия или племени.

Доисторическим элементом в этом списке был милейший Василий Мартынович, сельский учитель, приходивший знакомить нас с русской грамотой летом 1905 года. Он помогает мне связать всю серию, ибо мое последнее воспоминание о нем относится к пасхальным каникулам 1915 года, когда брат и я приехали заниматься лыжным спортом в оснеженную нашу Выру с отцом и с неким Волгиным, последним и худшим нашим гувернером. Добрый Василий Мартынович пригласил нас «закусить»; закуска оказалась настоящим пиршеством, им самим приготовленным, вплоть до великолепного, желтоватого сливочного мороженого, для производства которого у него был особый снаряд. Ярко возникают у меня в памяти лепные морщины его раскрасневшегося лба и прекрасно подделанное выражение удовольствия на лице у моего отца при появлении мясного блюда — жареного в сметане зайца, — которого он не терпел. Комната Василия Мартыновича в каменном здании образцовой школы, выстроенной отцом, была жарко натоплена. Мои

новые лыжные сапоги оказывались по мере оттаивания не столь непромокаемыми, как предполагалось, и чувство сырости, сжимавшей щиколотки, неприятно совмещалось с теплом шерстяной рубашки. Глазами, еще слезившимися от ослепительного снега, я старался разобрать висевший на стене так называемый «типографический» портрет Льва Толстого, т. е. портрет, составленный из печатного текста, в данном случае «Хозяина и Работника», целиком пошедшего на изображение автора, причем получилось разительное сходство с самим Василием Мартыновичем. Мы уже приступили к злосчастному зайцу, как распахнулась дверь и запыхавшийся, заиндевелый, закутанный в бабий оренбургский платок батовский слуга Христофор внес боком, с глупой улыбкой, большую корзину с торчащими бутылками и всякой снедью, которую бабушка, зимовавшая в своем Батове, по бестактности сочла нужным послать нам на тот случай, если бы Василий Мартынович нас недокормил. Раньше, чем хозяин мог успеть обидеться, отец велел лакею ехать обратно с нераспакованной корзиной и краткой запиской по-французски, удивившей, вероятно, бабушку, как удивляли ее все поступки сына. В кружевных митенках, пышном шелковом пеньюаре, напудренная, с округленной под мушку черной родинкой на розовой щеке, она казалась стилизованной фигурой в небольшом историческом музее, и таким же экспонатом казалась ее голубая кушетка, на которой она лежала целый день, обмахиваясь веером из слоновой кости, поглощая круглые леденцы-бульдегомы и все сетуя о том, что некие темные силы, опутав любимейшего из ее сыновей, отвлекли его от блестящей чиновной карьеры. Особенно недоумевала она, как это мой отец, столь ценивший радости, доступные только при большом состоянии, может богатством рисковать, сделавшись либералом, т. е. поборником революции, которая (как она совершенно правильно предугадала) должна в конце концов привести его к нищете.

2

Василий Мартынович был сыном плотника. Следующая картинка в моем волшебном фонаре изображает молодого человека, которого назову А., сына дьякона. На прогулках с братом и со мной, в холодноватое лето 1907 года, он носил черный плащ с серебряной пряжкой у шеи. В лесных дебрях, на глухой тропе под тем деревом, где когда-то повесился таинственный бродяга, А. нас забавлял довольно кощунственным представлением. Изображая нечто демоническое, хлопая черными, вампировыми крыльями, он медленно кружился вокруг старой угрюмой осины, прямой участницы драмы. Как-то сырым утром, во время этой пляски плаща, он ненароком смахнул с собственного носа очки, и, помогая их искать, я нашел у подножья дерева самца и самку весьма редкого в наших краях амурского бражника, — чету только что вылупившихся, восхитительно бархатистых, лиловато-серых существ, мирно висевших in copula с травяного стебля, за который они уцепились веншилевыми лапками. Осенью того же года А. поехал с нами в Биарриц, и там же внезапно покинул нас, оставив на подушке вместе с прощальной запиской безопасную бритву «жиллет» раннего типа, большую новинку, которую мы ему подарили на именины. Со мною редко бывает, чтобы я не знал, какое воспоминание мое собственное, а какое только пропущено через меня и получено из вторых рук; тут я колеблюсь: многими годами позже моя мать смеясь рассказывала о пламенной любви, которую она нечаянно зажгла. Как будто припоминаю полуотворенную дверь в гостиную и там, посредине зеленого ковра, нашего А. на коленях, чуть ли не ломающего руки перед моей оцепеневшей от удивления матерью; однако то обстоятельство, что я вижу сквозь жестикуляцию бедняги взмах его романтического плаща, наводит

меня на мысль, не пересадил ли я лесной танец в солнечную комнату нашей биаррицской квартиры, под окнами которой, в отделенном канатом углу площади, местный воздухоплаватель Sigismond Lejoyeux занимался надуванием огромного желтого шара.

Следующим нашим гувернером — зимой 1907 года — был украинец, симпатичный человек с темными усами и светлой улыбкой. Он тоже умел показывать штуки — например, чудный фокус с исчезновением монеты. Монета, положенная на лист бумаги, накрывается стаканом и мгновенно исчезает. Возьмите обыкновенный стакан. Аккуратно заклейте отверстие кружком клетчатой или линованной бумаги, вырезанной по его периферии. На такую же бумагу посреди стола положите двугривенный. Быстрым движением накройте монету приготовленным стаканом. При этом смотрите, чтобы клетки или полоски на бумажном листе и на стакане совпали. Иначе не будет иллюзии исчезновения. Совпадение узоров есть одно из чудес природы. Чудеса природы рано занимали меня. В один из его выходных дней с бедным фокусником случился на улице сердечный припадок, и, найдя его лежащим на тротуаре, неразборчивая полиция посадила его в холодную с десятком пьяниц.

Следующая картинка кажется вставленной вверх ногами. На ней виден третий гувернер, стоящий на голове. Это был могучий латыш, который умел ходить на руках, поднимал высоко на воздух много мебели, играл огромными черными гирями и мог в одну секунду наполнить обыкновенную комнату запахом целой роты солдат. Ему иногда приходилось наказывать меня за ту или другую шалость (помню, например, как однажды, когда он спускался по лестнице, я с верхней площадки ловко уронил каменный шарик прямо на его привлекательную, необыкновенно твердую на вид и на звук голову); выбирая наказание, он пользовался не совсем обычным

педагогическим приемом: весело предлагал, что мы оба натянем боевые перчатки и попрактикуемся в боксе, после чего он ужасными, обжигающими и потрясающими ударами в лицо, похохатывая, парировал мой детский натиск и причинял мне невозможную боль. Хотя, в общем, я предпочитал эти неравные бои системе нашей бедной мадемуазель, для которой до судороги в кисти приходилось раз двести подряд переписывать штрафную фразу, вроде «Qui aime bien, châtie bien»[61]; я не очень горевал, когда остроумный атлет отбыл после недолгого, но бурного пребывания.

Затем был поляк. Он был студент медик, из родовитой семьи, щеголь и красавец собой, с влажными карими глазами и густыми гладкими волосами, — несколько похожий на знаменитого в те годы комика Макса Линдера, в честь которого я тут и назову его. Макс продержался с 1908-го по 1910 год. Помню, какое восхищение он вызвал во мне зимним утром в Петербурге, когда внезапное площадное волнение перебило течение нашей прогулки: казаки с глупыми и свирепыми лицами, размахивая чем-то, вероятно нагайками, напирали на толпу каких-то людей, сыпались шапки, чернелась на снегу галоша, и была минута, когда казалось, один из конных дураков направляется на нас. Вдруг с ребяческим наслаждением я заметил, что Макс наполовину вытащил из кармана револьвер, но всадник повернул в переулок. Менее интересным был другой перерыв в одной из наших прогулок, когда он нас повел знакомить со своим братом, изможденным ксендзом, чьи тонкие руки рассеянно витали над нашими православными вихрами, пока он с Максом обсуждал по-польски не то политические, не то семейные дела. Макс носил шелковые сиреневые носки и, кажется, был атеистом. Летом в Выре он состязался с моим отцом

---

[61] Кто крепко любит, тот строго карает *(фр.)*.

в стрельбе, решетя пулями ржавую вывеску «Охота воспрещается», прибитую прадедом Рукавишниковым к стволу вековой ели. Предприимчивый, ловкий и крепкий Макс участвовал во всех наших играх, и потому мы удивлялись, когда в середине лета 1909 года он что-то стал ссылаться на мигрень и общую lassitude[62], отказываясь кидать со мною футбольный мяч или идти купаться на реку. Гораздо позже я узнал, что летом у него завязался роман с замужней дамой, жившей за несколько верст от нас; он вдруг оказался страстным собачником: то и дело в течение дня улучал минуту, чтобы посетить псарню, где кормил и улещивал сторожевых догов. Их спускали с цепи при наступлении ночи, и ему приходилось встречаться с ними под покровом темноты, когда он пробирался из дома в жасминовую и спирейную заросль, где его земляк, камердинер моего отца, припрятывал для него «дорожный» велосипед «Дукс» со всеми аксессуарами — карбидом для фонаря, звонками двух сортов, добавочным тормозом, насосом, треугольным кожаным футляром с инструментами и даже зажимчиками для призрачно-белых Максовых панталон. Обочинами проселочных дорог и горбатыми от поперечных корней лесными тропами отважный и пылкий Макс катил к далекому месту свидания — охотничьему павильону — по славной традиции светских измен. Его встречали на обратном пути студеные туманы трезвого утра и четверка забывчивых псов, а уже около восьми мучительно начинался новый воспитательский день. Полагаю, что Макс не без некоторого облегчения покинул место своих еженощных подвигов, чтобы сопутствовать нам в нашей второй поездке в Биарриц. Там он взял двухдневный отпуск, чтобы совершить покаянное путешествие в священный Лурд, куда поехал, впрочем, в обществе смазливой и бойкой молодой

---

[62] Усталость *(фр.)*.

ирландки, состоявшей в гувернантках при моей маленькой пляжной подруге Колетт. Он перешел от нас на службу в одну из петербургских больниц, а позднее был, по слухам, известным врачом в Польше.

На смену католику явился лютеранин, притом еврейского происхождения. Назову его Ленским. Он с нами ездил в Германию в 1910 году, после чего я поступил в Тенишевское училище, а брат — в Первую гимназию, и Ленский оставался помогать нам с уроками до 1913 года. Он родился в бедной семье и охотно вспоминал, как между окончанием гимназии на юге и поступлением в Петербургский университет зарабатывал на жизнь тем, что украшал морскими видами плоские, отшлифованные волнами, булыжники и продавал их как пресс-папье. Приехал он к нам с большим портретом петербургского педагога Гуревича, которого он весьма искусно, по волоску, нарисовал карандашом, но который почему-то отказался портрет приобрести, и портрет остался у нас висеть где-то в коридоре. «Я, конечно, импрессионист», — небрежно замечал Ленский, рассказывая это.

Меня, как начинающего художника, Ленский сразу поразил контрастом между довольно в общем стройным передом фигуры и толстоватой изнанкой. У него было розовое овальное лицо, миниатюрная рыжеватая бородка, точеный нос, ущемленный голым пенсне, светлые и тоже какие-то голые глаза, тонкие малиновые губы и бледно-голубая бритая голова со стыдливо пухлыми складками кожи на затылке. Он не сразу привык ко мне, и с огорчением я вспоминаю, как, вырвав у меня из рук «отвратительную карикатуру», он шагал, удаляясь, через комнаты вырского дома по направлению к веранде (являя мне именно то карпообразное очертание бокастого тела, которое я только что так верно нарисовал) и, бросив мою картинку на стол перед моей матерью, восклицал: «Вот последнее произведение вашего дегенеративного сына!»

Внедрение новых наставников всегда сопровождалось у нас скандалами, но в данном случае мы с братом очень скоро смирились, открыв три основных свойства в Ленском: он был превосходный учитель; он был лишен чувства юмора; и, в тонкое отличие от всех своих предшественников, он нуждался в особой нашей защите. В 1910 году мы как-то с ним шли по аллее в Киссингене, а впереди шли два раввина, жарко разговаривая на жаргоне, — и вдруг Ленский, с какой-то судорожной и жесткой торжественностью, озадачившей нас, проговорил: «Вслушайтесь, дети, они произносят имя вашего отца!» У нас в доме Ленский чувствовал себя в «нравственной безопасности» (как он выражался), только пока один из наших родителей присутствовал за обеденным столом. Но когда они были в отъезде, это чувство безопасности могло быть мгновенно нарушено какой-нибудь выходкой со стороны любой из наших родственниц или случайного гостя. Для теток моих выступления отца против погромов и других мерзостей российской и мировой жизни были прихотью русского дворянина, забывшего своего царя, и я не раз подслушивал их речи насчет происхождения Ленского, происков кагала и попустительства моей матери, и, бывало, я грубил им за это, и, потрясенный собственной грубостью, рыдал в клозете. Отрадная чистота моих чувств, если отчасти и была внушена слепым обожанием, с которым я относился к родителям, зато подтверждается тем, что Ленского я совершенно не любил. Было нечто крайне раздражительное в его горловом голосе, педантичной правильности слога, изысканной аккуратности, манере постоянно подравнивать свои мягкие ногти какой-то особой машиночкой. Он жаловался моей матери, что мы с братом — иностранцы, барчуки, снобы и патологически равнодушны к Гончарову, Григоровичу. Мамину-Сибиряку, которыми нормальные мальчики будто бы зачитываются. Добившись разрешения навязать нашему детскому быту более демократический строй, он в Берлине

меня с братом перевел из «Адлона» в мрачный, буржуазный пансион «Модерн» на унылой Приватштрассе (притоке Потсдамской улицы), а изящные, устланные бобриком, лаково-зеркальные, полные воспоминаний детства, страстно любимые мной Норд-Экспресс и Ориент-Экспресс были заменены гнусно-грязными полами и сигарной вонью укачливых и громких шнельцугов или вялым уютом русских казенных вагонов, с какими-то половыми вместо кондукторов. В заграничных городах, как, впрочем, и в Петербурге, он замирал перед утилитарными витринами, нисколько не занимавшими нас. Собираясь жениться и не имел ничего, кроме жалованья, он с неимоверно тщательным расчетом старался перебороть против него настроенную судьбу, когда планировал свой будущий обиход. Время от времени необдуманные порывы нарушали его бюджет. В этом педанте жил и мечтатель, и авантюрист, и антрепренер, и старомодный наивный идеалист. Заметив на Фридрихштрассе какую-то потаскуху, пожирающую глазами шляпу с пунцовым плерезом в окне модного магазина, он эту шляпу тут же ей купил — и долго не мог отделаться от потрясенной немки. В собственных приобретениях он действовал более осмотрительно. Сергей и я терпеливо выслушивали его подробные мечтания, когда он, бывало, расписывал каждый уголок в комфортабельной, хоть и скромной, квартире, которую он меблировал в уме для жены и себя. Однажды его блуждающая мечта сосредоточилась на дорогой люстре в магазине Александра на Невском, торговавшем безвкуснейшими предметами буржуазной роскоши. Не желая, чтобы приказчик догадался, какой именно товар он обхаживает, Ленский сказал нам, что возьмет нас посмотреть на люстру, только если мы обещаем воздержаться от восклицаний восторга и слишком красноречивых взглядов. Со всевозможными предосторожностями и нарочито восхищаясь какой-то посторонней этажеркой, он подвел нас под ужасающего бронзового ось-

минога с гранатовыми глазами и только тогда мурлычущим вздохом дал нам понять, что это и есть облюбованная им вещь. С такими же предосторожностями, понижая голос, дабы не разбудить враждебного рока, он сказал, что познакомит нас в Берлине, куда выписал ее, со своей невестой. Мы увидели небольшую, изящную барышню в черном, с глазами газели под черной вуалькой, с букетом фиалок, пришпиленным к груди. Это было, помнится, перед аптекой на углу Потсдамер и Приватштрассе, и тихим голосом Ленский просил не сообщать нашим родителям о присутствии Мирры Григорьевны в Берлине, и человечек на механической рекламе в витрине без конца повторял у себя на картонной щеке по розовой дорожке, расчищенной от нарисованного мыла, движение бритья, и с грохотом проносились трамваи, и уже шел снег.

3

Мы теперь подходим вплотную к теме этой главы. Зимой 1911-го или 12-го года Ленскому взбрела в голову дикая фантазия: нанять (у нуждающегося приятеля, Бориса Наумовича) волшебный фонарь («с длиннофокусным конденсатором», повторяет, как попугай, Мнемозина) и раза два в месяц по воскресеньям устраивать у нас на Морской сеансы общеобразовательного характера, обильно уснащенные чтением отборных текстов, перед группой мальчиков и девочек. Он считал, что демонстрация этих картин не только будет иметь воспитательное значение для всей группы, но, в частности, научит брата и меня лучше уживаться с другими детьми. Преследуя эту страшную и невоплотимую мечту, он собрал вокруг нас (двух замерших зайчиков — тут я брату был брат) рекрутов разных разрядов: наших кузенов и кузин; малоинтересных сверстников, с которыми мы встречались на детских балах и светских елках; школьных наших товарищей; детей наших слуг. Обслуживал аппарат таинственный

Борис Наумович, очень грустный на вид человек, которого Ленский звучно звал «коллега». Никогда не забуду первого «сеанса». Послушник, сбежав из горного монастыря, бродит в рясе по кавказским скалам и осыпям. Как это обычно бывает у Лермонтова, в поэме сочетаются невыносимые прозаизмы с прелестнейшими словесными миражами. В ней семьсот с лишним строк, и это обилие стихов было распределено Ленским между всего лишь четырьмя стеклянными картинками (неловким движением я разбил пятую перед началом представления). По соображениям пожарного порядка выбрана была довольно большая комната, в углу которой находились ванна и котел с водой. Как театральная зала она оказалась мала, и стулья пришлось тесно сдвинуть. Слева от меня сидела десятилетняя непоседа с длинными бледно-золотистыми волосами и нежным цветом лица, напоминающим розовый оттенок раковин; она сидела так близко, что я чувствовал верхнюю косточку ее бедра при каждом ее движении — она то теребила медальон, то продевала ладонь между затылком и дымом душистых волос, то со стуком соединяла коленки под шуршащим шелком желтого чехла, просвечивающим сквозь кружево платья, и это возбуждало во мне ощущения, на которые Ленский не рассчитывал. Впрочем, она скоро пересела. Справа от меня находился сын отцовского камердинера, совершенно неподвижный мальчик в матроске; он необыкновенно походил на Наследника и, по необыкновенному совпадению, страдал тем же трагическим недугом, гемофилией, так что по несколько раз в год синяя придворная карета привозила к нашему подъезду знаменитого доктора и подолгу ждала под косым снегом, который все шел да шел, и если зацепиться взглядом за снежинку, спускающуюся мимо окна, можно было разглядеть ее грубоватую, неправильную форму и даже колыхание при тихом полете.

Потух свет. Ленский тоном бытовика-резонера приступил к чтению:

Немного лет тому назад,
там, где, сливался, шумят,
обнявшись, будто две сестры,
струи Арагвы и Куры,
был монастырь.

Монастырь послушно появился на простыне и застыл там, в красочном, но тупом оцепенении (хоть бы один стриж пронесся над ним!) на протяжении двухсот строк, после чего был заменен приблизительной грузинкой, обремененной этнографическим сосудом. Всякий раз как невидимый коллега убирал — без спеха — пластинку из прожектора, картина соскальзывала с экрана очень даже прытко, как если бы общее увеличение влияло не только на изображение гор и грузин, но и на скорость их скольжения при изъятии. Этим ограничивалось волшебство фонаря. Деликатным движением палочки Ленский обращал внимание недоброжелательных зрителей на чрезвычайно вульгарные горы, даже не принадлежавшие системе пленительных лермонтовских высот, которые

...в час утренней зари
курилися как алтари,

и когда молодой монах стал рассказывать другому затворнику постарше о своей борьбе с барсом, кто-то в публике иронически зарычал. Чем дальше трусил голос по мужским рифмам монотонного ямба, тем яснее становилось, что некоторая часть аудитории втихомолку глумится над Ленским и что мне предстоит услышать потом немало насмешливых отзывов по поводу всей затеи. Мне было и совестно, и ужасно жаль героического комментатора — его упорного бубнения, очерка острого профиля и толстого затылка, иногда вторгавшегося в область озаренного полотна, и особенно его нервной палочки, на которую, при неосторожном ее приближении

к экрану, съезжали световые краски, притрагиваясь к ее кончику с холодной игривостью кошачьей лапки. К концу сеанса скука разрослась донельзя; нерасторопный Борис Наумович долго искал последнюю пластинку, смешав ее с «просмотренными», и пока Ленский терпеливо ждал в темноте, некоторые из мальчиков стали довольно святотатственно отбрасывать на пустой светлый экран черные тени поднятых рук, а спустя еще несколько секунд один неприятный озорник (неужели это был я — невзирая на всю чувствительность?) ухитрился показать силуэт ноги, что, конечно, сразу вызвало шумное подражание. Но вот — пластинка нашлась и вспыхнула на полотне, — и неожиданно мне было пять лет, а не двенадцать, ибо случайная комбинация красок мне напомнила, как во время одной из ранних заграничных поездок экспресс, словно скрывшись от горной грозы, углубился в Сен-Готардский туннель, а когда с облегченной переменой шума вышел оттуда:

о, как сквозили в вышине
в зелено-розовом огне,
где радуга задела ель,
скала и на скале газель!

4

За этим представлением последовали другие, еще более ужасные. Меня томили, между прочим, смутные отзвуки некоторых семейных рассказов, относящихся к дедовским временам. В середине восьмидесятых годов Иван Васильевич Рукавишников, не найдя для сыновей школы по своему вкусу, нанял превосходных преподавателей и собрал с десяток мальчиков, которым он предложил несколько лет бесплатного обучения в своем доме на Адмиралтейской набережной. Предприятие не имело большого успеха. Не всегда бывали сговорчивы те знакомые его, чьи сыновья подходили, по его

мнению, в товарищи его собственным, Василью (неврастенику, которого он тиранил) и Владимиру (даровитому отроку, любимцу семьи, которому предстояло в шестнадцать лет умереть от чахотки), а некоторые из тех мальчиков, которых ему удалось набрать (подчас даже платя деньги небогатым родителям), вскоре оказались питомцами неприемлемыми. С безотчетным отвращением я представлял себе Ивана Васильевича упрямо обследующим столичные гимназии и своими странными невеселыми глазами, столь знакомыми мне по фотографиям, выискивающим мальчиков, наиболее привлекательных по наружности, среди первых учеников. По существу рукавишниковские причуды ничем не походили на скромную затею Ленского, но случайная мысленная ассоциация побудила меня воспрепятствовать тому, чтобы Ленский продолжал являться на людях в глупом и навязчивом виде, и, после еще трех представлений («Медный Всадник», «Дон Кихот» и «Африка — Страна Чудес»), мать сдалась на мои мольбы, и, заработав свои сто или двести рублей, товарищ нашего добряка исчез со своим громоздким аппаратом навеки.

Однако я помню не только убожество, аляповатость, желатиновую несъедобность в зрительном плане этих картин на мокром полотне экрана (предполагалось, что влага делает их глаже); я помню и то, как прелестны были самые пластинки, вне всякой мысли о фонаре и экране, — если просто поднимешь двумя пальцами такое драгоценное стеклянное чудо на свет, чтобы в частном порядке, и даже не совсем законно, в таинственной оптической тишине насладиться прозрачной миниатюрой, карманным раем, удивительно ладными мирками, проникнутыми тихим светом чистейших красок. Гораздо позже я вновь открыл ту же отчетливую и молчаливую красоту на круглом сияющем дне волшебной шахты — лабораторного микроскопа. Арарат на стеклянной пластинке

уменьшением своим разжигал фантазию; орган насекомого под микроскопом был увеличен ради холодного изучения. Мне думается, что в гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых: точка искусства.

5

Ленский был человек разносторонний, сведущий, умеющий разъяснить решительно все, что касалось школьных уроков; тем более нас поражали его постоянные университетские неудачи. Причиной их была, вероятно, совершенная его бездарность в области финансовой и государственной, т. е. именно в той области, которую он избрал для изучения. Помню, в какой лихорадке он находился накануне одного из самых важных экзаменов. Я беспокоился не меньше его и, в порыве деятельного сострадания, не мог удержаться от соблазна подслушать у двери, как по его же просьбе мой отец проверяет в виде репетиции к экзамену его знание «Принципов Политической Экономии» Charles Gide. Листая книгу, отец спрашивал, например: в чем заключается разница между банкнотами и бумажными деньгами? — и Ленский как-то ужасно предприимчиво и даже радостно прочищал горло, а затем погружался в полное молчание, как будто его не было. После нескольких таких вопросов прекратилось и это его бойкое покашливание, и паузы нарушались только легким постукиваньем отцовских ногтей по столу, и только раз с отчаянием и надеждой страдалец воскликнул: «Владимир Дмитриевич, я протестую. Этого вопроса в книге нет». Но вопрос в книге был. И наконец, отец закрыл ее почти беззвучно и проговорил: «Голубчик, вы не знаете ничего». — «Разрешите мне быть другого мнения», — ответил Ленский с достоинством. Сидя очень прямо, он выехал на нашем «Бенце»

в университет, оставался там долго, вернулся в извозчичьих санях, весь сгорбленный, среди невероятной снежной бури, и в немом отчаянии поднялся к себе.

В конце своего пребывания у нас он женился и уехал в свадебное путешествие на Кавказ, в лермонтовские места, после чего вернулся к нам на одну зиму. В его отсутствие, летом 1913 года, Monsieur Noyer, коренастый швейцарец с пушистыми усами, читал нам «Cyrano de Bergerac», виртуозно меняя голос сообразно с персонажами. Когда он первый раз поехал с нами верхом, его лошадь споткнулась, и он через ее голову упал в куст, как на старомодной карикатуре. Сервируя в теннисе, он считал нужным стоять на самой линии, широко расставив толстые ноги в смятых парусиновых штанах, затем как-то приседал и ударял по подброшенному мячу со страшной силой, но ничего не получалось — мяч попадал либо в сетку, либо в некошеное поле, за решетчатой оградой, сквозь которую упорным полетом... — но об этих белых бабочках я уже писал.

Весной 1914 года, когда Ленский нас окончательно покинул, к нам поступил тот Волгин, которого я уже упоминал, сын обедневшего симбирского помещика, молодой человек обворожительной наружности, с задушевными интонациями и прекрасными манерами, но с душой пошляка и мерзавца. К этому времени я уже не нуждался в каком-либо надзоре, учебной же помощи он не мог мне оказать никакой, ибо был безнадежный неуч (проиграл мне, помню, великолепный кастет, побившись со мной об заклад, что письмо Татьяны начинается так: «Увидя почерк мой, вы, верно, удивитесь»), и все, что от него я получил (кроме кастета), были рассказы, которыми я сначала заслушивался, о его похождениях с женщинами — рассказы, вскоре сменившиеся неприличными сплетнями о нашей семье: он их добывал у одной моложавой нашей родственницы, на которой впоследствии

женился. При Советах этот бархатный Волгин был комиссаром — и вскоре устроился так, чтобы сбыть жену в Соловки. Не знаю, чем кончилась его карьера.

Но Ленского я не совсем потерял из вида. Еще когда он был с нами, он основал на где-то занятые деньги довольно фантастическое предприятие для скупки и эксплуатации разных необыкновенных патентов. Эти изобретения он не то чтобы выдавал за свои, но усыновлял с такой нежностью, что отцовство его бросалось всем в глаза, хотя было основано на чувствах, а не на фактах. Однажды он с гордостью пригласил нас испробовать на нашем автомобиле «изобретенный» им новый тип мостовой, состоявшей из каких-то переплетенных металлических полосок; мы попробовали — и лопнула шина. В Первую мировую войну он поставил армии пробную партию лошадиного корма в виде плоских серых галет; он всегда носил с собой образчик, небрежно грыз его и предлагал грызть друзьям. От этих галет многие лошади тяжело болели. Затем, в 1918 году, когда мы уже были в Крыму, он нам писал, предлагая щедрую денежную помощь. Не знаю, успел ли бы он ее оказать, ибо какое-то наследство, им полученное, он вложил в увеселительный парк на Черноморском побережье, со скетинг-ринком, музыкой, каскадами, гирляндами красных и зеленых лампочек, но тут накатились большевики и потушили иллюминацию, а Ленский бежал за границу и, в двадцатых годах, по слухам, жил в большой бедности на Ривьере, зарабатывая на жизнь тем, что расписывал морскими видами белые булыжники. Не знаю, что было с ним потом. Несмотря на некоторые свои странности, это был, в сущности, очень чистый, порядочный человек, тяжеловесные «диктанты» которого я до сих пор помню: «Что за ложь, что в театре нет лож! Колокололитейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей».

6

Когда воображаю чередование этих учителей, меня не столько поражают те забавные перебои, которые они вносили в мою молодую жизнь, сколько устойчивость и гармоническая полнота этой жизни. Я с удовлетворением отмечаю высшее достижение Мнемозины: мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям по всей черновой партитуре былого. И мне нравится представить себе, при громком ликующем разрешении собранных звуков, сначала какую-то солнечную пятнистость, а затем, в проясняющемся фокусе, праздничный стол, накрытый в аллее. Там, в самом устье ее, у песчаной площадки вырской усадьбы, пили шоколад в дни летних именин и рождений. На скатерти та же игра светотени, как и на лицах, под движущейся легендарной листвой лип, дубов и кленов, одновременно увеличенных до живописных размеров и уменьшенных до вместимости одного сердца, и управляет всем праздником дух вечного возвращения, который побуждает меня подбираться к этому столу (мы, призраки, так осторожны!) не со стороны дома, откуда сошлись к нему остальные, а извне, из глубины парка, точно мечта, для того чтоб иметь право вернуться, должна подойти босиком, беззвучными шагами блудного сына, изнемогающего от волнения. Сквозь трепетную призму я различаю лица домочадцев и родственников, двигаются беззвучные уста, беззаботно произнося забытые речи. Мреет пар над шоколадом, синим блеском отливают тарталетки с черничным вареньем. Крылатое семя спускается как маленький геликоптер с дерева на скатерть, и через скатерть легла, бирюзовыми жилками внутренней стороны к переливчатому солнцу, голая рука девочки, лениво вытянувшаяся с раскрытой ладонью в ожидании чего-то — быть может, щипцов для орехов. На том месте,

где сидит очередной гувернер, вижу лишь текучий, неясный, переменный образ, пульсирующий вместе с меняющимися тенями листвы. Вглядываюсь еще, и краски находят себе очертания, и очертания приходят в движение: точно по включении волшебного тока, врываются звуки: голоса, говорящие вместе, треск расколотого ореха, полушаг небрежно переданных щипцов. Шумят на вечном вырском ветру старые деревья, громко поют птицы, а из-за реки доносится нестройный и восторженный гам купающейся деревенской молодежи, как дикие звуки растущих оваций.

Глава девятая

1

Мне было одиннадцать лет, когда отец решил, что получаемое мною домашнее образование может с пользой пополняться школой. В январе 1911 года я поступил в третий семестр Тенишевского училища: семестров было всего шестнадцать, так что третий соответствовал первой половине второго класса гимназии.

Учебный год длился с начала сентября до первой трети мая, с обычными праздничными перерывами, во время которых гигантская елка касалась своей нежной звездой высокого, бледно-зелеными облаками расписанного потолка в одной из нижних зал нашего дома или же сваренное вкрутую яйцо опускалось с овальным звуком в дымящуюся фиолетовую хлябь.

Когда камердинер, Иван Первый (затем забранный в солдаты) или Иван Второй (додержавшийся до тех времен, когда я его посылал с романтическими поручениями), будил меня, смуглая мгла еще стояла за окнами, жужжало в ушах, поташнивало, и электрический свет в спальне резал глаза мрачным йодистым блеском. За какие-нибудь полчаса надобно было подготовить скрытый накануне от ре-

петитора урок (о, счастливое время, когда я мог сфотографировать мозгом десять страниц в столько же минут!), выкупаться, одеться, побрекфастать. Таким образом, утра мои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса и фехтованья с удивительно гуттаперчевым французом Лустало. Он продолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксировать и биться на рапирах с моим отцом, и, проглотив чашку какао в столовой на нижнем этаже, я оттуда кидался, уже надевая пальто, через зеленую залу (где мандаринами и бором пахло так долго после Рождества), по направлению к «библиотечной», откуда доносились топот и шарканье. Там я находил отца, высокого, плотно сложенного человека, казавшегося еще крупнее в своем белом, стеганом тренировочном костюме и черной выпуклой решетчатой маске: он необыкновенно мощно фехтовал, передвигаясь то вперед, то назад по наканифоленному линолеуму, и возгласы проворного его противника — «Battez!», «Rompez!»[63] — смешивались с лязгом рапир. Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица, чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток. Глубокие клубные кресла с толстыми сиденьями стояли там и сям вдоль книгами выложенных стен. В одном конце поблескивали штанги выписанного из Англии пунчинг-бола, — эти четыре штанги подпирали крышеобразную лакированную доску, с которой висел большой, грушевидный, туго надутый кожаный мешок для боксовых упражнений; при известной сноровке можно было так по нему бить, чтобы производить пулеметное «ра-та-та-та» об доску, и однажды в 1917 году этот подозрительный звук привлек через сплошное окно ватагу до зубов вооруженных уличных бойцов, тут же удостоверившихся, впрочем, что я не урядник в засаде. Когда, в ноябре этого

[63] Фехтовальные термины.

пулеметного года (которым, по-видимому, кончилась навсегда Россия, как в свое время кончились Афины или Рим), мы покинули Петербург, отцовская библиотека распалась, коечто ушло на папиросную завертку, а некоторые довольно странные остаточки и бездомные тени появлялись, — как на спиритическом сеансе, — за границей. Так, в двадцатых годах, найденыш с нашим экслибрисом подвернулся мне на уличном лотке в Берлине, причем довольно кстати это оказалось «Войной Миров» Уэльса. Прошли еще годы, — и вот держу в руках обнаруженный в Нью-Йоркской публичной библиотеке экземпляр каталога отцовских книг, который был отпечатан еще тогда, когда они стояли плотные и полнокровные на дубовых полках и застенчивая старуха библиотекарша в пенсне работала над картотекой в неприметном углу. Он снова надевал маску, и возобновлялись топ, выпады и стрепет. Я же спешил обратно тем же путем, что пришел, словно репетируя сегодняшнее посещение. После густого тепла вестибюля, где, за тяжелой решеткой, которую одной рукой мог поднять здоровенный сынок швейцара, трещали в камине березовые дрова, наружный мороз ледяной рукой сжимал легкие. Прежде всего я смотрел, который из двух автомобилей, «Бенц» или «Уользлей», подан, чтобы мчать меня в школу. Первый из них состоял под управлением кроткого бледнолицего шофера Волкова; это был мышиного цвета ландолет. (А. Ф. Керенский просил его впоследствии для бегства из Зимнего дворца, но отец объяснил, что машина и слаба и стара и едва ли годится для исторических поездок, — не то что дивный рыдван пращурки, одолженный Людовику для бегства в Варенн.) По сравнению с бесшумной электрической каретой, ему предшествовавшей, очерк этого «Бенца» поражал своей динамичностью, но, в свою очередь, стал казаться старомодным и косно квадратным, как только новый длинный черный английский лимузин рольс-ройсовых кровей стал делить с ним гараж во дворе дома.

Начать день поездкой в новой машине значило начать его хорошо. Пирогов, второй шофер, был довольно независимый толстячок, покинувший царскую службу оттого, что не захотел быть ответственным за какой-то не нравившийся ему мотор. К рыжеватой комплекции пухлого Пирогова очень шла лисья шубка, надетая поверх его вельветиновой формы, и бутылообразные оранжевые краги. Если задержка в уличном движении заставляла этого коротыша неожиданно затормозить — упруго упереться в педали, — его затылок, отделенный от меня стеклом перегородки, наливался кровью, что, впрочем, случалось и тогда, когда, пытаясь ему что-нибудь передать при помощи не очень разговорчивого рупора, я сжимал писклявую, бледно-серой материей и сеткой обтянутую грушу, сообщавшуюся с бледно-серым шнуром, ведущим к нему. Этой драгоценной городской машине он откровенно предпочитал красный, с красными кожаными сиденьями «торпедо-Опель», которым мы пользовались в деревне; на нем он возил нас по Варшавскому шоссе, открыв глушитель, со скоростью семидесяти километров в час, что тогда казалось упоительным, и как гремел ветер, как пахли прибитая дождем пыль и темная зелень полей, — а теперь мой сын, гарвардский студент, небрежно делает столько же в полчаса, запросто катя из Бостона в Альберту, Калифорнию или Мексику. Когда в 1915 году Пирогова призвали, его заменил корявый, кривоногий, черный, с каким-то диким выражением желтых глаз Цыганов, бывший гонщик, участвовавший в международных состязаниях и сломавший себе три ребра в Бельгии. Летом или осенью 1917 года он решил, несмотря на энергичные протесты отца, спасти страстно полюбившийся ему «Уользлей» от возможной конфискации, для чего разобрал его на части, а части попрятал в различные, одному ему известные места, и, вероятно, был бы привлечен моим отцом к суду, если бы не помешали более важные события. Не знаю почему, но на петербургских

торцах снег и гололедица не мешали так езде, как, скажем, в асфальтированном Бостоне сорок лет спустя, — на параллели Неаполя и при гораздо более совершенных машинах. Не помню, чтобы когда-либо погода помешала мне доехать до училища всего в несколько минут. Наш розовый гранитный особняк был № 47 по Большой Морской. За ним следовал дом Огинского (№ 45). Затем шли итальянское посольство (№ 43), немецкое посольство (№ 41) и обширная Мариинская площадь, после которой номера домов продолжали понижаться по направлению к Дворцовой площади. Слева от Мариинской площади, между ней и великолепным, но приедающимся Исаакием, был сквер; там однажды нашли в листве невиннейшей липы ухо террориста, павшего при неряшливой до легкомыслия перепаковке смертоносного свертка в снятой им комнате недалеко от площади. Те же самые деревья (филигранный серебряный узор над горкой, с которой мы громко скатывались, ничком на плоских санках, в детстве) были свидетелями того, как конные жандармы, укрощавшие Первую революцию, сбивали удалыми выстрелами, точно хлопая по воробьям, ребятишек, вскарабкавшихся на ветки.

Повернув на Невский, автомобиль минут пять ехал по нему, и как весело бывало без усилия обгонять самых быстрых и храпливых коней, — какого-нибудь закутанного в шинель гвардейца в легких санях, запряженных парой вороных под синей сеткой. Мы сворачивали влево по улице с прелестным названием Караванная, навсегда связанной у меня с магазином игрушек Пето и с цирком Чинизелли, из круглой кремовой стены которого выпрастывались каменные лошадиные головы. Наконец, за каналом, мы сворачивали на Моховую и там останавливались у ворот училища. Перепрыгнув через подворотню, я бежал по туннельному проходу и пересекал широкий двор к дверям школы.

3[64]

Став одним из лидеров Конституционно-демократической партии, мой отец тем самым презрительно отверг все те чины, которые так обильно шли его предкам. На каком-то банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха — и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира. Училище, в которое он меня определил, было подчеркнуто передовое. Как мне пришлось более подробно объяснить в американском издании этой книги, классовые и религиозные различия в Тенишевском училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки, как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от всех прочих школ мира. Как во всех школах мира (да будет мне позволено подделаться тут под толстовский дидактический говорок), ученики терпели некоторых учителей, а других ненавидели. Как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений; и, как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом; учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью; не отдавал школе ни одной крупицы души, сберегая все свои силы для домашних отрад, — *своих* игр, *своих* увлечений и причуд, *своих* бабочек, *своих* любимых книг, — и в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души. Меня обвиняли в нежелании «приобщиться к среде», в надменном щегольстве французскими и английскими выражениями (которые попадали в мои

[64] В романе нарушена нумерация подглавок: подглавка 2 отсутствует.

русские сочинения только потому, что я валял первое, что приходило на язык), в категорическом отказе пользоваться отвратительно мокрым полотенцем и общим розовым мылом в умывальной, в том, что я брезговал захватанным серым хлебом и чуждым мне чаем, и в том, что при драках я пользовался по-английски наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной. Один из наиболее общественно настроенных школьных наставников, плохо разбиравшийся в иностранных играх, хотя весьма одобрявший их групповосоциальное значение, пристал ко мне однажды с вопросом, почему, играя в футбол, я (страстно ушедший в голкиперство, как иной уходит в суровое подвижничество), все стою где-то «на задворках», а не бегаю с другими «ребятами». Особой причиной раздражения было еще то, что шофер «в ливрее» привозит «барчука» на автомобиле, между тем как большинство хороших тенишевцев пользуется трамваем. Наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам. Помню, в какое бешенство приходил темпераментный В. В. Гиппиус, один из столпов училища, довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом (тайный автор замечательных стихов), оттого что я решительно отказывался участвовать в каких-то кружках, где избиралось «правление» и читались исторические рефераты, а впоследствии происходили даже дискуссии на политические темы. Напряженное положение, создавшееся вследствие моего сопротивления этой скуке, этим бесплатным добавлениям к школьному дню, усугублялось тем, что мои общественно настроенные наставники — несомненно, прекраснейшие благонамеренные люди — с каким-то изуверским упорством ставили мне в пример деятельность моего отца.

Эту деятельность я воспринимал, как часто бывает с детьми знаменитых отцов, сквозь привычные семейные призмы,

недоступные посторонним, причем в отношении моем к отцу было много разных оттенков, — безоговорочная, как бы беспредметная, гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий (пишет ли он передовицу-звезду для «Речи», работает ли по своей специальности криминалиста, выступает ли как политический оратор, участвует ли в своих бесконечных собраниях), мы с ним всегда в заговоре, и посреди любого из этих внешне чуждых мне занятий он может мне подать — да и подавал — тайный знак своей принадлежности к богатейшему «детскому» миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью или как сегодня связан с сыном.

Заседания часто происходили у нас в доме, и о том, что такое заседание должно было состояться, всегда говорило доносившееся из швейцарской жужжанье особого снаряда, несколько похожего на зингеровскую машину, с колесом, которое за ручку вращал швейцар Устин, занимаясь бесконечной очинкой «комитетских» карандашей. Этот не раз мной упомянутый Устин казался — как столь многие члены нашей многочисленной челяди — примерным старым слугой, балагуром и добряком; женат он был на толстой эстонке, которая с пресмешным отрывистым шипом звала его из подвальной квартирки («Устя! Устя!»), откуда тепло пахло курицей. Но, по-видимому, постоянная нудная работа над этими красивыми карандашами незаметным образом повлияла на его нрав, до того его внутренне озлобив, что он, как впоследствии выяснилось, поступил на службу в тайную полицию и состоял в прибыльном контакте с безобидными, но надоедливыми шпиками, всегда вертевшимися в соседстве нашего дома.

Около восьми вечера в распоряжение Устина поступали многочисленные галоши и шубы. Похожий несколько

на Теодора Рузвельта, но в более розовых тонах, появлялся Милюков в своем целлулоидовом воротничке. И. В. Гессен, потирая руки и слегка наклонив набок умную лысую голову, вглядывался сквозь очки в присутствующих. А. И. Каминка, с иссиня-черными зачесанными волосами и выражением предупредительного испуга в подвижных, круглых, карих глазах, уже что-то жарко доказывал однопартийцу. Постепенно переходили в комитетскую, рядом с библиотекой. Там, на темно-красном сукне длинного стола, были разложены стройные карандаши, блестели стаканы, толпились на полках переплетенные журналы, и стучали маятником высокие часы с вестминстерскими курантами. За этим помещением были сложные лабиринты, сообщавшиеся с какими-то чуланами и другими дебрями, куда, бывало, надолго уходил страдавший животом Лустало и где, во время игр с двоюродным братом, Юриком Раушем, я добирался до Техаса, — и там однажды, по случаю какого-то особого заседания, полиция поместила удивительно нерасторопного агента, толстого, тихого, подслеповатого господина, в общем довольно приличного вида, который, будучи обнаружен, неторопливо и тяжело опустился на колени перед старой нашей библиотекаршей, Людмилой Абрамовной Гринберг. Интересно, как бы я мог делиться всем этим с моими школьными товарищами и учителями.

4

Реакционная печать беспрестанно нападала на кадетов, и моя мать, с беспристрастностью ученого коллекционера, собирала в альбом образцы бесталанного русского карикатурного искусства (прямого исчадья немецкого). На них мой отец изображался с подчеркнуто «барской» физиономией, с подстриженными «по-английски» усами, с бобриком, переходившим в плешь, с полными щеками, на одной из которых была родинка, и с «набоковскими» (в генетическом смысле) бровями, решительно идущими вверх от переносицы рим-

ского носа, но теряющими на полпути всякий след растительности. Помню одну карикатуру, на которой от него и от многозубого котоусого Милюкова благодарное Мировое Еврейство (нос и бриллианты) принимает блюдо с хлеб-солью — матушку Россию. Однажды (года точно не помню, вероятно 1911-й или 12-й) «Новое Время» заказало какому-то проходимцу оскорбительную для отца статью. Так как ее автор (некто Снесарев, если память мне не изменяет) был личностью недуэлеспособной, мой отец вызвал на дуэль редактора газеты, Алексея Суворина, человека, вероятно, несколько более приемлемого в этом смысле. Переговоры длились несколько дней; я ничего не знал, но однажды в классе заметил, что какой-то открытый на определенной странице журнальчик ходит по рукам и вызывает смешки. Я перехватил его: журнальчик оказался площадным еженедельником, где в кафешантанных стишках расписывалась история вызова со всякими комментариями; из них я, между прочим, узнал, что в секунданты отец пригласил своего зятя, адмирала Коломейцева, героя японской войны: в Цусимском сражении капитану второго ранга Коломейцеву, командовавшему миноносцем, удалось пришвартоваться к горящему флагманскому броненосцу и снять с него начальника эскадры, раненного в голову адмирала Рождественского, которого лично мой дядя не терпел. По окончании урока я установил, что журнальчик был принесен одним из моих лучших друзей. Я обвинил его в предательстве. В последовавшей драке он, упав навзничь на парту, зацепился ногой обо что-то. У него треснула щиколотка, после чего он пролежал в постели несколько недель, причем благородно скрыл и от семьи и от школьных учителей мое участие в деле.

К ужасным чувствам, возбужденным во мне журнальчиком, болезненно примешивался образ бедного моего товарища, которого как труп нес вниз по лестнице другой товарищ, силач Попов, гориллообразный, бритоголовый, грязный,

но довольно добродушный мужчина-гимназист, — с ним даже боксом нельзя было совладать, — который ежегодно «оставался», так что, вероятно, вся школа, класс за классом, прозрачно прошла бы через него, если бы в 14-м году он не убежал на фронт, откуда вернулся гусаром. Как назло, в тот день автомобиль за мной не приехал, пришлось взять извозчика, и во время непривычного, невероятно медленного унылого и холодного путешествия с Моховой на Морскую я многое успел передумать. Я теперь понимал, почему накануне мать не спустилась к обеду и почему уже третье утро приходил Тернан, фехтовальщик-тренер, считавшийся еще лучше, чем Лустало. Это не значило, что выбор оружья был решен, — и я мучительно колебался между клинком и пулей. Мое воображение осторожно брало столь любимую, столь жарко дышащую жизнью фигуру фехтующего отца и переносило ее, за вычетом маски и защитной байки, в какой-нибудь сарай или манеж, где зимой дрались на шпажных дуэлях, и вот я уже видел отца и его противника, в черных штанах, с обнаженными торсами, яростно бьющимися, — видел даже и тот оттенок энергичной неуклюжести, которой элегантнейший фехтовальщик не может избежать в настоящем поединке. Этот образ был так отвратителен, так живо представлял я себе спелую наготу бешено пульсирующего сердца, которое вот-вот проткнет шпага, что мне на мгновение захотелось, чтобы выбор пал на более механическое оружие. Но тотчас же мое отчаяние еще усилилось.

Пока сани, в которых я горбился, ползли толчками по Невскому, где в морозном тумане уже зажглись расплывчатые огни, я думал об увесистом черном браунинге, который отец держал в правом верхнем ящике письменного стола. Этот обольстительный предмет, к которому, как на поклон, я водил Юрика Рауша, был так же знаком мне, как остальные, более очевидные, украшения кабинета: модный в

те дни брик-а-брак из хрусталя или камня; многочисленные семейные фотографии; огромный, мягко освещенный Перуджино; небольшие, отливающие медвяным блеском под своими собственными лампочками голландские полотна; цветы и бронза; и, прямо за чернильницей огромного письменного стола, приделанный к его горизонту, розовато-дымчатый пастельный портрет моей матери работы Бакста: художник написал ее вполоборота, изумительно передав нежные черты, высокий зачес пепельных волос, сизую голубизну глаз, округлый очерк лба, изящную линию шеи. Но когда я просил дряхлого, похожего на тряпичную куклу возницу ехать скорее, я натыкался на сложный, сонный обман: старик привычным полувзмахом руки обманывал лошадь, показывая, будто собирается вытащить кнутишко из голенища правого валенка, а лошадь обманывала его тем, что, тряхнув головой, притворялась, что ускоряет трусцу. Я же в снежном оцепенении, в которое меня привела эта тихая езда, переживал все знаменитые дуэли, столь хорошо знакомые русскому мальчику. Грибоедов показывал свою окровавленную руку Якубовичу. Пистолет Пушкина падал дулом в снег. Лермонтов под грозовой тучей улыбался Мартынову. Я даже воображал, да простит мне Бог, ту бездарнейшую картину бездарного Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собинова. Кажется, нет ни одного русского автора, который не описал бы этих английских дуэлей à volonté[65], и покамест мой дремотный ванька сворачивал на Морскую и полз по ней, в туманном моем мозгу, как в магическом кристалле, силуэты дуэлянтов сходились — в рощах старинных поместий, на Волховом поле, за Черной речкой на белом снегу. И, как бы промеж этих наносных образов, бездной зияла моя нежная любовь к отцу — гармония наших

[65] Дуэль со стрельбой не по команде *(фр.)*.

отношений, теннис, велосипедные прогулки, бабочки, шахматные задачи, Пушкин, Шекспир, Флобер и тот повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, кото-которые составляют тайный шифр счастливых семей.



Портрет матери Набокова, написанный Леоном Бакстом в 1910 г.

Предоставив Устину заплатить рупь извозчику, я кинулся в дом. Уже в парадной донеслись до меня сверху громкие веселые голоса. Как в нарочитом апофеозе, в сказочном мире все разрешающих совпадений, Николай Николаевич Коломейцев в своих морских регалиях спускался по мраморной лестнице. С площадки второго этажа, где безрукая Венера высилась над малахитовой чашей для визитных карточек, мои родители еще говорили с ним, и он, спускаясь, со смехом

оглядывался на них и хлопал перчаткой по балюстраде. Я сразу понял, что дуэли не будет, что противник извинился, что мир мой цел. Минуя дядю, я бросился вверх на площадку. Я увидел спокойное всегдашнее лицо матери, но взглянуть на отца я не мог. Мне удалось, в виде психологического алиби, пролепетать что-то о драке в школе, но тут мое сердце поднялось, — поднялось, как на зыби поднялся «Буйный», когда его палуба на мгновенье сровнялась со срезом «Князя Суворова», и у меня не было носового платка.

Все это было давно, — задолго до той ночи в 1922 году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милюкова от пули двух темных негодяев и, пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен выстрелом в спину; но ни тени от этого будущего не падало на нарядно озаренную лестницу петербургского дома, и, как всегда, спокойна была большая прохладная ладонь, легшая мне на голову, и несколько линий игры в сложной шахматной композиции не были еще слиты в этюд на доске.

Глава десятая

1

Как известно, книги капитана Майн-Рида (1818–1883), в упрощенных переводах, были излюбленным чтением русских мальчиков и после того, как давно увяла его американская и англо-ирландская слава. Владея английским с колыбельных дней, я мог наслаждаться «Безглавым Всадником» (перевожу точно) в несокращенном и довольно многословном оригинале. Двое друзей обмениваются одеждами, шляпами, конями, и злодей ошибается жертвой, — вот главный завиток сложной фабулы. Бывшее у меня издание (вероятно, лондонское) осталось стоять на полке памяти в виде

пухлой книги в красном коленкоровом переплете, с водянисто-серой заглавной картинкой, глянец которой был сначала подернут дымкой папиросной бумаги, предохранявшей ее от неизвестных посягательств. Я помню постепенную гибель этого защитного листика, который сперва начал складываться неправильно, по уродливой диагонали, а затем изорвался; самую же картинку, как бы выгоревшую от солнца жаркого отроческого воображения, я вспомнить не могу: верно, на ней изображался несчастный брат Луизы Пойндекстер, два-три койота, кактусы, колючий мескит, — и вот, вместо *той* картины, вижу в окно ранчи всамделишную юго-западную пустыню с кактусами, слышу утренний, нежно-жалобный крик венценосной Гамбелевой куропаточки и преисполняюсь чувством каких-то небывалых свершений и наград.

Из Варшавы, где его отец, барон Рауш фон Траубенберг, был генерал-губернатором, мой двоюродный брат Юрий приезжал гостить летом в наше петербургское имение, и с ним-то я играл в общеизвестные майн-ридовские игры. Сначала для наших лесных поединков мы пользовались пружинными пистолетами, стреляющими с порядочной силой палочками длиной с карандаш, причем для пущей резвости мы сдирали с металлического кончика резиновую присоску; позднее же мы перешли на духовые ружья разнообразных систем и били друг в друга из них маленькими стальными ярко оперенными стрелами, производившими неглубокие, но чувствительные ранки, если попадали в щеку или руку. Читатель легко может себе представить все те забавы, которые два самолюбивых мальчика могли придумать, пытаясь перещеголять друг друга в смелости; раз мы переправились через реку у лесопилки, прыгая с одного плавучего бревна на другое; все это скользило, вертелось под ногами, и черно синела глубокая вода, и это для меня не представляло большой опасности, так как я хорошо плавал, между тем как не отста-

вавший от меня Юрик плавать совершенно не умел, скрыл это и едва не утонул в двух саженях от берега.

Летом 1917 года, уже юношами, мы забавлялись тем, что каждый по очереди ложился навзничь на землю под низкую доску качелей, на которых другой мощно реял, проскальзывая над самым носом лежащего, и покусывали в затылок муравьи, а через полтора года он пал во время конной атаки в крымской степи, и его мертвое тело привезли в Ялту хоронить: весь перед черепа был сдвинут назад силой пяти пуль, убивших его наповал, когда он один поскакал на красный пулемет. Может быть, я невольно подгоняю прошлое под известную стилизацию, но мне сдается теперь, что мой так рано погибший товарищ, в сущности, не успел выйти из воинственно-романтической Майн-Ридовой грезы, которая поглощала его настолько полнее, чем меня, во время наших не таких уже частых и не очень долгих летних встреч.

2

Недавно в библиотеке американского университета я достал этого самого «The Headless Horseman» в столетнем, очень непривлекательном издании без всяких иллюстраций. Теперь читать это подряд невозможно, но проблески таланта есть, и намечается местами даже какая-то гоголевская красочность. Возьмем для примера описание бара в бревенчатом техасском отеле пятидесятых годов. Франт-барман, без сюртука, в атласном жилете, в рубашке с рюшами, описан очень живо, и ярусы цветных графинов, среди которых «антикварно тикают» голландские часы, «кажутся радугой, блистающей за его плечами, и как бы венчиком окружают его надушенную голову» (очень ранний Гоголь, конечно). «Из стекла в стекло переходят и лед, и вино, и мононгахила (сорт виски)». Запах мускуса, абсента и лимонной корки наполняет таверну, а резкий свет «канфиновых ламп подчеркивает темные астериски, произведенные экспекторацией

(плевками) на белом песке, которым усыпан пол». Лет девяносто спустя, а именно в 1941 году, я собирал в тех местах, где-то к югу от Далласа, баснословной весенней ночью, замечательных совок и пядениц у неоновых огней бессонного гаража.

В бар входит злодей, «рабо-секущий миссисипец», бывший капитан волонтеров, мрачный красавец и бретер, Кассий Калхун. Он провозглашает грубый тост: «Америка для американцев, а проклятых ирландцев долой!», причем нарочно толкает героя нашего романа, Мориса Джеральда, молодого укротителя мустангов в бархатных панталонах и пунцовом нашейном шарфе: он, впрочем, был не только скромный коноторговец, а, как выясняется впоследствии, к сугубому восхищению Луизы, баронет — сэр Морис. Не знаю, может быть, именно этот британский шик и был причиной того, что столь быстренько закатилась слава нашего романиста-ирландца в Америке, его второй родине.

Немедленно после толчка Морис совершает ряд действий в следующем порядке:

Ставит свой стакан с виски на стойку.

Вынимает шелковый платок (актер не должен спешить).

Отирает им с вышитой груди рубашки осквернившее ее виски.

Перекладывает платок из правой руки в левую.

Опять берет стакан со стойки.

Выхлестывает остаток виски в лицо Калхуну.

Спокойно ставит опять стакан на стойку.

Эту художественную серию действий я недаром помню так точно: много раз мы разыгрывали ее с двоюродным братом.

Дуэль на шестизарядных кольтах (нам приходилось их заменять револьверами с восковыми пульками в барабанах) состоялась тут же, в опустевшей таверне. Несмотря на интерес, возбуждаемый поединком («оба были ранены... кровь

прыскала на песок пола»), уже в десять лет, а то и раньше, что-то неудержимо побуждало меня покинуть таверну, с ее уже ползшими на четвереньках дуэлянтами, и смешаться с затихшей перед таверной толпой, чтобы поближе рассмотреть «в душистом сумраке» неких глухо и соблазнительно упомянутых автором «сеньорит сомнительного звания». Еще с большим волнением читал я о Луизе Пойндекстер, белокурой кузине Калхуна и будущей лэди Джеральд, дочке сахарного плантатора. Эта прекрасная, незабвенная девица, почти креолка, является перед нами томимая муками ревности, хорошо известной мне по детским балам в Петербурге, когда какая-нибудь безумно любимая девочка с белым бантом почему-то вдруг начинала не замечать меня. Итак, Луиза стоит на плоской кровле своего дома, опершись белой рукой на каменный парапет, еще влажный от ночных рос, и чета ее грудей (так и написано «twin breasts») поднимается и опускается, а лорнет направлен — этот лорнет я впоследствии нашел у Эммы Бовари, а потом его держала Анна Каренина, от которой он перешел к Даме с Собачкой и был ею потерян на ялтинском молу. Ревнивой Луизой он был направлен в пятнистую тень под мескитами, где тайно любимый ею всадник вел беседу с не нравившейся ни мне, ни ему амазонкой, донной Айсидорой Коваруббио де Лос Ланос, дочкой местного помещика. Автор довольно противно сравнивал эту преувеличенную брюнетку с «хорошеньким, усатеньким молодым человеком», а ее шевелюру с «пышным хвостом дикого коня».

«Мне как-то случилось, — объяснил Морис Луизе, тайно любимой им всаднице, — оказать донне Айсидоре небольшую услугу, а именно избавить ее от шайки дерзких индейцев». — «Небольшую услугу! — воскликнула Луиза. — Да знаете ли вы, что кабы мужчина оказал мне такую услугу...» — «Чем же вы бы его наградили?» — спросил Морис с простительным нетерпением. «О, я бы его полюбила!» —

крикнула откровенная креолка. «В таком случае, сударыня, — раздельно выговорил Морис, — я бы отдал полжизни, чтобы вы попали в лапы индейцев, а другую, чтобы вас спасти».

И тут наш романтик-капитан вкрапливает странное авторское признание. Перевожу его дословно: «Сладчайшее в моей жизни лобзание было то, которое имел я сидючи в седле, когда женщина — прекрасное создание, в отъезжем поле — перегнулась ко мне со своего седла и меня, конного, поцеловала».

Это увесистое «сидючи» («as I sate») придает, конечно, и плотность и продолжительность лобзанию, которое капитан так элегантно «имел» («had»), но даже в одиннадцать лет мне было ясно, что такая кентаврская любовь поневоле несколько ограниченна. К тому же Юрик и я знали одного лицеиста, который это испробовал на Островах, но лошадь его дамы спихнула его лошадь в канаву с водой. Истомленные приключениями в вырском чапаррале, мы ложились на траву и говорили о женщинах. Невинность наша кажется мне теперь почти чудовищной при свете разных исповедей за те годы, приводимых Хавелок Эллисом, где идет речь о каких-то малютках всевозможных полов, занимающихся всеми греко-римскими грехами, постоянно и всюду, от англосаксонских промышленных центров до Украины (откуда имеется одно особенно вавилонское донесение от помещика). Трущобы любви были незнакомы нам. Заставив меня кровью (добытой перочинным ножом из большого пальца) подписать на пергаменте клятву молчания, тринадцатилетний Юрик поведал мне о своей тайной страсти к замужней даме в Варшаве (ее любовником он стал только гораздо позже — в пятнадцать лет). Я был моложе его на два года, и мне нечем было ему платить за откровенность, ежели не считать нескольких бедных, слегка приукрашенных рассказов о моих детских увлечениях на французских пляжах, где было так хо-

рошо, и мучительно, и прозрачно-шумно, да петербургских домах, где всегда так странно и даже жутко бывало прятаться и шептаться, и быть хватаемым горячей ручкой во время общих игр в чужих незнаемых коридорах, в суровых и серых лабиринтах, полных неизвестных нянь, после чего глухо болела голова и по каретным стеклам шли радуги от огней. Впрочем, в том самом году, который я теперь постепенно освободил от шлака более ранних и более поздних впечатлений, нечто вроде романтического приключения с наплывом первых мужских чувств мне все-таки довелось испытать. Я собираюсь продемонстрировать очень трудный номер, своего рода двойное сальто-мортале с так называемым «вализским» перебором (меня поймут старые акробаты), и посему прошу совершенной тишины и внимания.

3

Осенью 1910 года брата и меня отправили с гувернером в Берлин на три месяца, дабы выправить нам зубы: у брата верхний ряд выпячивался из-под губы, а у меня они все росли как попало, один даже добавочный шел из середины нёба, как у молодой акулы. Все это было прескучно. Знаменитый американский дантист в Берлине выкорчевал кое-что козьей ножкой, причиняя дикую неприличную боль, и как ужасен бывал у тогдашних дантистов пасмурный вид в окне перед взвинченным стулом, и вата, вата, сухая, дьявольская вата, которую они накладывали пациенту за десны. Оставшиеся зубы этот жестокий американец перекрутил тесемками перед тем, как обезобразить нас платиновыми проволоками. Разумеется, мы считали, что нам полагается много развлечений в награду за эти адские утра Ин ден Цельтен ахтцен А, — вот вспомнил даже адрес и бесшумный ход наемного электрического автомобиля. Сначала мы много играли в теннис, а когда наступили холода, стали почти ежедневно посещать

скетинг-ринк на Курфюрстендаме. Военный оркестр (Германия в те годы была страной музыки) не мог заглушить механической воркотни неумолкаемых роликов. Существовала в России порода мальчиков (Вася Букетов, Женя Кан, Костя Мальцев, — где все они ныне?), которые мастерски играли в футбол, в теннис, в шахматы, блистали на льду катков, перебирая на поворотах «через колено» бритвоподобными беговыми коньками, плавали, ездили верхом, прыгали на лыжах в Финляндии и немедленно научались всякому новому спорту. Я принадлежал к их числу и потому очень веселился на этом паркетном скетинге. Было человек десять инструкторов в красной форме с бранденбургами, большинство из них говорило по-английски (я немецкому языку никогда не научился и в жизни не прочел ни одного литературного произведения по-немецки). Самый ловкий из них, мрачный молодой бандит из Чикаго, научил меня танцевать на роликах. Мой брат, мирный и неловкий, в очках, тихо ковылял в сторонке, никому не мешая, а гувернер пил кофе и ел торт «мокко» в кафе за бархатным барьером. Я вскоре заприметил группу изящных, стройных молодых американок; сначала они все сливались для меня в одно странно привлекательное явление; но постепенно началась дифференциация. Как-то я тренировался в вальсе и, за несколько секунд до одного из самых болезненных падений, которое мне когда-либо пришлось потерпеть (расшиб все лицо), я услышал из этой обольстительной группы уже знакомый мне, полнозвучный, как удар по арфе, голос, выразивший мне одобрение. До сих пор медленно едет она у меня мимо глаз, эта высокая американочка в синем тайере, в большой черной шляпе, насквозь пронзенной сверкающей булавкой, в белых лайковых перчатках и лакированных башмаках, вооруженных какими-то особенными роликами. По ночам я не спал, воображая эту Луизу, ее стройный стан, ее голую, нежно-голубоватую шею,

и удивлялся странному физическому неудобству, которое если и ощущалось мною раньше, то не в связи с какими-нибудь фантазиями, а только оттого, что натирали рейтузы. Как-то я шел через вестибюль ринка, и около дорической колонны стояли она и мой роликовый инструктор, и этот гладко причесанный наглец типа Калхуна крепко держал ее за кисть и чего-то добивался, и она по-детски вертела так и сяк плененной рукой, и в ближайшую ночь я несколько раз подряд заколол его, застрелил, задушил.

Наш гувернер, тот «Ленский», о котором я писал по другому поводу, высоконравственный и несколько наивный человек, был впервые за границей. Ему не всегда было легко согласовать свой страстный интерес к туристическим приманкам с педагогическим долгом, и, в общем, нам с братом часто удавалось заводить его в места, куда родители нас бы, может быть, и не пустили. Так, например, он легко поддался приманчивости «Винтергартена», и вот однажды мы очутились с ним сидящими в одной из передних лож под искусственным звездным небом этого знаменитого учреждения и через соломинки потягивающими из-под взбитых сливок гладкий и необыкновенно вкусный «айс-шоколаде».

Программа была обычная: был жонглер во фраке; была внушительного вида певица, которая вспыхивала поддельными каменьями, заливаясь ариями в переменных лучах зеленого и красного цвета прожекторов; затем был комик на роликах; между ним и велосипедным номером (о котором скажу в свое время) было в программе объявлено: «Gala Girls», — и с потрясающей и постыдной внезапностью, напомнившей мне падение на черной пылью подернутом катке, я узнал моих американских красавиц в гирлянде горластых «герльз», которые, рука об руку, сплошным пышным фронтом переливались справа налево и потом обратно, ритмически вскидывая то десяток левых, то десяток правых

одинаковых розовых ног. Я нашел лицо моей волоокой Луизы и понял, что все кончено, даже если и отличалась она какой-то грацией, каким-то отпечатком наносной неги от своих вульгарных товарок. Сразу перестать думать о ней я не мог, но испытанное потрясение послужило толчком для индуктивного процесса, ибо я вскоре заметил в порядке новых отроческих чудес, что теперь уже не только она, но любой женский образ, позирующий академической рабыней моему ночному мечтанию, возбуждает знакомое мне, все еще загадочное неудобство. Об этих симптомах я простодушно спросил родителей, которые как раз приехали в Берлин из Мюнхена или Милана, и отец деловито зашуршал немецкой газетой, только что им развернутой, и ответил по-английски, начиная — по-видимому, длинное — объяснение интонацией «мнимой цитаты», при помощи которой он любил разгоняться в речах: «Это, мой друг, всего лишь одна из абсурдных комбинаций в природе — вроде того, как связаны между собой смущение и зардевшиеся щеки, горе и красные глаза, shame and blushes, grief and red eyes... Tolstoi vient de mourir»[66], — вдруг перебил он самого себя другим, ошеломленным голосом, обращаясь к моей матери, тут же сидевшей у вечерней лампы. «Да что ты», — удрученно и тихо воскликнула она, соединив руки, и затем прибавила: «Пора домой», — точно смерть Толстого была предвестником каких-то апокалиптических бед.

4

Вернемся теперь к велосипедному номеру — в моей версии. Летом следующего, 1911-го, года Юрик Рауш не приезжал, и я остался наедине с запасом смутных переживаний. Сидя на корточках перед неудобно низкой полкой в гале-

[66] Толстой только что умер *(фр.)*.

рее усадьбы, в полумраке, как бы умышленно мешающем мне в моих тайных исследованиях, я разыскивал значение всяких темных, темно соблазнительных и раздражительных терминов в восьмидесятидвухтомной брокгаузовской энциклопедии. В видах экономии заглавное слово замещалось на протяжении соответствующей статьи его начальной буквой, так что к плохому освещению, пыли и мелкоте шрифта примешивалось маскарадное мелькание прописной буквы, означающей малоизвестное слово, которое пряталось в сером петите от молодого читателя и малиновой ижицы на его лбу. Ловлею бабочек и всякими видами спорта заполнялись солнечные часы летних суток, но никакое физическое утомление не могло унять беспокойство, ежевечерне высылавшее меня в смутное путешествие. До обеда я ездил верхом, а на закате, надув шины до предельного напряжения, катил Бог весть куда на своем старом «Энфильде» или новом «Свифте», рулевые рога которого я перевернул так, что их вулканитовые концы были ниже уровня седла и позволяли мне гнуть хребет по-гоночному. С чувством бесплотности я углублялся в цветной вечерний воздух и летел по парковой аллее, следуя вчерашнему оттиску моих же дунлоповых шин; тщательно объезжал коряжные корни и гуттаперчевых жаб; намечал издали палую веточку и с легким треском надламывал ее чуткой шиной; ловко лавировал между двумя листочками или между камушком и ямкой в земле, откуда мой же проезд выбил его накануне; мгновение наслаждался краткой гладью мостка над ручьем; тормозил и толчком переднего колеса отпахивал беленую калитку в конце Старого парка; и затем, в упоении воли и грусти, стрекотал по твердой липкой обочине полевых дорог.

В то лето я каждый вечер проезжал мимо золотой от заката избы, на черном пороге которой всегда в это время стояла Поленька, однолетка моя, дочка кучера. Она стояла,

опершись о косяк, мягко и свободно сложив руки на груди, — воплощая и rus и Русь — и следила за моим приближением издалека с удивительно приветливым сиянием на лице, но по мере того, как я подъезжал, это сияние сокращалось до полуулыбки, затем до слабой игры в углах ее сжатых губ и наконец выцветало вовсе, так что, поравнявшись с нею, я не находил просто никакого выражения на ее прелестном круглом лице, чуть тронутом оспой, и в косящих светлых глазах. Но как только я проезжал и оглядывался на нее, перед тем как взмыть в гору, уже опять намечалась тонкая впадинка у нее на щеке, опять лучились таинственным светом ее дорогие черты. Боже мой, как я ее обожал! Я никогда не сказал с ней ни слова, но после того, как я перестал ездить по той дороге в тот низко-солнечный час, наше безмолвное знакомство время от времени еще возобновлялось в течение трех-четырех лет. Посещаю, бывало, хмурый, в крагах, со стеком, скотный двор или конюшню, и откуда ни возьмись она вдруг появляется, словно вырастая из золотистой земли, — и всегда стоит немного в сторонке, всегда босая, потирая подъем одной ноги об икру другой или почесывая четвертым пальцем пробор в светло-русых волосах, и всегда прислоняясь к чему-нибудь, к двери конюшни, пока седлают мне лошадь, или к стволу липы в резко яркое сентябрьское утро, когда всей оравой деревенская прислуга собиралась у парадного подъезда провожать нас на зиму в город. С каждым разом ее грудь под серым ситцем казалась мне мягче, а голые руки крепче, и однажды, незадолго до ее отъезда в далекое село, куда ее в шестнадцать лет выдали за пьяницу-кузнеца, я заметил как-то, проходя мимо, блеск нежной насмешки в ее широко расставленных, светло-карих глазах. Странно сказать, но в моей жизни она была первой, имевшей колдовскую способность накипанием света и сладости прожигать сон мой насквозь (а достигала она этого тем, что не давала

погаснуть улыбке), а между тем в сознательной жизни я и не думал о сближении с нею, да при этом пуще боялся испытать отвращение от запекшейся грязи на ее ногах и затхлого запаха крестьянского платья, чем оскорбить ее тривиальным господским ухаживанием.

5

Прежде чем расстаться с этим навязчивым образом, мне хотелось бы задержать перед глазами одновременно две картины. Одна из них долго жила во мне совершенно отдельно от скромной Поленьки, стоявшей на черной ступени золотой избы; оберегая собственный покой, я отказывался отнести к ней то русалочное воплощение ее жалостной красоты, которое я однажды подсмотрел. Дело было в июне того года, когда нам обоим минуло тринадцать лет; я пробирался по берегу Оредежи, преследуя так называемых «черных» аполлонов (Parnassius mnemosyne), диковинных, древнего происхождения бабочек с полупрозрачными, глянцевитыми крыльями и пушистыми вербными брюшками. Погоня за этими чудными созданиями завела меня в заросль черемух и ольх у самого края холодной синей реки, как вдруг донеслись крики и всплески и я увидел из-за благоухающего куста Поленьку и трех-четырех других подростков, полоскавшихся нагишом у развалин свай, где была когда-то купальня. Мокрая, ахающая, задыхающаяся, с соплей под курносым носом, с крутыми детскими ребрами, резко намеченными под бледной, пупырчатой от холода кожей, с забрызганными черной грязью икрами, с круглым гребнем, горевшим в темных от влаги волосах, она спасалась от бритоголовой, тугопузой девчонки и бесстыдно возбужденного мальчишки с тесемкой вокруг чресл (кажется, против сглазу), которые приставали к ней, хлеща и шлепая по воде вырванными стеблями водяных лилий.

Второй образ относится к святкам 1916 года. Стоя в предвечерней тишине на устланной снегом платформе станции Сиверской, я смотрел на дальнюю серебряную рощу, постепенно становившуюся свинцовой под потухающим небом, и ждал, чтобы появился из-за нее гуашевый дым поезда, который должен был доставить меня обратно в Петербург после веселого дня лыжного спорта. Лиловый дым появился, и в эту же минуту Поленька прошла мимо меня с другою молодой крестьянкой, — обе были в толстых платках, в больших валенках, в бесформенных стеганых кофтах с ватой, торчавшей из прорванной черной материи, и Поленька, с синяком под глазом и вспухнувшей губой (говорили, что муж ее бьет по праздникам), заметила, ни к кому не обращаясь, задумчиво и мелодично: «А барчук-то меня не признал». Только этот один раз и довелось мне услышать ее голос.

6

Этим голосом говорят со мною ныне те летние вечера, когда отроком я так беззвучно и быстро, бывало, катил мимо длинной тени ее низкой избы. В том месте, где полевая дорога вливалась в пустынное шоссе, я слезал с велосипеда и прислонял его к телеграфному столбу. На близком, целиком раскрывшемся небе медлил грозный в своем великолепии закат. Среди его незаметно меняющихся нагромождений взгляд различал фуксином окрашенные структурные детали небесных организмов, и червонные трещины в темных массивах, и гладкие эфирные мели, и миражи райских островов. Я тогда еще не умел — как теперь отлично умею — справляться с такими небесами, переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю, пускай *он* замирает; и тогдашнее мое неумение отвязаться от красоты усугубляло томление. Исполинская тень начинала заливать равнину, и в медвяной тишине ровно гудели столбы, и упруго стучала во мне кровь, и питающиеся по ночам гусеницы некоторых бабочек начи-

нали неторопливо всползать по стеблям своих кормовых растений. С едва уловимым хрустким звуком прелестный голубой червь в зеленую полоску работал челюстями по краю полевого листика, выедая в нем сверху вниз правильную лунку, разгибая шею и снова принимаясь грызть с верхней точки, чтобы углубить полукруг. Машинально я переводил едока вместе с его цветком в одну из всегда бывших при мне коробочек, но мои мысли в кои-то веки были далеко от воспитания бабочек. Колетт, моя пляжная подруга; танцовщица Луиза; все те раскрасневшиеся, душистоволосые, в низко повязанных, ярких шелковых поясах девочки, с которыми я играл на детских праздниках; графиня Г., таинственная пассия моего двоюродного брата; Поленька, прислонившаяся с улыбкой странной муки к двери в огне моих новых снов; все это сливалось в один образ, мне еще неизвестный, но который мне скоро предстояло узнать.

Помню один такой вечер... Блеск его рдел на выпуклости велосипедного звонка. Над черными телеграфными струнами веерообразно расходились густо-лиловые ребра роскошных малиновых туч: это было как некое ликование с заменой кликов гулкими красками. Гул блекнул, гас воздух, темнели поля; но над самым горизонтом, над мелкими зубцами суживающегося к югу бора, в прозрачном, как вода, бирюзовом просвете, сверху оттененном слоями почерневших туч, глазу представлялась как бы частная даль, с собственными украшениями, которые только очень глупый читатель мог бы принять за запасные части данного заката. Этот просвет занимал совсем небольшую долю огромного неба, и была в нем та нежная отчетливость, которая свойственна предметам, если смотреть не с того конца в телескоп. Там, в миниатюрном виде, расположилось семейство ведряных облаков, скопление светлых воздушных завоев, анахронизм млечных красок; нечто очень далекое, но разработанное до последних

подробностей; фантастически уменьшенный, но совсем уже готовый для сдачи мне мой завтрашний сказочный день.

Глава одиннадцатая

1

Я впервые увидел Тамару — выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени, — когда ей было пятнадцать лет, а мне шестнадцать. Кругом как ни в чем не бывало сияло и зыблилось вырское лето. Второй год тянулась далекая война. Двумя годами позже пресловутой перемене в государственном строе предстояло убрать знакомую, кроткую усадебную обстановку, — и уже погромыхивал закулисный гром в стихах Александра Блока.

В начале того лета, и в течение всего предыдущего, имя «Тамара» появлялось (с той напускной наивностью, которая так свойственна повадке судьбы, приступающей к важному делу) в разных местах нашего имения. Я находил его написанным химическим карандашом на беленой калитке или начерченным палочкой на красноватом песке аллеи, или недовырезанным на спинке скамьи, точно сама природа, минуя нашего старого сторожа, вечно воевавшего с вторжением дачников в парк, таинственными знаками предваряла меня о приближении Тамары. В тот июльский день, когда я наконец увидел ее стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в изумрудном свете березовой рощи, она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения.

Дождавшись того, чтобы сел невидимый мне овод, она прихлопнула его и, довольная, сквозь ожившую и заигравшую рощу, пустилась догонять сестру и подругу, отчетливо звавших ее; немного позже, с заросшего дикой малиной старого кладбища, боком, как калека, сходившего по крутому

склону к реке, я увидел, как все три они шли через мост, одинаково постукивая высокими каблучками, одинаково засунув руки в карманы темно-синих жакеток и, чтобы отогнать мух, одинаково встряхивая головами, убранными цветами и лентами. Очень скоро путем слежки я выяснил, где мать ее снимала дачку: ее скрывала рощица яблоней. Ежедневно, верхом или на велосипеде, я проезжал мимо, — и на повороте той или другой дороги что-то ослепительно взрывалось под ложечкой, и я обгонял Тамару, с деятельно устремленным видом шедшую по обочине. Та же природная стихия, которая произвела ее в тающем блеске березняка, тихонько убрала сперва ее подругу, а потом ее сестру; луч моей судьбы явно сосредоточился на темной голове, то в венке васильков, то с большим бантом черного шелка, которым была подвязана на затылке вдвое сложенная каштановая коса; но только девятого августа по новому стилю я решился с ней заговорить.

Сквозь тщательно протертые стекла времени ее красота все так же близко и жарко горит, как горела бывало. Она была небольшого роста, с легкой склонностью к полноте, что, благодаря гибкости стана да тонким щиколоткам, не только не нарушало, но, напротив, подчеркивало ее живость и грацию. Примесью татарской или черкесской крови объяснялся, вероятно, особый разрез ее веселых, черных глаз и рдяная смуглота щек. Ее профиль на свет был обрисован тем драгоценным пушком, которым подернуты плоды фруктовых деревьев миндальной группы. Ее очаровательная шея была всегда обнажена, даже зимой, — каким-то образом она добилась разрешения не носить воротничка, который полагалось носить гимназисткам. У нее были всякие неожиданные прибаутки и огромный запас второстепенных стихов, — тут были и Жадовская, и Виктор Гофман, и К. Р., и Мережковский, и Мазуркевич, и Бог знает еще какие дамы и мужчины, на слова которых писались романсы, вроде «Ваш уголок

я убрала цветами» или «Христос воскрес, поют во храме». Сказав что-нибудь смешное или чересчур лирическое, она, сильно дохнув через ноздри, говорила иронически: «Вот как хорошо!» Ее юмор, чудный беспечный смешок, быстрота речи, картавость, блеск и скользкая гладкость зубов, волосы, влажные веки, нежная грудь, старые туфельки, нос с горбинкой, дешевые сладкие духи, все это, смешавшись, составило необыкновенную, восхитительную дымку, в которой совершенно потонули все мои чувства. «Что ж, мы мещаночки, мы ничего, значит, и не знаем», — говорила она с такой щелкающей усмешечкой, словно грызла семечки: но на самом деле она была и тоньше, и лучше, и умнее меня. Я очень смутно представлял себе ее семью: отец служил в другой губернии, у матери было отчество как в пьесе Островского. Жизнь без Тамары казалась мне физической невозможностью, но когда я говорил ей, что мы женимся, как только кончу гимназию, она твердила, что я очень ошибаюсь или нарочно говорю глупости.

Уже во второй половине августа пожелтели березы; сквозь рощи их тихо проплывали, едва взмахивая черным крылом, траурницы, большие бархатные бабочки с палевой каймой. Мы встречались за рекой, в парке соседнего имения, принадлежавшего моему дяде: в то лето он остался в Италии, — и мы с Тамарой безраздельно владели и просторным этим парком с его мхами и урнами, и осенней лазурью, и русой тенью шуршащих аллей, и садом, полным мясистых, розовых и багряных георгин, и беседками, и скамьями, и террасами запертого дома. Братний и мой гувернер, Волгин, которому по зрелости наших лет полагалось, конечно, ограничивать свое гувернерство лишь участием в теннисе да писанием за нас тех бесовских школьных сочинений, которые задавались на лето (их за него писал какой-то его родственник), пробовал спрятаться в кусты и чуть ли не за версту следить

за мной и Тамарой при помощи громоздкого телескопа, найденного им на чердаке вырского дома; дядин управляющий Евсей почтительно мне об этом доложил, и я пожаловался матери: она знала о Тамаре только по моим стихам, которыми я всегда с матерью делился, но, что бы она ни думала о наших с Тамарой свиданьях, куст и труба столь же оскорбили ее, как меня. Когда я по вечерам уезжал в сплошную черноту на верном моем «Свифте», она только покачивала головой да велела лакею не забыть приготовить мне к возвращению простокваши и фруктов. В темноте журчал дождь. Я заряжал велосипедный фонарь магическими кусками карбида, защищал спичку от ветра и, заключив белое пламя в стекло, осторожно углублялся во мрак. Круг света выбирал влажный выглаженный край дороги между ртутным блеском луж посредине и сединой трав вдоль нее. Шатким призраком мой бледный луч вспрыгивал на глинистый скат у поворота и опять нащупывал дорогу, по которой, чуть слышно стрекоча, я съезжал к реке. За мостом тропинка, отороченная мокрым жасмином, круто шла вверх; приходилось слезать с велосипеда и толкать его в гору, и капало на руку. Наверху мертвенный свет карбида мелькал по лоснящимся колоннам, образующим портик с задней стороны дядиного дома. Там, в приютном углу у закрытых ставень окна, под аркадой, ждала меня Тамара. Я гасил фонарик и ощупью поднимался по скользким ступеням. В беспокойной тьме ночи столетние липы скрипели и шумно накипали ветром. Из сточной трубы, сбоку от благосклонных колонн, суетливо и неутомимо бежала вода, как в горном ущелье. Иногда случайный добавочный шорох, перебивавший ритм дождя в листве при соприкосновении двух мощных ветвей, заставлял Тамару обращать лицо в сторону воображаемых шагов, и тогда я различал ее таинственные черты, как бы при собственной их фосфористости; но это подкрадывался только дождь,

и, тихо выпустив задержанное на мгновение дыхание, она опять закрывала глаза.

2

С наступлением зимы наш безрассудный роман был перенесен в городскую, гораздо менее участливую обстановку. Все то, что могло казаться — да и кажется многим — просто атрибутами классической поэзии, вроде «лесной сени», «уединенности», «сельской неги» и прочих пушкинских галлицизмов, внезапно приобрело весомость и значительность, когда мы, в самом деле, лишились нашего деревенского убежища. Меблированные комнаты, сомнительные, как говорится, гостиницы, отдельные кабинеты — весь трафарет французских влияний на родную словесность после Пушкина был, признаюсь, вне предела дерзаний шестнадцатилетнего тенишевца. Негласность свиданий, столь приятная и естественная в деревне, теперь обернулась против нас; и так как обоим нам была невыносима мысль встречаться у меня или у нее на дому, под неизбежным посторонним наблюдением, а лукавства у нас не хватало, чтобы предвидеть, как скоро мы бы с этим наблюдением справились, Тамара, в своей скромной серой шубке, и я с кастетом в бархатном кармане пальто, принуждены были странствовать по улицам, по обледенелым петербургским садам, по закоулкам, где как-то разваливалась набережная и где приходилось сталкиваться с хулиганьем, — и эти постоянные искания приюта порождали странное чувство бездомности: тут начинается тема бездомности, — глухое предисловие к позднейшим, значительно более суровым блужданиям.

Мы пропускали школу: не помню, как устраивалась Тамара; я же подкупал нашего швейцара Устина, заведовавшего нижним телефоном (24–43), и Владимир Васильевич Гиппиус, часто звонивший из школы, чтобы справиться о моем пошатнувшемся здоровье, не видал меня в классе, скажем, с по-

недельника до пятницы, а во вторник я опять начинал болеть. Мы сиживали на скамейках в Таврическом саду, сняв сначала ровную снежную попону с холодного сиденья, а затем варежки с горячих рук. Мы посещали музеи. В будни по утрам там бывало дремотно и пусто, и климат был оранжерейный по сравнению с тем, что происходило в восточном окне, где красное, как апельсин-королек, солнце низко висело в замерзшем сизом небе. В этих музеях мы отыскивали самые отдаленные, самые неказистые зальца, с небольшими смуглыми голландскими видами конькобежных утех в тумане, с офортами, на которые никто не приходил смотреть, с палеографическими экспонатами, с тусклыми макетками, с моделями печатных станков и тому подобными бедными вещицами, среди которых посетителем забытая перчатка прямо дышала жизнью. Одной из лучших наших находок был незабвенный чулан, где сложены были лесенки, пустые рамы, щетки. В Эрмитаже, помнится, имелись кое-какие уголки, — в одной из зал среди витрин с египетскими, прескверно стилизованными, жуками, за саркофагом какого-то жреца по имени Нана. В Музее Александра Третьего, тридцатая и тридцать третья залы, где свято хранились такие академические никчемности, как, например, картины Шишкова и Харламова, — какая-нибудь «Просека в бору» или «Голова цыганенка» (точнее не помню), — отличались закутами за высокими стеклянными шкафами с рисунками и оказывали нам подобие гостеприимства, — пока не ловил нас грубый инвалид. Постепенно из больших и знаменитых музеев мы переходили в маленькие, в Музей Суворова, например, где, в герметической тишине одной из небольших комнат, полной дряхлых доспехов и рваных шелковых знамен, восковые солдаты в ботфортах и зеленых мундирах держали почетный караул над нашей безумной неосторожностью. Но куда бы мы ни заходили, рано или поздно тот или другой седой сторож на замшевых подошвах присматривался к нам,

что было нетрудно в этой глуши, — и приходилось опять переселяться куда-нибудь, в Педагогический музей, в Музей придворных карет, и, наконец, в крохотное хранилище старинных географических карт, — и оттуда опять на улицу, в вертикально падающий крупный снег «Мира Искусства».

Под вечер мы часто скрывались в последний ряд одного из кинематографов на Невском, «Пикадилли» или «Паризиана». Фильмовая техника, несомненно, шла вперед. Уже тогда, в 1915 году, были попытки усовершенствовать иллюзию внесением красок и звуков: морские волны, окрашенные в нездоровый синий цвет, бежали и разбивались об ультрамариновую скалу, в которой я со странным чувством узнавал Rocher de la Vieige[67], Биарриц, прибой моего международного детства, и пока как белье полоскалось это море в синьке, специальная машина занималась звукоподражанием, издавая шипенье, которое почему-то никогда не могло остановиться одновременно с морской картиной, а всегда продолжалось еще две-три секунды, когда уже мигала следующая: бодренькие похороны под дождем в Париже, или хилые оборванные военнопленные с подчеркнуто нарядными нашими молодцами, захватившими их. Довольно часто почему-то названием боевика служила целая цитата, вроде: «Отцвели уж давно хризантемы в саду», или: «И сердцем, как куклой, играя, он сердце, как куклу, разбил», или еще: «Не подходите к ней с вопросами» (причем начиналось с того, что двое слишком любознательных интеллигентов с накладными бородками вдруг вскакивали со скамьи на бульваре, имени Достоевского скорее, чем Блока, и, жестикулируя, теснили какую-то испуганную даму, подходя к ней, значит, с вопросами). В те годы у звезд женского пола были низкие лобики, роскошные брови, размашисто подведенные глаза. Одним из любимцев экрана был актер Мозжухин. Какое-то русское фильмовое

[67] Скала в Биаррице.

общество приобрело нарядный загородный дом с белыми колоннами (несколько похожий на дядин, что трогало меня), и эта усадьба появлялась во всех картинах этого общества. По фотогеническому снегу к ней подъезжал на лихаче Мозжухин, в пальто с каракулевым воротником шалью, в каракулевом колпаке, и устремлял светло-стальной взгляд из темно-свинцовой глазницы на горящее окно, между тем как знаменитый желвачок играл у него под тесной кожей скулы.

Когда прошли холода, мы много блуждали лунными вечерами по классическим пустыням Петербурга. На просторе дивной площади беззвучно возникали перед нами разные зодческие призраки: я держусь лексикона, нравившегося мне тогда. Мы глядели вверх на гладкий гранит столпов, отполированных когда-то рабами, их вновь полировала луна, и они, медленно вращаясь над нами в полированной пустоте ночи, уплывали в вышину, чтобы там подпереть таинственные округлости собора. Мы останавливались как бы на самом краю, — словно то была бездна, а не высота, — грозных каменных громад, и в лилипутовом благоговении закидывали головы, встречая на пути все новые видения, — десяток атлантов или гигантскую урну у чугунной решетки, или тот столп, увенчанный черным ангелом, который в лунном сиянии безнадежно пытался дотянуться до подножья пушкинской строки.

Позднее, в редкие минуты уныния, Тамара говорила, что наша любовь как-то не справилась с той трудной петербургской порой и дала длинную тонкую трещину. В течение всех тех месяцев я не переставал писать стихи к ней, для нее, о ней — по две-три «пьески» в неделю; в 1916 году я напечатал сборник и был поражен, когда она мне указала, что большинство этих стихотворений — о разлуках и утратах, ибо странным образом начальные наши встречи в лирических аллеях, в деревенской глуши, под шорох листьев и

шуршанье дождя, нам уже казались в ту беспризорную зиму невозвратным раем, а эта зима — изгнанием. Спешу добавить, что первая эта моя книжечка стихов была исключительно плохая, и никогда бы не следовало ее издавать. Ее по заслугам немедленно растерзали те немногие рецензенты, которые заметили ее. Директор Тенишевского училища, В. В. Гиппиус, писавший (под псевдонимом Бестужев) стихи, мне тогда казавшиеся гениальными (да и теперь по спине проходит трепет от некоторых запомнившихся строк в его удивительной поэме о сыне), принес как-то экземпляр моего сборничка в класс и подробно его разнес при всеобщем, или почти всеобщем, смехе. Был он большой хищник, этот рыжебородый огненный господин, в странно узком двубортном жилете под всегда расстегнутым пиджаком, который как-то летал вокруг него, когда он стремительно шел по рекреационной зале, засунув одну руку в карман штанов и подняв одно плечо. Его значительно более знаменитая, но менее талантливая кузина Зинаида, встретившись на заседании Литературного Фонда с моим отцом, который был, кажется, его председателем, сказала ему: «Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет», — своего пророчества она потом лет тридцать не могла мне забыть. Некто Л., журналист, человек хороший, нуждающийся и безграмотный, желая выразить свою благодарность моему отцу за какое-то пособие, написал восторженную статью о моих дрянных стишках, строк пятьсот, сочившихся приторными похвалами; отец успел перехватить ее и воспрепятствовать ее напечатанию, и я живо помню, как мы читали писарским почерком написанный манускрипт и производили звуки — смесь зубовного скрежета и тонкого стона, — которым у нас в семье полагалось частным образом реагировать на безвкусицу, неловкость, пошлый промах. Эта история навсегда излечила меня от всякого интереса к едино-

временной литературной славе и была, вероятно, причиной того почти патологического равнодушия к «рецензиям», дурным и хорошим, умным и глупым, которое в дальнейшем лишило меня многих острых переживаний, свойственных, говорят, авторским натурам.

Из всех моих петербургских весен та весна 16-го года представляется мне самой яркой, когда вспоминаю такие образы, как: золотисто-розовое лицо моей красивой, моей милой Тамары в незнакомой мне большой белой шляпе среди зрителей футбольного состязания, во время которого редкая удача сопровождала мое голкиперство; вкрадчивый ветер и первую пчелу на первом одуванчике в двух шагах от сетки гола; гудение колоколов и темно-синюю рябь свободной Невы; пеструю от конфетти слякоть Конно-Гвардейского бульвара на Вербной неделе, писк, хлопанье, американских жителей, поднимающихся и опускающихся в сиреневом спирту в стеклянных трубках, вроде как лифты в прозрачных, насквозь освещенных небоскребах Нью-Йорка; бабочку-траурницу — ровесницу нашей любви, — вылетевшую после зимовки и гревшую в луче апрельского солнца на спинке скамьи в Таврическом саду свои поцарапанные черные крылья с выцветшим до белизны кантом; и какую-то волнующую зыбь в воздухе, опьянение, слабость, нестерпимое желание опять увидеть лес и поле, — в такие дни даже Северянин казался поэтом. Тамара и я всю зиму мечтали об этом возвращении, но только в конце мая, когда мы, т. е. Набоковы, уже переехали в Выру, мать Тамары наконец поддалась на ее уговоры и сняла опять дачку в наших краях, и при этом, помнится, было поставлено дочери одно условие, которое та приняла с кроткой твердостью андерсеновской русалочки. И немедленно по ее приезде нас упоительно обволокло молодое лето, и вот — вижу ее, привставшую на цыпочки,

чтобы потянуть книзу ветку черемухи со сморщенными ягодами, и дерево, и небо, и жизнь играют у нее в смеющемся взоре, и от ее веселых усилий на жарком солнце расплывается темное пятно по желтой чесуче платья под ее поднятой рукой. Мы забирались очень далеко, в леса за Рождествено, в мшистую глубину бора, и купались в заветном затоне, и клялись в вечной любви, и собирали кольцовские цветы для венков, которые она, как всякая русская русалочка, так хорошо умела сплетать, и в конце лета она вернулась в Петербург, чтобы поступить на службу (это и было условие, поставленное ей), а затем несколько месяцев я не видел ее вовсе, будучи поглощен по душевной нерасторопности и сердечной бездарности разнообразными похождениями, которыми, я считал, молодой литератор должен заниматься для приобретения опыта. Эти переживания и осложнения, эти женские тени и измены, и опять стихи, и нелады с легкими, и санатория в снегах, все это сейчас, при восстановлении прошлого, мне не только ни к чему, но еще создает какое-то смещение фокуса, и как ни тереблю винтов наставленной памяти, многое уже не могу различить и не знаю, например, как и где мы с Тамарой расстались. Впрочем, для этого помутнения есть и другая причина: в разгар встреч мы слишком много играли на струнах разлуки. В то последнее наше лето, как бы упражняясь в ней, мы расставались навеки после каждого свидания, еженощно, на пепельной тропе или на старом мосту, со сложенными на нем тенями перил, между небесным месяцем и речным, я целовал ее теплые, мокрые веки и свежее от дождя лицо, и, отойдя, тотчас возвращался, чтобы проститься с нею еще раз, а потом долго взъезжал вверх, по крутой горе, к Выре, согнувшись вдвое, вжимая педали в упругий, чудовищно мокрый мрак, принимавший символическое значение какого-то ужаса

и горя, какой-то зловеще поднимавшейся силы, которую нельзя было растоптать.

С раздирающей душу угрюмой яркостью помню вечер в начале следующего лета, 1917 года, при последних вспышках еще свободной, еще приемлемой России. После целой зимы необъяснимой разлуки, вдруг, в дачном поезде, я опять увидел Тамару. Всего несколько минут, между двумя станциями, мы простояли с ней рядом в тамбуре грохочущего вагона. Я был в состоянии никогда прежде не испытанного смятения; меня душила смесь мучительной к ней любви, сожаления, удивления, стыда, и я нес фантастический вздор; она же спокойно ела шоколад, аккуратно отламывая квадратные дольки толстой плитки, и рассказывала про контору, где работала. С одной стороны полотна, над синеватым болотом, темный дым горящего торфа сливался с дотлевающими развалинами широкого оранжевого заката. Интересно, мог ли бы я доказать ссылкой на где-нибудь напечатанное свидетельство, что как раз в тот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти краски. Всем известно, какие закаты стояли знаменьями в том году над дымной Россией, и впоследствии, в полуавтобиографической повести, я почувствовал себя вправе связать это с воспоминанием о Тамаре; но тогда мне было не до того; никакая поэзия не могла украсить страдание. Поезд на минуту остановился. Раздался простодушный свирест кузнечика, — и, отвернувшись, Тамара опустила голову и сошла по ступеням вагона в жасмином насыщенную тьму.

3

В американском издании этой книги мне пришлось объяснить удивленному читателю, что эра кровопролития, концентрационных лагерей и заложничества началась немедленно после того, что Ленин и его помощники захватили власть. Зимой 1917 года демократия еще верила, что можно

предотвратить большевистскую диктатуру. Мой отец решил до последней возможности оставаться в Петербурге. Семью же он отправил в еще жилой Крым. Мы поехали двумя партиями; брат и я ехали отдельно от матери и трех младших детей. Мне было восемнадцать лет. В ускоренном порядке, за месяц до формального срока, я сдал выпускные экзамены и рассчитывал закончить образование в Англии, а затем организовать энтомологическую экспедицию в горы Западного Китая: все было очень просто и правдоподобно, и, в общем, многое сбылось. Весьма длительная поездка в Симферополь началась в довольно еще приличной атмосфере, вагон первого класса был жарко натоплен, лампы были целы, в коридоре стояла и барабанила по стеклу актриса, и у меня была с собой целая кипа беленьких книжечек стихов со всей гаммой тогдашних заглавий, т. е. от простецкого «Ноктюрны» до изысканного «Пороша». Где-то в середине России настроение испортилось: в поезд, включая наш спальный вагон, набились какие-то солдаты, возвращавшиеся с какого-то фронта восвояси. Мы с братом почему-то нашли забавным запереться в нашем купе и никого не впускать. Продолжая натиск, несколько солдат влезли на крышу вагона и пытались, не без некоторого успеха, употребить вентилятор нашего отделения в виде уборной. Когда замок двери не выдержал, Сергей, обладавший сценическими способностями, изобразил симптомы тифа, и нас оставили в покое. На третье, что ли, утро, едва рассвело, я воспользовался остановкой, чтобы выйти подышать свежим воздухом. Нелегко было пробираться по коридору через руки, лица и ноги вповалку спящих людей. Белесый туман висел над платформой безымянной станции. Мы находились где-то недалеко от Харькова. Я был, смешно вспомнить, в котелке, в белых гетрах и в руке держал трость из прадедовской коллекции, — трость светлого, прелестного, веснушчатого дерева, с круглым

коралловым набалдашником в золотой коронообразной оправе. Признаюсь, что, будь я на месте одного из тех трагических бродяг в солдатской шинели, я бы не удержался от соблазна схватить франта, прогуливавшегося по платформе, и уничтожить его. Только я собрался влезть обратно в вагон, как поезд дернулся, и от толчка тросточка моя выскользнула из рук и упала под поплывший поезд. Особенно привязан к ней я не был (через пять лет, в Берлине, я ее по небрежности потерял), но на меня смотрели из окон, и пыл молодого самолюбия заставил меня сделать то, на что сегодня бы никак не решился. Я дал проползти вагону, сонным или насмешливым лицам, следующему вагону, третьему, четвертому, всему составу (русские поезда, как известно, очень постепенно набирали скорость), и когда наконец обнажились рельсы, поднял лежавшую между ними трость и бросился догонять уменьшавшиеся, как в кошмаре, буфера. Крепкая пролетарская рука, следуя правилам сентиментальных романов наперекор наитиям марксизма, помогла мне взобраться на площадку последнего вагона. Но если бы я поезда не догнал или был бы нарочно выпущен из этих веселых объятий, правила жанра, может быть, не были бы нарушены, ибо я оказался бы недалеко от Тамары, которая уже переехала на юг и жила на хуторе, в каких-нибудь ста верстах от места моего глупого приключения.

4

О ее местопребывании я неожиданно узнал через месяц после того, как мы осели в Гаспре, около Кореиза. Крым показался мне совершенно чужой страной: все было не русское, запахи, звуки, потемкинская флора в парках побережья, сладковатый дымок, разлитый в воздухе татарских деревень, рев осла, крик муэдзина, его бирюзовая башенка на фоне персикового неба; все это решительно напоминало

Багдад, — и я немедленно окунулся в пушкинские ориенталии. И вот, вижу себя стоящим на кремнистой тропинке над белым как мел руслом ручья, отдельные струйки которого прозрачными дрожащими полосками оплетали яйцеподобные камни, через которые они текли, — и держащим в руках письмо от Тамары. Я смотрел на крутой обрыв Яйлы, по самые скалы венца обросший каракулем таврической сосны, на дубняк и магнолии между горой и морем; на вечернее перламутровое небо, где с персидской яркостью горел лунный серп, и рядом звезда, — и вдруг, с неменьшей силой, чем в последующие годы, я ощутил горечь и вдохновение изгнания. Тут не только влияли пушкинские элегии и привозные кипарисы, тут было настоящее; порукой этому было подлинное письмо невымышленной Тамары, и с тех пор на несколько лет потеря родины оставалась для меня равнозначной потере возлюбленной, пока писание, довольно, впрочем, неудачной, книги («Машенька») не утолило томления.

Между тем жизнь семьи коренным образом изменилась. За исключением некоторых драгоценностей, случайно захваченных и хитроумно схороненных в жестянках с туалетным тальком, у нас не оставалось ничего. Но не это было, конечно, существенно. Местное татарское правительство смели новенькие советы, из Севастополя прибыли опытные пулеметчики и палачи, и мы попали в самое скучное и унизительное положение, в котором могут быть люди, — то положение, когда вокруг все время ходит идиотская преждевременная смерть, оттого что хозяйничают человекоподобные и обижаются, если им что-нибудь не по ноздре. Тупая эта опасность плелась за нами до апреля 1918 года. На ялтинском молу, где Дама с Собачкой потеряла когда-то лорнет, большевистские матросы привязывали тяжести к ногам арестованных жителей и, поставив спиной к морю, расстреливали их;

год спустя водолаз докладывал, что на дне очутился в густой толпе стоящих навытяжку мертвецов. Избежав всяческие опасности на севере, отец к тому времени присоединился к нам, и, вероятно, в конце концов, до него бы добрались; какая-то странная атмосфера беспечности обволакивала жизнь. В своей Гаспре графиня Панина предоставила нам отдельный домик через сад, а в большом жили ее мать и отчим, Иван Ильич Петрункевич, старый друг и сподвижник моего отца. На террасе так недавно — всего каких-нибудь пятнадцать лет назад — сидели Толстой и Чехов. В некоторые ночи, когда особенно упорными становились слухи о грабежах и расстрелах, отец, брат и я почему-то выходили караулить сад. Однажды, в январе, что ли, к нам подкралась разбойничьего вида фигура, которая оказалась нашим бывшим шофером Цыгановым: он не задумался проехать от самого Петербурга на буфере, по всему пространству ледяной и звериной России, только для того, чтобы доставить нам деньги, посланные друзьями. Привез он и письма, пришедшие на наш петербургский адрес (неистребимость почты всегда поражала меня), и среди них было то первое письмо от Тамары, которое я читал под каплей звезды. Прожив у нас с месяц, Цыганов заявил, что крымская природа ему надоела, и отправился тем же способом на север, с большим мешком за плечами, набитым различными предметами, которые мы бы с удовольствием ему отдали, знай мы, что ему приглянулись все эти ночные сорочки, пикейные жилеты, теннисные туфли, дорожные часы, утюг, неуклюжий пресс для штанов, еще какая-то чепуха: полный список мы получили от горничной, чьих бледных чар он, кажется, тоже не пощадил. Любопытно, что, сразу разгадав секрет туалетного талька, он уговорил мать перевести эти кольца и жемчуга в более классическое место и сам вырыл для них в саду яму, где они оказались в полной сохранности после его отъезда.

Розовый дымок цветущего миндаля уже оживлял прибрежные склоны, и я давно занимался первыми бабочками, когда большевики исчезли и скромно появились немцы. Они кое-что подправили на виллах, откуда эвакуировались комиссары, и отбыли, в свою очередь. Их сменила добровольческая армия. Отец вошел министром юстиции в Крымское краевое правительство и уехал в Симферополь, а мы переселились в Ливадию. Ялта ожила. Как почему-то водилось в те годы, немедленно возникли всякие театральные предприятия, начиная с удручающе вульгарных кабаре и кончая киносъемками «Хаджи-Мурата». Однажды, поднимаясь на Ай-Петри в поисках местного подвида испанской сатириды, я встретился на горной тропе со странным всадником в черкеске. Его лицо было удивительным образом расписано желтой краской, и он не переставая, неуклюже и гневно, дергал поводья лошади, которая, не обращая никакого внимания на всадника, спускалась по крутой тропе, с сосредоточенным выражением гостя, решившего по личным соображениям покинуть шумную вечеринку. В несчастном Хаджи я узнал столь знакомого нам с Тамарой актера Мозжухина, которого лошадь уносила со съемки. «Держите проклятое животное», — сказал он, увидев меня, но в ту же минуту, с хрустом и грохотом осыпи, поддельного Хаджи нагнало двое настоящих татар, а я со своей рампеткой продолжал подниматься сквозь бор и буковый лес к зубчатым скалам.

В течение всего лета я переписывался с Тамарой. Насколько прекраснее были ее удивительные письма витиеватых и банальных стишков, которые я когда-то ей посвящал; с какой силой и яркостью воскрешала она северную деревню! Слова ее были бедны, слог был обычным для восемнадцатилетней барышни, но интонация... интонация была исключительно чистая и таинственным образом превращала ее мысли

в особенную музыку. «Боже, где оно — все это далекое, светлое, милое!» Вот этот звук дословно помню из одного ее письма, — и никогда впоследствии не удалось мне лучше нее выразить тоску по прошлому.

Этим письмам ее, этим тогдашним мечтам о ней я обязан особому оттенку, в который с тех пор окрасилась тоска по родине. Она впилась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать ее можно только с жизнью. Ныне, если воображаю колтунную траву Яйлы, или Уральское ущелье, или солончаки за Аральским морем, я остаюсь столь же холоден в патриотическом и ностальгическом смысле, как в отношении, скажем, полынной полосы Невады или рододендронов Голубых Гор; но дайте мне, на любом материке, лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда душа вся перевертывается. Каково было бы в самом деле увидать опять Выру и Рождествено, мне трудно представить себе, несмотря на большой опыт. Часто думаю: вот, съезжу туда с подложным паспортом, под фамильей Никербокер. Это можно было бы сделать.

Но вряд ли я когда-либо сделаю это. Слишком долго, слишком праздно, слишком расточительно я об этом мечтал. Я промотал мечту. Разглядываньем мучительных миниатюр, мелким шрифтом, двойным светом я безнадежно испортил себе внутреннее зрение. Совершенно так же я истратился, когда в 1918 году мечтал, что к зиме, когда покончу с энтомологическими прогулками, поступлю в Деникинскую армию и доберусь до Тамариного хуторка; но зима прошла — и я все еще собирался, а в марте Крым стал крошиться под напором красных, и началась эвакуация. На небольшом греческом судне «Надежда», с грузом сушеных фруктов возвращавшемся в Пирей, мы в начале апреля вышли из севастопольской бухты. Порт уже был захвачен большевиками, шла беспорядочная стрельба, ее звук, последний звук России,

стал замирать, но берег все еще вспыхивал, не то вечерним солнцем в стеклах, не то беззвучными отдаленными взрывами, и я старался сосредоточить мысли на шахматной партии, которую играл с отцом (у одного из коней не хватало головы, покерная фишка заменяла недостающую ладью), и я не знаю, что было потом с Тамарой.

Глава двенадцатая

1

Летом 1919 года мы поселились в Лондоне. Отец и раньше бывал в Англии, а в феврале 1916 года приезжал туда, с пятью другими видными деятелями печати (среди них были Алексей Толстой, Немирович-Данченко, Чуковский), по приглашению британского правительства, желавшего показать им свою военную деятельность, которая недостаточно оценивалась русским общественным мнением. Были обеды и речи. Во время аудиенции у Георга Пятого Чуковский, как многие русские преувеличивавший литературное значение автора «Дориана Грея», внезапно, на невероятном своем английском языке, стал добиваться у короля, нравятся ли ему произведения — «дзи воркс» — Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, не намного лучше английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман — «бруар»? Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества, — замалчивания гения писателя из-за безнравственности его личной жизни.

Об этом и о других забавных недоразумениях отец замечательно рассказывал за обеденным столом, но в его книжке

«Из воюющей Англии» (Петроград, 1916 г.) я нахожу мало примеров его обычного юмора: он не был писателем, и я не слышу его голоса, например, в описании посещения английских окопов во Фландрии, где гостеприимство хозяев любезно включило даже взрыв немецкого снаряда вблизи посетителей. Отчет этот сначала печатался в «Речи»; в одной из статей отец рассказал, с несколько старосветским простодушием, о том, как он подарил свое вечное перо «Swan» адмиралу Джеллико, который за завтраком занял его, чтобы автографировать меню, и похвалил его плавность. Неуместное обнародование названия фирмы получило немедленный отклик в огромном газетном объявлении от фирмы «Mabie, Todd & Co., Ltd.», которая цитировала отца и изображала его на рисунке предлагающим ее изделие командиру флота под хаотическим небом морского сражения.

Но теперь, три года спустя, не было ни речей, ни банкетов. После года пребывания в Лондоне отец с матерью и тремя младшими детьми переехал в Берлин (где до своей смерти 28 марта 1922 года редактировал с И. В. Гессеном антисоветскую газету «Руль»), между тем как брат мой и я поступили осенью 1919 года в Кембриджский университет — он в Christ's College, а я в Trinity.

2

Помню мутный, мокрый и мрачный октябрьский день, когда с неловким чувством, что участвую в каком-то ряженье, я в первый раз надел тонкотканый иссиня-черный плащ средневекового покроя и черный квадратный головной убор с кисточкой, чтобы представиться Гаррисону, моему «тютору», наставнику, следящему за успехами студента. Обойдя пустынный и туманный двор колледжа, я поднялся по указанной мне лестнице и постучал в слегка приоткрытую массивную дверь. Далекий голос отрывисто пригласил

войти. Я миновал небольшую прихожую и попал в просторный кабинет. Сумерки опередили меня; в кабинете не было света, кроме пышущего огня в большом камине, около которого сидела темная фигура. Я подошел со словами «Моя фамилья» — и вступил в чайные принадлежности, стоявшие на ковре около низкого камышового кресла Гаррисона. С недовольным кряком он наклонился с сиденья и зачерпнул с ковра в небрезгливую горсть, а затем шлепнул обратно в чайник черное месиво чайных листьев. Так студенческий цикл моей жизни начался с неловкости, и этим предопределилась длинная серия неуклюжестей, ошибок и всякого рода неудач и глупостей, включая романтические, которые преследовали меня в продолжение трех-четырех последовавших лет.



В. Набоков. Кембридж, ноябрь, 1919 г.

Гаррисону показалась блестящей идея дать мне в сожители другого White Russian[68], так что сначала я делил квартирку в Trinity Lane с несколько озадаченным соотечественником, который все советовал мне, дабы восполнить непонятные пробелы в моем образовании, почитать «Протоколы сионских мудрецов» да какую-то вторую книгу, попавшуюся ему в жизни, кажется «L'homme qui Assassina»[69] Фаррера. В конце года он, не выдержав первокурсных экзаменов, вынужден был согласно регламенту покинуть Кембридж, и остальные два года я жил один. Апартаменты, которые я занимал, поражали меня своим убожеством по сравнению с обстановкой моего русского детства, ибо, — как теперь мне ясно, — я, метя в Англию, рассчитывал попасть не в какое-то неизвестное продолжение юности, а назад, в красочное младенчество, которому именно Англия, ее язык, книги и вещи придавали нарядность и сказочность. Вместо этого был просиженный, пылью пахнущий диван, мещанские подушечки, тарелки на стене, раковины на камине и, на видном месте, ветхая пианола с грыжей, ужасные, истошные и трудные звуки которой квартирная хозяйка позволяла и даже просила выдавливать в любой день, кроме воскресений. То, что кто-то совершенно посторонний мог мне что-нибудь позволять или запрещать, было мне настолько внове, что сначала я был уверен, что штрафы, которыми толстомордые колледжевые швейцары в котелках грозили, скажем, за гулянье по мураве, — просто традиционная шутка. Мимо моего окна шел к службам пятисотлетний переулочек, вдоль которого серела глухая стена. В спальне не полагалось топить. Из всех щелей дуло, постель была как глетчер, в кувшине за ночь набирался лед, не было ни ванны, ни даже

[68] «Белый» русский *(англ.)*.

[69] «Человек, который убил» *(фр.)*.

проточной воды; приходилось поэтому по утрам совершать унылое паломничество в ванное заведение при колледже, идти по моему переулочку среди туманной стужи, в тонком халате поверх пижамы, с губкой в клеенчатом мешке под мышкой. Я часто простужался, но ничто в мире не могло бы заставить меня носить те нательные фуфайки, чуть ли не из медвежьей шерсти, которые англичане носили под сорочкой, после чего поражали иностранца тем, что зимой гуляли без пальто. Рядовой кембриджский студент носил башмаки на резиновых подошвах, темно-серые фланелевые панталоны, бурый вязаный жилет с рукавами (джемпер) и спортивный пиджак с хлястиком. Модники предпочитали пиджак от хорошего костюма, ярко-желтый джемпер, бледно-серые фланелевые штаны и старые бальные туфли. Пора моих онегинских забот длилась недолго, но живо помню, как было приятно открыть существование рубашек с пришитыми воротничками и необязательность подвязок. Не буду продолжать опись этих маскарадных впечатлений. Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности, — величественные ильмы, расписные окна, башенные часы с курантами, аркады, серо-розовые стены в пиковых тузах плюща, — не имеют сами по себе никакого значения, существуя только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно к нему относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей, тогда малоосознанной, любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить. Под бременем этой любви я сидел

часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, от разымчивой банальности тлеющих углей, одиночества, отдаленных курантов, — и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увезти с собой, кабы предвидел разлуку.



В. В. Набоков, студент-первокурсник
Колледж Св. Троицы в Кембриджском университете, весна 1920 г.

Некоторым моим собратьям по изгнанию эти чувства были столь очевидны и знакомы, что заговорить о них даже в том приглушенном тоне, которого стараюсь придерживаться сейчас, показалось бы лишним и неприличным. Когда же мне случалось беседовать о том о сем с наиболее темными и реакционными из русских в Англии, я замечал, что патриотизм и политика сводились у них к животной злобе, направленной против Керенского скорей, чем Ленина, и зависевшей исключительно от материальных неудобств и потерь. Тут особенно разговаривать было нечего; гораздо сложнее обстояло дело с теми английскими моими знакомыми, которые считались — и которых я сам считал — культурными, тонкими, человеколюбивыми, либеральными людьми, но которые, несмотря на свою духовную изысканность, начинали нести гнетущий вздор, как только речь заходила о России. Мне особенно вспоминается один студент, прошедший через войну и бывший года на четыре старше меня: он называл себя социалистом, писал стихи без рифм и был замечательным экспертом по (скажем) египетской истории. Это был долговязый великан, с зачаточной лысиной и лошадиной челюстью, и его медлительные и сложные манипуляции трубкой раздражали собеседника, не соглашавшегося с ним, но в другое время пленяли своей комфортабельностью. Странно вспомнить, я в те годы «спорил о политике», — много и мучительно спорил с ним о России, в которой он, конечно, никогда не был; горечь исчезала, как только он начинал говорить о любимых наших английских поэтах; ныне он у себя на родине крупный ученый; назову его Бомстон, как Руссо назвал своего дивного лорда.

Говорят, что в ленинскую пору сочувствие большевизму со стороны английских и американских передовых кругов основано было на соображениях внутренней политики. Мне кажется, что в значительной мере оно зависело от простого невежества. То немногое, что мой Бомстон и его друзья знали

о России, пришло на запад из коммунистических мутных источников. Когда я допытывался у гуманнейшего Бомстона, как же он оправдывает презренный и мерзостный террор, установленный Лениным, пытки и расстрелы и всякую другую полоумную расправу, — Бомстон выбивал трубку о чугун очага, менял положение громадных скрещенных ног и говорил, что, не будь союзной блокады, не было бы и террора. Всех русских эмигрантов, всех врагов Советов, от меньшевика до монархиста, он преспокойно сбивал в кучу «царистских элементов» и, что бы я ни кричал, полагал, что князь Львов родственник государя, а Милюков бывший царский министр. Ему никогда не приходило в голову, что если бы он и другие иностранные идеалисты были русскими в России, их бы ленинский режим истребил немедленно. По его мнению, то, что он довольно жеманно называл «некоторое единообразие политических убеждений» при большевиках, было следствием «отсутствия всякой традиции свободомыслия» в России. Особенно меня раздражало отношение Бомстона к самому Ильичу, который, как известно всякому образованному русскому, был совершенный мещанин в своем отношении к искусству, знал Пушкина по Чайковскому и Белинскому и «не одобрял модернистов», причем под «модернистами» понимал Луначарского и каких-то шумных итальянцев; но для Бомстона и его друзей, столь тонко судивших о Донне и Хопкинсе, столь хорошо понимавших разные прелестные подробности в только что появившейся главе об искусе Леопольда Блума, наш убогий Ленин был чувствительнейшим, проницательнейшим знатоком и поборником новейших течений в литературе, и Бомстон только снисходительно улыбался, когда я, продолжая кричать, доказывал ему, что связь между передовым в политике и передовым в поэтике — связь чисто словесная (чем, конечно, радостно пользовалась советская пропаганда) и что на самом деле чем

радикальнее русский человек в своих политических взглядах, тем обыкновенно консервативнее он в художественных.

Я нашел способ расшевелить немножко невозмутимость Бомстона, только когда я стал развивать ему мысль, что русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения: во-первых, как своеобразную эволюцию полиции (странно безличной и как бы даже отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящей правительство в зверствах — и ныне достигшей такого расцвета); а во-вторых, как развитие изумительной, вольнолюбивой культуры. Эти труизмы встречались английскими интеллигентами с удивлением, досадой и насмешкой, между тем как молодые англичане ультраконсервативные (как, например, двое высокородных двоюродных братьев Бомстона) охотно поддерживали меня, но делали это из таких грубо реакционных соображений и орудовали такими простыми черносотенными понятиями, что мне было только неловко от их презренной поддержки. Я, кстати, горжусь, что уже тогда, в моей туманной, но независимой юности, разглядел признаки того, что с такой страшной очевидностью выяснилось ныне, когда постепенно образовался некий семейный круг, связывающий представителей всех наций: жовиальных строителей империи на своих просеках среди джунглей; немецких мистиков и палачей; матерых погромщиков из славян; жилистого американца-линчера; и, на продолжении того же семейного круга, тех одинаковых, мордастых, довольно бледных и пухлых автоматов с широкими квадратными плечами, которых советская власть производит ныне в таком изобилии после тридцати с лишним лет искусственного подбора.

3

Очень скоро я бросил политику и весь отдался литературе. Из моего английского камина заполыхали на меня те

червленые щиты и синие молнии, которыми началась русская словесность. Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего мира. Я зачитывался великолепной описательной прозой великих русских естествоиспытателей и путешественников, открывавших новых птиц и насекомых в Средней Азии. Однажды, на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашел на книжном лотке среди подержанных Гомеров и Горациев Толковый словарь Даля в четырех томах. Я приобрел его за полкроны и читал его, по несколько страниц ежевечерно, отмечая прелестные слова и выражения: «ольял» — будка на баржах (теперь уже поздно, никогда не пригодится). Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России, стал прямо болезнью. Окруженный не то романтическими развалинами, не то донкихотским нагромождением томов (тут был и Мельников-Печерский, и старые русские журналы в мраморных переплетах), я мастерил и лакировал мертвые русские стихи, которые вырастали и отвердевали, как блестящие опухоли, вокруг какого-нибудь словесного образа. Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно — стилистическую зависимость моих русских построений от тех английских поэтов, от Марвелля до Хаусмана, которыми был заражен самый воздух моего тогдашнего быта. Но Боже мой, как я работал над своими ямбами, как пестовал их пеоны — и как радуюсь теперь, что так мало из своих кембриджских стихов напечатал. Внезапно, на туманном ноябрьском рассвете, я приходил в себя и замечал, как тихо, как холодно. Тошнило от выкуренных двадцати турецких папирос. И все же я долго еще не мог заставить себя перейти в спальню, боясь не столько бессонницы, сколько сердечных перебоев да того редкого, хоть и пустого недуга, которому я всегда был подвержен, anxietas tibiarum — когда ноги «тянет», как у беременной женщины. В камине что-то еще тлело под пеплом: зловещий

закат сквозь лишаи бора; — и, подкинув еще угля, я устраивал тягу, затянув пасть камина сверху донизу двойным листом лондонского «Таймза». Начиналось приятное гудение за бумагой, тугой, как барабанная шкура, и прекрасной, как пергамент на свет. Гуд превращался в гул, а там и в могучий рев, оранжево-темное пятно появлялось посредине страницы, оно вдруг взрывалось пламенем, и огромный горящий лист с фырчащим шумом освобожденного феникса улетал в трубу к звездам. Приходилось платить несколько шиллингов штрафа, если властям доносили об этой жар-птице.

Литературная братия, Бомстон и его несколько упадочный кружок, и какие-то молодые люди, пишущие триолеты, весьма сочувствовали моим ночным трудам, но зато не одобряли множества других моих интересов, как, например: энтомология, местные красавицы и спорт. Я особенно увлекался футболом, тем, что называли футболом в России и старой Англии, а в Америке называют соккер. Как иной рождается гусаром, так я родился голкипером. В России и вообще на континенте, особенно в Италии и в Испании, доблестное искусство вратаря искони окружено ореолом особого романтизма. В его одинокости и независимости есть что-то байроническое. На знаменитого голкипера, идущего по улице, глазеют дети и девушки. Он соперничает с матадором и с гонщиком в загадочном обаянии. Он носит собственную форму; его вольного образца светер, фуражка, толстозабинтованные колени, перчатки, торчащие из заднего кармана трусиков, резко отделяют его от десяти остальных одинаково полосатых членов команды. Он белая ворона, он железная маска, он последний защитник. Во время матча фотографы поблизости гола, благоговейно преклонив одно колено, снимают его, когда он ласточкой ныряет, чтобы концами пальцев чудом задеть и парировать молниеносный удар «шут» в угол, или когда, чтобы обнять мяч, он бросается

головой вперед под яростные ноги нападающих, — и каким ревом исходит стадион, когда герой остается лежать ничком на земле перед своим незапятнанным голом.

Увы, в Англии, на родине футбола, некоторая угрюмость, сопряженная со всяким спортом, национальный страх перед показным блеском и слишком большое внимание к солидной сыгранности всей команды мало поощряли причудливые стороны голкиперского искусства. По крайней мере, этими соображениями я старался объяснить мое, не столь удачное, как мечталось, участие в университетском футболе. Мне не везло, — а кроме того, мне все совали в обременительный пример моего предшественника и соотечественника Хомякова, действительно изумительного вратаря, — вроде того, как чеховского Тригорина критики донимали ссылками на Тургенева. О, разумеется, были блистательные бодрые дни на футбольном поле, запах земли и травы, волнение важного состязания, — и вот, вырывается и близится знаменитый форвард противника, и ведет новый желтый мяч, и вот, с пушечной силой бьет по моему голу, — и жужжит в пальцах огонь от отклоненного удара. Но были и другие, более памятные, более эзотерические дни, под тяжелыми зимними небесами, когда пространство перед моими воротами представляло собой сплошную жижу черной грязи, и мяч был точно обмазан салом, и болела голова после бессонной ночи, посвященной составлению стихов, погибших к утру. Изменял глазомер, — и, пропустив второй гол, я с чувством, что жизнь вздор, вынимал мяч из задней сетки. Затем наша сторона начинала напирать, игра переходила на другой конец поля. Накрапывал нудный дождь, переставал, как в «Скупом Рыцаре», и шел опять. С какой-то воркующей нежностью кричали галки, возясь в безлиственном ильме. Собирался туман. Игра сводилась к неясному мельканью силуэтов у едва зримых ворот противника. Далекие невнятные звуки пинков, свисток,

опять мутное мелькание — все это никак не относилось ко мне. Сложив руки на груди и прислонившись к левой штанге ворот, я позволял себе роскошь закрыть глаза, и в таком положении слушал плотный стук сердца, и ощущал слепую морось на лице, и слышал звуки все еще далекой игры, и думал о себе как об экзотическом существе, переодетом английским футболистом и сочиняющим стихи, на никому не известном наречии, о заморской стране. Неудивительно, что товарищи мои по команде не очень меня жаловали.

Но странно: что-то было такое в Кембридже... Не футбол, не крики газетчиков в сгущающейся темноте, не крепкий чай с розовыми и зелеными пирожными, — словом, не преходящая мода и не чувствам доступные подробности, а тонкая сущность, которую я теперь бы определил как приволье времени и простор веков. На что ни посмотришь кругом, ничто не было стеснено или занавешено по отношению к стихии времени; напротив, всюду зияли отверстия в его сизую стихию, так что мысль привыкала работать в особенно чистой и вольной среде. Из-за того, что в физическом пространстве это было не так, т. е. тело стесняли узкий переулок, стенами заставленный газон, темные прохлады и арки, душа особенно живо воспринимала свободные дали времени и веков. У меня не было ни малейшего интереса к истории Кембриджа или Англии, и я был уверен, что Кембридж никак не действует на мою душу; однако именно Кембридж снабжал меня и мое русское раздумье не только рамой, но и ритмом. На независимого юношу среда только тогда влияет, когда в нем уже заложена восприимчивая частица; такой частицей было во мне все то английское, чем питалось мое детство. Мне впервые стало это ясно в последнюю мою кембриджскую весну, когда я почувствовал себя в таком же естественном соприкосновении с непосредственной средой, в каком я был с моим русским прошлым, и этого состояния гармонии

я достиг в ту минуту, когда то, чем я только и занимался три года, кропотливая реставрация моей, может быть, искусственной, но восхитительной России была наконец закончена, т. е. я уже знал, что закрепил ее в душе навсегда. Один из немногих «утилитарных» грехов на моей совести — это то, что я употребил (очень, правда, небольшую) долю этого драгоценного материала для легкой и успешной сдачи экзаменов. Едва ли не самым замысловатым вопросом было предложение описать сад Плюшкина, — тот сад, который Гоголь так живописно завалил всем, что набрал из мастерских русских художников в Риме.

4

Не стыжусь нежности, с которой вспоминаю задумчивое движение по кембриджской узкой и излучистой реке, сладостный гавайский вой граммофонов, плывших сквозь тень и свет, и ленивую руку той или другой Виолетты, вращавшей свой цветной парасоль, откинувшись на подушки своеобразной гондолы, которую я неспешно подвигал при помощи шеста. Белые и розовые каштаны были в полном цвету: их громады толпились по берегам, вытесняя небо из реки, и особое сочетание их листьев и конусообразных соцветий составляло картину, как бы вытканную en escalier. Теплый воздух пропитан был до странности крымскими запахами, чуть ли не мушмулой. Три арки каменного, венецианского вида мостика, перекинутого через узкую речку, образовали в соединении со своими отражениями в воде три волшебных овала, и в свою очередь вода наводила переливающийся отсвет на внутреннюю сторону свода, под который скользила моя гондола. Порою лепесток, роняемый цветущим деревом, медленно падал и со странным чувством, что, наперекор жрецам, подсматриваешь нечто такое, чего ни богомольцу, ни туристу видеть не следует, я старался схватить взглядом отражение этого лепестка, которое значительно быстрее,

чем он падал, поднималось к нему навстречу; и было страшно, что фокус не выйдет, что благословленное жрецами масло не загорится, что отражение промахнется и лепесток без него поплывет по течению; но всякий раз очарованное соединение удавалось, — с точностью слов поэта, которые встречают на полпути его или читательское воспоминание.

5

Вновь посетив Англию после семнадцатилетнего перерыва, я допустил грубую ошибку, а именно отправился в Кембридж не в тихо сияющий майский день, а под ледяным февральским дождем, который всего лишь напомнил мне мою старую тоску по родине. Милорд Бомстон, теперь профессор Бомстон, с рассеянным видом повел меня завтракать в ресторан, который я хорошо знал и который должен бы был обдать меня воспоминаниями, но переменилась вся обстановка, даже потолок перекрасили, и окно в памяти не отворилось. Бомстон бросил курить. Его черты смягчились, его мысли полиняли. В этот день его занимало какое-то совершенно постороннее обстоятельство (что-то насчет его незамужней сестры, жившей у него в экономках, — она, кажется, заболела, и ее должны были оперировать в этот день), и, как бывает у однодумов, эта побочная забота явно мешала ему хорошенько сосредоточиться на том очень важном и спешном деле, в котором я так надеялся на его совет. Мебель была другая, форма у подавальщиц была другая, без тех фиолетовых бантов в волосах, и ни одна из них не была и наполовину столь привлекательна, как та, в пыльном луче прошлого, которую я так живо помнил. Разговор разваливался, и Бомстон уцепился за политику. Дело было уже в конце тридцатых годов, и бывшие попутчики из эстетов теперь поносили Сталина (перед которым, впрочем, им еще предстояло умилиться в пору Второй мировой войны). В свое время, в начале двадцатых годов, Бомстон, по невеже-

ству своему, принимал собственный восторженный идеализм за нечто романтическое и гуманное в мерзостном ленинском режиме. Теперь, в не менее мерзостное царствование Сталина, он опять ошибался, ибо принимал количественное расширение своих знаний за какую-то качественную перемену к худшему в эволюции советской власти. Гром «чисток», который ударил в «старых большевиков», героев его юности, потряс Бомстона до глубины души, чего в молодости, в дни Ленина, не могли сделать с ним никакие стоны из Соловков и с Лубянки. С ужасом и отвращением он теперь произносил имена Ежова и Ягоды, но совершенно не помнил их предшественников, Урицкого и Дзержинского. Между тем как время исправило его взгляд на текущие советские дела, ему не приходило в голову пересмотреть и, может быть, осудить, восторженные и невежественные предубеждения его юности: оглядываясь на короткую ленинскую эру, он все видел в ней нечто вроде quinquennium Neronis[70].

Бомстон посмотрел на часы, и я посмотрел на часы тоже, и мы расстались, и я пошел бродить под дождем по городу, а затем посетил знаменитый парк моего бывшего колледжа, и в черных ильмах нашел знакомых галок, а в дымчато-бисерной траве — первые крокусы, словно крашенные посредством пасхальной химии. Снова гуляя под этими столь воспетыми деревьями, я тщетно пытался достичь по отношению к своим студенческим годам того же пронзительного и трепетного чувства прошлого, которое тогда, в те годы, я испытывал к своему отрочеству.

Ненастный день сузился до бледно-желтой полоски на сером западе, когда, решив перед отъездом посетить моего старого тютора Гаррисона, я направился через знакомый двор, где в тумане проходили призраки в черных плащах. Я поднялся по знакомой лестнице, узнавая подробности,

---

[70] Нероновское пятилетие *(лат.).*

которых не вспоминал семнадцать лет, и автоматически постучал в знакомую дверь. Только тут я подумал, что напрасно я не узнал у Бомстона, не умер ли Гаррисон, — но он не умер, на мой стук отозвался издалека знакомый голос. «Не знаю, помните ли вы меня», — начал я, идя через кабинет к тому месту, где он сидел у камина. «Кто же вы? — произнес он, медленно поворачиваясь в своем низком кресле. — Я как будто не совсем...» Тут, с отвратительным треском и хрустом, я вступил в поднос с чайной посудой, стоявшей на ковре у его кресла. «Да, конечно, — сказал Гаррисон, — конечно, я вас помню».

Глава тринадцатая

1

Спираль — одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столь популярной в России гегелевская триада, в сущности, выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завои следуют один за другим, и каждый синтез представляет собой тезис следующей тройственной серии. Возьмем простейшую спираль, т. е. такую, которая состоит из трех загибов, или дуг. Назовем тезисом первую дугу, с которой спираль начинается в некоем центре. Антитезисом будет тогда дуга покрупнее, которая противополагается первой, продолжая ее; синтезом же будет та, еще более крупная, дуга, которая продолжает предыдущую, заворачиваясь вдоль наружной стороны первого загиба.

Цветная спираль в стеклянном шарике — вот модель моей жизни. Дуга тезиса — это мой двадцатилетний русский период (1899–1919). Антитезисом служит пора эмиграции (1919–1940), проведенная в Западной Европе. Те четырна-

дцать лет (1940–1954), которые я провел уже на новой моей родине, намечают как будто начавшийся синтез. Позвольте мне заняться антитезисом. Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать. Туземцы эти были как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой. Но увы, призрачные нации, сквозь которые мы и русские музы беспечно скользили, вдруг отвратительно содрогались и отвердевали; студень превращался в бетон и ясно показывал нам, кто, собственно, бесплотный пленник и кто жирный хан. Наша безнадежная физическая зависимость от того или другого государства становилась особенно очевидной, когда приходилось добывать или продлевать какую-нибудь дурацкую визу, какую-нибудь шутовскую карт д'идантите, ибо тогда немедленно жадный бюрократический ад норовил засосать просителя, и он изнывал и чах, пока пухли его досье на полках у всяких консулов и полицейских чиновников. Бледно-зеленый несчастный нансенский паспорт был хуже волчьего билета; переезд из одной страны в другую бывал сопряжен с фантастическими затруднениями и задержками. Английские, немецкие, французские власти где-то, в мутной глубине своих гланд, хранили интересную идейку, что, как бы, дескать, плоха ни была исходная страна (в данном случае советская Россия), всякий беглец из своей страны должен априори считаться презренным и подозрительным, ибо он существует вне какой-либо национальной администрации. Не все русские эмигранты, конечно,

кротко соглашались быть изгоями и привидениями. Некоторым из нас сладко вспоминать, как мы осаживали или обманывали всяких высших чиновников, гнусных крыс, в разных министерствах, префектурах и полицейпрезидиумах.

2

Американские мои друзья явно не верят мне, когда я рассказываю, что за пятнадцать лет жизни в Германии я не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. Перебирая в памяти мои очень немногие и совершенно случайные встречи с берлинскими туземцами, я выделил в английской версии этих заметок немецкого студента, которому я, кажется, исправлял какие-то письма, посылавшиеся им кузине в Америку. Это был тихий, приличный, благополучный молодой человек в очках, изучавший гуманитарные науки в университете. Кто только не измывался в Эпоху Разума над собирателями бабочек — тут и Лабрюйер в шестом издании (1691) своих «Характеров», презрительно отмечающий, что иной модник любит насекомых и рыдает над умершей гусеницей, тут и пудреные англичане Гей и Поп, небрежно упоминающие в стихах о глуповатых философах, доводящих науку до абсурда тем, что гоняются за красивыми насекомыми, которых столь ценят любознательные немцы. И вот интересно, что бы сказали эти моралисты о коньке молодого немца моего улова в 1930 году: он коллекционировал фотографические снимки казней. Уже при второй встрече он показал мне купленную им серию («Ein bischen retouchiert»[71], — грустно сказал он, наморщив веснушчатый нос), изображавшую разные моменты заурядной декапитации в Китае; он с большим знанием дела указывал на красоту роковой

[71] Слегка ретушировано *(нем.)*.

сабли и на прекрасную атмосферу той полной кооперативности между палачом и пациентом, которая, на очень ясном снимке, заканчивалась феноменальным гейзером дымчато-серой крови. Небольшое состояние позволяло молодому собирателю довольно много разъезжать. Он жаловался, впрочем, что ему не везет. На Балканах он присутствовал при двух-трех посредственных повешениях, а на бульваре Араго в пленительном Париже на широко рекламированной, но оказавшейся весьма убогой и механической «гиль-отинаде» (как он выражался, думая, что это по-французски); как-то всегда так выходило, что ему было плохо видно, пропадали детали, и не удавалось ничего интересного снять дорогим аппаратиком, спрятанным в рукаве макинтоша. Несмотря на сильнейшую простуду, он недавно ездил в Регенсбург, где казнь совершалась по старинке, при помощи топора; он ожидал многого от этого зрелища, но, к величайшему разочарованию, осужденному, по-видимому, дали наркотическое средство, вследствие чего дурень едва реагировал, только вяло шлепался об землю, борясь с неловкими, падающими на него, помощниками палача. Дитрих, так звали молодого любителя, надеялся когда-нибудь попасть в Америку, чтобы посмотреть электрокуцию, и, мечтательно хмурясь, спрашивал себя, неужели правда, что во время этой операции сенсационные облачки дыма выходят из природных отверстий содрогающегося тела. При третьей, и, к сожалению, последней, встрече (сколько еще было штрихов в этом Дитрихе, которые мне хотелось добрать и сохранить для писательских нужд!), он, не сердясь — хотя было на что сердиться, — а, напротив, с кроткой печалью рассказал, что недавно провел целую ночь, терпеливо наблюдая за приятелем, который решил покончить с собой и после некоторых уговоров согласился проделать это в присутствии Дитриха, но, увы, приятель оказался бесчестным обманщиком и, вместо того чтобы выстрелить себе в рот, как было

обещано, грубо напился и к утру был в самом наглом настроении — хохотал и брился. Я давно потерял из виду милого Дитриха, но вполне ясно представляю себе выражение совершенного удовлетворения и облегчения («...наконец-то...») в его светлых форелевых глазах, когда он нынче, в гемютном немецком городке, избежавшем бомбежки, в кругу других ветеранов гитлеровских походов и опытов, демонстрирует друзьям, которые с гоготом добродушного восхищения («Дизер Дитрих!») бьют себя ладонью по ляжке, те абсолютно вундербар фотографии, которые так неожиданно, и дешево, ему за те годы посчастливилось снять.

3

Почти все, что могу сказать о берлинской поре моей жизни (1922–1937), издержано мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал. Сначала эмигрантских гонораров не могло хватать на жизнь. Я усердно давал уроки английского и французского, а также и тенниса. Много переводил — начиная с «Alice in Wonderland»[72] (за русскую версию которой получил пять долларов) и кончая всем чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов. Однажды, в двадцатых годах, я составил для «Руля» новинку, — шараду, вроде тех, которые появлялись в лондонских газетах, — и тогда-то я и придумал новое слово «крестословица», столь крепко вошедшее в обиход.

О «Руле» вспоминаю с большой благодарностью. Иосиф Владимирович Гессен был моим первым читателем. Задолго до того, как в его же издательстве стали выходить мои книги, он с отеческим попустительством мне давал питать «Руль» незрелыми стихами. Синева берлинских сумерек, шатер углового каштана, легкое головокружение, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой

---

[72] «Алиса в Стране чудес» *(англ.)*.

рекламы и животная тоска по еще свежей России, — все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где И. В. близко подносил лист к лицу. Уже к концу двадцатых годов стали приносить приличные деньги переводные права моих книг, и в 1929 году мы с тобой поехали ловить бабочек в Пиренеях. В конце тридцатых годов мы и вовсе покинули Германию, а до того, в течение нескольких лет, я навещал Париж для публичных чтений и тогда обычно стоял у Ильи Исидоровича Фондаминского. Политические и религиозные его интересы мне были чужды, нрав и навыки были у нас совершенно различные, мою литературу он больше принимал на веру, — и все это не имело никакого значения. Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий проникался к нему редкой нежностью и уважением. Одно время я жил у него в маленьком будуаре рядом со столовой, где часто происходили по вечерам собрания, на которые хозяин благоразумно меня не пускал. Замешкав с уходом, я иногда невольно попадал в положение пленного подслушивателя; помнится, однажды двое литераторов, спозаранку явившихся в эту соседнюю столовую, заговорили обо мне. «Что, были вчера на вечере Сирина?» — «Был». — «Ну как?» — «Да так, знаете». Диалог, к сожалению, прервал третий гость, вошедший с приветствием: «Бонжур, мсье-дам»: почему-то выражения, свойственные французским почтальонам, казались нашим поэтам тонкостями парижского стиля. Русских литераторов набралось за границей чрезвычайно много, и я знавал среди них людей бескорыстных и героических. Но были в Париже и особые группы, и там не все могли сойти за Алеш Карамазовых. Даровитый, но безответственный глава одной такой группировки совмещал лирику и расчет, интуицию и невежество, бледную немочь искусственных катакомб и роскошную античную томность. В этом мирке, где царили грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом

тлеющих лириков, общим местом с наружным видом плеяды, — и меня туда не тянуло. Кроме беллетристики и стихов, я писал одно время посредственные критические заметки, — кстати, хочу тут покаяться, что слишком придрался к ученическим недостаткам Поплавского и недооценил его обаятельных достоинств. С писателями я видался мало. Однажды с Цветаевой совершил странную лирическую прогулку, в 1923 году, что ли, при сильном весеннем ветре, по каким-то пражским холмам. В тридцатых годах помню Куприна, под дождем и желтыми листьями поднимающего издали в виде приветствия бутылку красного вина. Ремизова, необыкновенной наружностью напоминавшего мне шахматную ладью после несвоевременной рокировки, я почему-то встречал только во французских кругах, на скучнейших сборищах «Nouvelle Revue Française»[73], и раз Paulhan зазвал его и меня на загородную дачу какого-то мецената, одного из тех несчастных дойных господ, которые, чтоб печататься, должны платить да платить.

Душевную приязнь, чувство душевного удобства возбуждали во мне очень немногие из моих собратьев. Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования. Я хорошо знал Айхенвальда, человека мягкой души и твердых правил, которого я уважал как критика, терзавшего Брюсовых и Горьких в прошлом. Я очень сошелся с Ходасевичем, поэтический гений которого еще не понят по-настоящему. Презирая славу и со страшной силой обрушиваясь на продажность, пошлость и подлость, он нажил себе немало влиятельных врагов. Вижу его так отчетливо, сидящим со скрещенными худыми ногами у стола и вправляющим длинными пальцами половинку «Зеленого Капораля» в мундштук.

---

[73] Французский журнал.

Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе, которой он был знаменит. Когда я с ним познакомился в эмиграции, он только что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть, — и он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Помнится, он пригласил меня в какой-то — вероятно, дорогой и хороший — ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки — и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», — сказал он мне, когда мы направились к вешалкам. Худенькая девушка в черном, найдя наши тяжелые пальто, пала, с ними в объятьях, на низкий прилавок. Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться — он теперь старался помочь мне, — мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекосилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга. Закончив эту египетскую операцию, мы молча продолжали путь до угла, где простились. В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон, — и, в общем, до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом

бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи.

4

В продолжение двадцати лет эмигрантской жизни в Европе я посвящал чудовищное количество времени составлению шахматных задач. Это сложное, восхитительное и никчемное искусство стоит особняком: с обыкновенной игрой, с борьбой на доске, оно связано только в том смысле, как, скажем, одинаковыми свойствами шара пользуется и жонглер, чтобы выработать в воздухе свой хрупкий художественный космос, и теннисист, чтобы как можно скорее и основательнее разгромить противника. Характерно, что шахматные игроки — равно простые любители и гроссмейстеры — мало интересуются этими изящными и причудливыми головоломками и, хотя чувствуют прелесть хитрой задачи, совершенно не способны задачу сочинить.

Для этого сочинительства нужен не только изощренный технический опыт, но и вдохновение, и вдохновение это принадлежит к какому-то сборному, музыкально-математически-поэтическому типу. Бывало, в течение мирного дня, промеж двух пустых дел, в кильватере случайно проплывшей мысли, внезапно, без всякого предупреждения, я чувствовал приятное содрогание в мозгу, где намечался зачаток шахматной композиции, обещавшей мне ночь труда и отрады. Внезапный проблеск мог относиться, например, к новому способу слить в стратегическую схему такую-то засаду с такой-то защитой; или же перед глазами на миг появлялось в стилизованном, и потому неполном, виде расположение фигур, которое должно было выразить труднейшую тему, до того казавшуюся невоплотимой. Но чаше всего это было просто движение в тумане, маневр привидений, быстрая пантомима, и в ней участвовали не резные фигуры, а бесплотные

силовые единицы, которые, вибрируя, входили в оригинальные столкновения и союзы. Ощущение было, повторяю, очень сладостное, и единственное мое возражение против шахматных композиций — это то, что я ради них загубил столько часов, которые тогда, в мои наиболее плодотворные, кипучие годы, я беспечно отнимал у писательства.

Знатоки различают несколько школ задачного искусства: англо-американская сочетает чистоту конструкции с ослепительным тематическим вымыслом; сказочным чем-то поражают оригинально-уродливые трехходовки готической школы; неприятны своей пустотой и ложным лоском произведения чешских композиторов, ограничивших себя искусственными правилами; в свое время Россия изобрела гениальные этюды, ныне же прилежно занимается механическим нагромождением серых тем в порядке ударного перевыполнения бездарных заданий. Меня лично пленяли в задачах миражи и обманы, доведенные до дьявольской тонкости, и, хотя в вопросах конструкции я старался по мере возможности держаться классических правил, как, например, единство, чеканность, экономия сил, я всегда был готов пожертвовать чистотой рассудочной формы требованиям фантастического содержания.

Одно — загореться заданной идеей, другое — построить ее на доске. Умственное напряжение доходит до бредовой крайности; понятие времени выпадает из сознания: рука строителя нашаривает в коробке нужную пешку, сжимает ее, пока мысль колеблется, нужна ли тут затычка, можно ли обойтись без преграды, — и когда разжимается кулак, оказывается, что прошло с час времени, истлевшего в накаленном до сияния мозгу составителя. Постепенно доска перед ним становится магнитным полем, звездным небом, сложным и точным прибором, системой нажимов и вспышек. Прожекторами двигаются через нее слоны. Конь превращается

в рычаг, который пробуешь и прилаживаешь, и пробуешь опять, доводя композицию до той точки, в которой чувство неожиданности должно слиться с чувством эстетического удовлетворения. Как мучительна бывала борьба с ферзем белых, когда нужно было ограничить его мощь во избежание двойного решения! Дело в том, что соревнование в шахматных задачах происходит не между белыми и черными, а между составителем и воображаемым разгадчиком (подобно тому, как в произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем), а потому значительная часть ценности задачи зависит от числа и качества «иллюзорных решений», — всяких обманчиво сильных первых ходов, ложных следов и других подвохов, хитро и любовно приготовленных автором, чтобы поддельной нитью лже-Ариадны опутать вошедшего в лабиринт. Но чего бы я ни сказал о заданном творчестве, я вряд ли бы мог до конца объяснить блаженную суть работы. В этом творчестве есть точки соприкосновения с сочинительством и в особенности с писанием тех невероятно сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного ледяного безумия ставит себе единственные в своем роде правила и преграды, преодоление которых и дает чудотворный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от граней кристалла к живым клеткам. Когда же составление задачи подходит к концу и точеные фигуры, уже зримые и нарядные, являются на генеральную репетицию авторской мечты, мучение заменяется чувством чуть ли не физической услады, в состав которого входит между прочим то безымянное ощущение «ладности», столь знакомое ребенку, когда он в постели мысленно проходит — не урок, а подробный образ завтрашней забавы, и чувствует, как очертания воображенной игрушки удивительно точно и приятно прилаживаются к соответствующим уголкам и лункам в мозгу. В расставле-

нии задачи есть та же приятность: гладко и удобно одна фигура заходит за другую, чтобы в тени и тайне тонкой засады заполнить квадрат, и есть приятное скольжение хорошо смазанной и отполированной машинной части, легко и отчетливо двигающейся так и эдак под пальцами, поднимающими и опускающими фигуру.

Мне вспоминается одна определенная задача, лучшее мое произведение, над которым я работал в продолжение двух-трех месяцев весной 1940 года в темном оцепеневшем Париже. Настала наконец та ночь, когда мне удалось воспроизвести диковинную тему, над которой я бился. Попробую эту тему объяснить не знающему шахмат читателю.

Те, кто вообще решает шахматные задачи, делятся на простаков, умников и мудрецов, — или, иначе говоря, на разгадчиков начинающих, опытных и изощренных. Моя задача была обращена к изощренному мудрецу. Простак-новичок совершенно бы не заметил ее пуанты и довольно скоро нашел бы ее решение, минуя те замысловатые мучения, которые в ней ожидали опытного умника; ибо этот опытный умник пренебрег бы простотой и попал бы в узор иллюзорного решения, в «блестящую» паутину ходов, основанных на теме, весьма модной и «передовой» в заданном искусстве (состоящей в том, чтобы в процессе победы над черными белый король парадоксально подвергался шаху); но это передовое «решение», которое очень тщательно, со множеством интересных вариантов, автор подложил разгадчику, совершенно уничтожалось скромным до нелепости ходом едва заметной пешки черных. Умник, пройдя через этот адский лабиринт, становился мудрецом и только тогда добирался до простого ключа задачи, вроде того, как если бы кто искал кратчайший путь из Питтсбурга в Нью-Йорк и был шутником послан туда через Канзас, Калифорнию, Азию, Северную Африку и Азорские острова. Интересные дорожные

впечатления, веллингтонии, тигры, гонги, всякие красочные местные обычаи (например, свадьба где-нибудь в Индии, когда жених и невеста трижды обходят священный огонь в земляной жаровне, — особенно если человек этнограф) с лихвой возмещают постаревшему путешественнику досаду, и, после всех приключений, простой ключ доставляет мудрецу художественное удовольствие.

Помню, как я медленно выплыл из обморока шахматной мысли, и вот, на громадной английской сафьяновой доске в бланжевую и красную клетку безупречное положение было сбалансировано, как созвездие. Задача действовала, задача жила. Мои Staunton'ские шахматы (в 1920 году дядя Константин подарил их моему отцу), великолепные массивные фигуры на байковых подошвах, отягощенные свинцом, с пешками в шесть сантиметров ростом и королями почти в десять, важно сияли лаковыми выпуклостями, как бы сознавая свою роль на доске. За такой же доской, как раз уместившейся на низком столике, сидели Лев Толстой и А. Б. Гольденвейзер 6 ноября 1904 года по старому стилю (рисунок Морозова, ныне в Толстовском музее в Москве), и рядом с ними, на круглом столе под лампой, виден не только открытый ящик для фигур, но и бумажный ярлычок (с подписью Staunton), приклеенный к внутренней стороне крышки. Увы, если присмотреться к моим двадцатилетним (в 1940 году) фигурам, можно было заметить, что отлетел кончик уха у одного из коней, и основания у двух-трех пешек чуть подломаны, как край гриба, ибо много и далеко я их возил, сменив больше пятидесяти квартир за мои европейские годы; но на верхушке королевской ладьи и на челе королевского коня все еще сохранился рисунок красной коронки, вроде круглого знака на лбу у счастливого индуса.

Мои часы — ручеек времени по сравнению с оледенелым его озером на доске — показывали половину третьего

утра. Дело было в мае — около 19 мая 1940 года. Накануне, после нескольких месяцев ходатайств, просьб и брани, удалось впрыснуть взятку в нужную крысу в нужном отделе и этим заставить ее выделить нужную visa de sortie[74], которая в свою очередь давала возможность получить разрешение на въезд в Америку. Глядя на мою шахматную задачу, я вдруг почувствовал, что с окончанием работы над ней целому периоду моей жизни благополучно пришел конец. Кроме скуки и отвращения, Европа не возбуждала во мне ничего. Кругом было очень тихо. Облегчение, которое я испытывал, придавало тишине некоторую нежность. Из-под дивана выглядывал игрушечный грузовичок. В соседней комнате ты и наш маленький сын мирно спали. Лампа на столе была в чепце из голубой сахарной бумаги (военная предосторожность), и вследствие этого электрический свет окрашивал лепной от табачного дыма воздух в лунные оттенки. Непроницаемые занавески отделяли меня от притушенного Парижа. Лежавшая на диване газета сообщала крупными литерами о нападении Германии на Голландию.

Передо мной лист скверной бумаги, на котором в ту лилово-черную парижскую ночь я нарисовал диаграмму моей задачи. Белые: Король, a7; Ферзь, b6; Ладьи, f4 и h5; Слоны, e4 и h8; Кони, d8 и e6; Пешки, b7 и g3. Черные: Король, e5; Ладья, g7; Слон, b6; Кони, e2 и g5; Пешки, e3, e6, d7. Белые начинают и дают мат в два хода. Решение дано в следующей главе. Ложный же след, иллюзорная комбинация: пешка идет на b8 и превращается в коня, после чего белые тремя разными, очаровательными матами отвечают на три по-разному раскрытых шаха черных; но черные разрушают всю эту блестящую комбинацию тем, что, вместо шахов, делают маленький, никчемный с виду, выжидательный ход

[74] Выездная виза *(фр.)*.

в другом месте доски. В одном углу листа с диаграммой стоит тот же штемпель, которым чья-то неутомимая и бездельная рука украсила все книги, все бумаги, вывезенные мной из Франции в мае 1940 года. Это — круглый пуговичный штемпель, и цвет его — последнее слово спектра: violet de bureau[75]. В центре видны две прописные буквы, большое «R» и большое «F», инициалы Французской Республики. Из других букв, несколько меньшего формата, составляются по периферии штемпеля интересные слова «Contrôle des Informations»[76]. Эту тайную информацию я теперь могу обнародовать.

Глава четырнадцатая

1

«О, как гаснут — по-степи, по-степи, удаляясь, годы!» Годы гаснут, мой друг, и, когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я. Наш сын растет; розы Пестума, туманного Пестума, отцвели; люди неумные, с большими способностями к математике, лихо добираются до тайных сил природы, которые кроткие, в ореоле седин, и тоже не очень далекие физики предсказали (к тайному своему удивлению). А потому, пожалуй, пора, мой друг, просмотреть древние снимочки, пещерные рисунки поездов и аэропланов, залежи игрушек в чулане.

Заглянем еще дальше, а именно, вернемся к майскому утру в 1934 году, в Берлине. Мы ожидали ребенка. Я отвез тебя в больницу около Байришерплац и в пять часов утра шел домой, в Груневальд. Весенние цветы украшали крашеные фотографии Гинденбурга и Гитлера в витринах рамочных и цветочных магазинов. Левацкие группы воробьев устраивали громкие собрания в сиреневых кустах палисадников

---

[75] Канцелярская лиловизна *(фр.)*.

[76] «Контроль информаций» *(фр.)*.

и в притротуарных липах. Прозрачный рассвет совершенно обнажил одну сторону улицы, другая же сторона вся еще синела от холода. Тени разной длины постепенно сокращались, и свежо пахло асфальтом. В чистоте и пустоте незнакомого часа тени лежали с непривычной стороны, получалась полная перестановка, не лишенная некоторого изящества, вроде того, как отражается в зеркале у парикмахера отрезок панели с беспечными прохожими, уходящими в отвлеченный мир, — который вдруг перестает быть забавным и обдает душу волною ужаса. Когда я думаю о моей любви к кому-либо, у меня привычка проводить радиусы от этой любви, от нежного ядра личного чувства к чудовищно ускользающим точкам вселенной. Что-то заставляет меня как можно сознательнее примеривать личную любовь к безличным и неизмеримым величинам, — к пустотам между звезд, к туманностям (самая отдаленность коих уже есть род безумия), к ужасным западням вечности, ко всей этой беспомощности, холоду, головокружению, крутизнам времени и пространства, непонятным образом переходящим одно в другое. Так в бессонную ночь раздражаешь нежный кончик языка, без конца проверяя острую грань сломавшегося зуба, — или вот еще, коснувшись чего-нибудь — дверного косяка, стены, — должен невольно пройти через целый строй прикосновений к разным плоскостям в комнате, прежде чем привести свою жизнь в прежнее равновесие. Тут ничего не поделаешь — я должен осознать план местности и как бы отпечатать себя на нем. Когда этот замедленный и беззвучный взрыв любви происходит во мне, разворачивая свои тающие края и обволакивая меня сознанием чего-то значительно более настоящего, нетленного и мощного, чем весь набор вещества и энергии в любом космосе, тогда я мысленно должен себя ущипнуть, не спит ли мой разум. Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, сделать все пространство и время соучастниками

в моем смертном чувстве любви, дабы, как боль, смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унизительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования.

Так как в метафизических вопросах я враг всяких объединений и не желаю участвовать в организованных экскурсиях по антропоморфическим парадизам, мне приходится полагаться на собственные свои слабые силы, когда думаю о лучших своих переживаниях; о страстной заботе, переходящей почти в куваду, с которой я отнесся к нашему ребенку с первого же мгновения его появления на свет. Вспомним все наши открытия (есть такая idée reçue[77]: «все родители делают эти открытия»): идеальную форму миниатюрных ногтей на младенческой руке, которую ты мне без слов показывала у себя на ладони, где она лежала, как отливом оставленная маленькая морская звезда; эпидерму ноги или щеки, которую ты предлагала моему вниманию дымчато-отдаленным голосом, точно нежность осязания могла быть передана только нежностью живописной дали; расплывчатое, ускользающее нечто в синем оттенке радужной оболочки глаза, удержавшей как будто тени, впитанные в древних баснословных лесах, где было больше птиц, чем тигров, больше плодов, чем шипов, и где в пестрой глубине зародился человеческий разум; а также первое путешествие младенца в следующее измерение, новую связь, установившуюся между глазом и предметом, таинственную связь, которую думают объяснить те бездарности, которые делают «научную карьеру» при помощи лабиринтов с тренированными крысами.

Ближайшее подобие зарождения разума (и в человеческом роде, и в особи), мне кажется, можно найти в том див-

[77] Общее место *(фр.)*.

ном толчке, когда, глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь, что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом деле птица или насекомое. Для того чтобы объяснить начальное цветение человеческого рассудка, мне кажется, следует предположить паузу в эволюции природы, животворную минуту лени и неги. Борьба за существование — какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану. Мы с тобой часто со смехом отмечали маньякальный блеск в глазу у хозяйственной дамы, когда в пищевых и распределительных замыслах она этим стеклянистым взглядом блуждает по моргу мясной. Пролетарии, разъединяйтесь! Старые книги ошибаются. Мир был создан в день отдыха.

2

В годы младенчества нашего мальчика, в Германии громкого Гитлера и во Франции молчаливого Мажино, мы вечно нуждались в деньгах, но добрые друзья не забывали снабжать нашего сына всем самым лучшим, что можно было достать. Хотя сами мы были бессильны, мы с беспокойством следили, чтобы не наметилось разрыва между вещественными благами в его младенчестве и нашем. Впрочем, наука выращивания младенцев сделала невероятные успехи: в девять месяцев я, например, не получал на обед целого фунта протертого шпината, не получал сок от дюжины апельсинов в один день; и тобою заведенная педиатрическая рутина была несравненно художественнее и тщательнее, чем все, что могли бы придумать няньки и бонны нашего детства.

Обобщенный буржуа прежних дней, патер фамилиас прежнего формата, вряд ли бы понял отношение к ребенку со стороны свободного, счастливого и нищего эмигранта. Когда, бывало, ты поднимала его, напитанного теплой кашицей и важного как идол, и держала его в ожидании рыжка,

прежде чем превратить вертикального ребенка в горизонтального, я участвовал и в терпеливости твоего ожидания, и в стесненности его насыщенности, преувеличивая и то и другое, а потому испытывал восхитительное облегчение, когда тупой пузырек поднимался и лопался, и ты с поздравительным шепотом низко нагибалась, чтобы опустить младенца в белые сумерки постельки. Я до сих пор чувствую в кистях рук отзывы той профессиональной сноровки, того движения, когда надо было легко и ловко вжать поручни, чтобы передние колеса коляски, в которой я его катал по улицам, поднялись с асфальта на тротуар. У него сначала был великолепный, мышиного цвета, бельгийский экипажик, с толстыми, чуть ли не автомобильными, шинами, такой большой, что не входил в наш мозгливый лифт; этот экипажик плыл по панели с пленным младенцем, лежащим навзничь под пухом, шелком и мехом: только его зрачки двигались, выжидательно, и порою обращались кверху с быстрым взмахом нарядных ресниц, дабы проследить за скользившей в узорах ветвей голубизной, а затем он бросал на меня подозрительный взгляд, как бы желая узнать, не принадлежат ли эти дразнящие узоры листвы и неба к тому же порядку вещей, как его погремушки и родительский юмор. За колымагой последовала более легкая беленькая повозка, и в ней он пытался встать, натягивая до отказа ремни. Он добирался до борта и с любопытством философа смотрел на выброшенную им подушку, и однажды сам выпал, когда лопнул ремень. Еще позже я катал его в особом стульчике на двух колесах (мальпостике): с первоначально упругих и верных высот ребенок спустился совсем низко и теперь, в полтора года, мог коснуться земли, съезжая с сиденья мальпостика и стуча по панели каблучками в предвкушении отпуска на свободу в городском саду. Вздулась новая волна эволюции и опять начала его поднимать. В два года, на рождение, он по-

лучил серебряной краской выкрашенную, алюминиевую модель гоночного «Мерседеса» в два аршина длины, которая подвигалась при помощи двух органных педалей под ногами, и в этой сверкающей машине, чудным летом, полуголый, загорелый, золотоволосый, он мчался по тротуарам Курфюрстендама, с насосными и гремящими звуками, работая ножками, виртуозно орудуя рулем, а я бежал сзади, и из всех открытых окон доносился хриплый рев диктатора, бившего себя в грудь, нечленораздельно ораторствовавшего в неандертальской долине, которую мы с сыном оставили далеко позади.

Вместо дурацких и дурных фрейдистических опытов с кукольными домами и куколками в них («Что ж твои родители делают в спальне, Жоржик?»), стоило бы, может быть, психологам постараться выяснить исторические фазы той страсти, которую дети испытывают к колесам. Мы все знаем, конечно, как венский шарлатан объяснял интерес мальчиков к поездам. Мы оставим его и его попутчиков трястись в третьем классе науки через тоталитарное государство полового мифа (какую ошибку совершают диктаторы, игнорируя психоанализ, которым целые поколения можно было бы развратить). Молодой рост, стремительность мысли, американские горы кровообращения, все виды жизненности — суть виды скорости, и неудивительно, что развивающийся ребенок хочет перегнать природу и наполнить минимальный отрезок времени максимальным пространственным наслаждением. Глубоко в человеческом духе заложена способность находить удовольствие в преодолении земной тяги. Но чем бы любовь к колесу ни объяснялась, мы с тобой будем вечно держать и защищать, на этом ли или другом поле сражения, те мосты, на которых мы проводили часы с двухлетним, трехлетним, четырехлетним сыном в ожидании поезда. С безграничным оптимизмом он надеялся, что щелкнет семафор — и вырастет локомотив из точки вдали, где столько сливалось

рельс между черными спинами домов. В холодные дни на нем было мерлушковое пальтецо с такой же ушастой шапочкой, и то и другое пестроватого коричневого цвета с инеистым оттенком, и эта оболочка и жар его веры в паровоз держали его в плотном тепле и согревали тебя тоже, ибо, чтоб не дать пальцам замерзнуть, надо было только зажать то один, то другой кулачок в своей руке, — и мы диву давались, какое количество тепла может развить эта печка — тело крупного дитяти.



В. В. Набоков с сыном Дмитрием (родился 10 мая 1934 г.)
Пансион в Ментоне, на Лазурном берегу. Декабрь 1937 г.

3

Еще есть в каждом ребенке стремление к перелепке земли, к прямому влиянию на сыпучую среду. Вот почему дети так любят копаться в песке, строить шоссе и туннели для любимых игрушек. У него было больше ста маленьких автомобилей, и он брал то один, то другой с собой в сквер: солнце придавало медовый оттенок его голой спине, на которой скрещивались бридочки его вязаных, темно-синих штанишек (при погружении в вечернюю ванну этот икс бридочек и штанишки были представлены соответствующим узором белизны). Никогда прежде я так много не сиживал на стольких скамьях и садовых стульях, каменных тумбах и ступенях, парапетах террас и бортах бассейнов. Сердобольные немки принимали меня за безработного. Пресловутый сосновый лес вокруг Груневальдского озера мы посещали редко: слишком в нем было много мусора и отбросов, и не совсем понятно было, кто мог потрудиться принести так далеко эти тяжелые вещи — железную кровать, стоящую посреди прогалины, или разбитый параличом гипсовый бюст под кустом шиповника. Однажды я даже нашел в чаще стенное зеркало, несколько обезображенное, но еще бодрое, прислоненное к стволу и как бы даже пьяное от смеси солнца и зелени, пива и шартреза. Может быть, эти сюрреалистические вторжения в бюргерские места отдыха были обрывочными пророческими грезами будущих неурядиц и взрывов, вроде той кучи голов, которую Калиостро провидел в Версальской канаве. Поближе к озеру в летние воскресенья все кишело телами в разной стадии оголенности и загорелости. Только белки и некоторые гусеницы оставались в пальто. Сероногие женщины в исподнем белье сидели на жирном сером песке, мужчины, одетые в грязные от ила купальные трусики, гонялись друг за другом. В скверах города воспрещалось раздеваться, но разрешалось расстегнуть две-три пуговки

рубашки, и можно было видеть на каждой скамейке молодых людей с ярко выраженным арийским типом, которые, закрыв глаза, подставляли под одобренное правительством солнце прыщавые лбы. Брезгливое и, может быть, преувеличенное содрогание, отразившееся в этих заметках, вероятно, результат нашей постоянной боязни, чтоб наш ребенок чем-нибудь не заразился. Ты не только содержала его в идеальной чистоте, но еще научила его сыздетства чистоту эту любить. Нас всегда бесило общепринятое и не лишенное мещанского привкуса мнение, что настоящий мальчик должен ненавидеть мытье.

Мне бы хотелось вспомнить все те скверы, где мы с ним сидели. Вызывая в памяти тот или другой образ, я часто могу определить географическое положение садика по двум-трем чертам. Очень узкие дорожки, усыпанные гравием, окаймленные карликовым буксом и все встречающиеся друг с дружкой, как персонажи в комедии; низкая, кубовой окраски, скамья с тисовой, кубической формы, живой изгородью сзади и с боков; квадратная клумба роз в раме гелиотропа — эти подробности явно связаны с небольшими скверами на берлинских перекрестках. Столь же очевидно, стул из тонкого железа с паукообразной тенью под ним, слегка смещенной с центра, и грациозная вращательная кропилка с собственной радугой, висящей над влажной травой, означают для меня парк в Париже; но, как ты хорошо понимаешь, глаза Мнемозины настолько пристально направлены на маленькую фигуру (сидящую на корточках, нагружающую игрушечный возок камушками или рассматривающую блестящую мокрую кишку, к которой интересно пристало немножко того цветного гравия, по которому она только что проползла), что разнообразные наши места жительства — Берлин, Прага, Франценсбад, Париж, Ривьера и так далее — теряют свое суверенство, складывают в общий

фонд своих окаменелых генералов и свои мертвые листья, общим цементом скрепляют содружество своих тропинок и соединяются в федерации бликов и теней, сквозь которые изящные дети с голыми коленками мечтательно катятся на жужжащих роликах.

Нашему мальчику было около трех лет в тот ветреный день в Берлине, где, конечно, никто не мог избежать знакомства с вездесущим портретом фюрера, когда я с ним остановился около клумбы бледных анютиных глазок: на личике каждого цветка было темное пятно вроде кляксы усов, и, по довольно глупому моему наущению, он с райским смехом узнал в них толпу беснующихся на ветру маленьких Гитлеров. Это было на Фербеллинерплац. Могу также назвать тот цветущий сад в Париже, где я заметил тихую, хилую девочку, без всякого выражения в глазах, одетую в темное убогое нелетнее платье, словно она бежала из сиротского приюта (действительно, немного позже я увидел, как ее увлекали две плавных монахини), которая ловкими пальчиками привязала живую бабочку к ниточке и с пасмурным лицом прогуливала слабо порхающее, слегка подбитое насекомое на этом поводке (верно, приходилось заниматься кропотливой вышивкой в том приюте). Ты часто обвиняла меня в жестокосердии при моих энтомологических исследованиях в Пиренеях и Альпах; и в самом деле, если я отвлек внимание нашего ребенка от этой хмурой Титании, я это сделал не потому, что проникся жалостью к ее ванессе, а потому, что вдруг вспомнил, как И. И. Фондаминский рассказывал мне об очень простом старомодном способе, употребляемом французским полицейским, когда он ведет в часть бунтаря или пьяного, которого он превращает в покорного сателлита тем, что держит беднягу при помощи небольшого крючочка, вроде рыбачьего, всаженного в его нехоленую, но очень отзывчивую плоть. Стоокой нежностью мы с тобой старались

оградить доверчивую нежность нашего мальчика. Но про себя знали, что какая-нибудь гнусная дрянь, нарочно оставленная хулиганом на детской площадке, была еще малейшим из зол, и что ужасы, которые прошлые поколения мысленно отстраняли, как анахронизмы или как нечто, случавшееся только очень далеко, в получеловеческих ханствах и мандаринствах, на самом деле происходили вокруг нас.

Когда же тень, бросаемая дурой-историей, стала наконец показываться даже на солнечных часах и мы начали беспокойно странствовать по Европе, было такое чувство, точно эти сады и парки путешествуют вместе с нами. Расходящиеся аллеи Ленотра и его цветники остались позади, как поезда, переведенные на запасной путь. В Праге, куда мы заехали показать нашего сына моей матери, он играл в Стромовке, где за боскетами пленяла взгляд необыкновенно свободная даль. Ты вспомни и те сады со скалами и альпийскими растениями, которые как бы проводили нас в Савойские Альпы. Деревянные руки в манжетах, пригвожденные к древесным стволам в старых парках курортов, указывали в ту сторону, откуда доносились приглушенные звуки духового оркестра. Умная тропка сопутствовала аллее-улице: не всюду идя параллельно с нею, но всегда признавая ее водительство и, как дитя, вприпрыжку возвращаясь к ней от пруда с утками или бассейна с водяными лилиями, чтобы опять присоединиться к процессии платанов в том пункте, где отцы города разразились статуей. Корни, корни чего-то зеленого в памяти, корни пахучих растений, корни воспоминаний, способны проходить большие расстояния, преодолевая некоторые препятствия, проникая сквозь другие, пользуясь каждой трещиной. Так эти сады и парки шли с нами через Европу: гравистые дорожки собирались в кружок, чтобы смотреть, как ты нагибалась за мячом, ушедшим под бирючину, но там, на темной сырой земле, ничего не было кроме проби-

того, лиловатого автобусного билетика. Круглое сиденье пускалось в путь по периферии толстого ствола дуба и находило на другой стороне грустного старика, читающего газету на языке небольшого народа. Лаковые лавры замыкали лужок, где наш мальчик нашел первую свою живую лягушку, и ты сказала, что будет дождь. Дальше, под менее свинцовыми небесами, пошел трельяж роз, обращаясь чуть не в перголы, опутанные виноградом, и привел к кокетливой публичной уборной сомнительной чистоты, где на пороге прислужница в черном вязала черный чулок. Вниз по склону, плоскими камнями отделанная тропинка, ставя вперед все ту же ногу, пробралась через заросль ирисов и влилась в дорогу, где мягкая земля была вся в отпечатках подков. Сады и парки стали двигаться быстрее по мере того, как удлинялись ноги нашего мальчика; ему было уже три года, когда шествие цветущих кустов решительно повернуло к морю. Как видишь скучного начальника небольшой станции, стоящего в одиночестве на платформе, мимо которого промахивает твой поезд, так тот или другой серый парковый сторож удалялся, стоя на месте, пока ехали наши сады, увлекая нас к югу, к апельсиновым рощам, к цыплячьему пуху мимоз и pâte tendre[78] безоблачного неба. Чередой террас, ступенями, с каждой из которых прыскал яркий кузнечик, сады сошли к морю, причем оливы и олеандры чуть не сбивали друг друга с ног в своем нетерпении увидеть пляж. Там он стоял на коленках, держа вафельный букет мороженого, и так снят на мерцающем фоне: море превратилось на снимке в бельмо, но в действительности оно было серебристо-голубое, с фиалковыми темнотами там и сям. Были похожие на леденцы, зеленые, розовые, синие стеклышки, вылизанные волной, и черные камешки с белой перевязью, и раковинки, распадающиеся на

[78] Род фарфора.

две створки, и кусочки глиняной посуды, еще сохранившие цвет и глазурь: эти осколки он приносил нам для оценки, и, если на них были синие шевроны, или клеверный крап, или любые другие блестящие эмблемы, они с легким звоном опускались в игрушечное ведро. Не сомневаюсь, что между этими слегка вогнутыми ивернями майолики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз продолжал, как в вырезной картинке, узор кусочка, который я нашел в 1903 году на том же берегу, и эти два осколка продолжали узор третьего, который на том же самом ментонском пляже моя мать нашла в 1885 году, и четвертого, найденного ее матерью сто лет тому назад, — и так далее, так что если б можно было собрать всю эту серию глиняных осколков, сложилась бы из них целиком чаша, разбитая итальянским ребенком Бог весть где и когда, но теперь починенная при помощи этих бронзовых скрепок.

Кстати, чтоб не забыть: решение шахматной задачи в предыдущей главе — слон идет на с2.

В мае 1940 года мы опять увидели море, но уже не на Ривьере, а в Сен-Назере. Там один последний маленький сквер окружил тебя и меня и шестилетнего сына, идущего между нами, когда мы направлялись к пристани, где еще скрытый домами нас ждал «Шамплен», чтобы унести нас в Америку. Этот последний садик остался у меня в уме как бесцветный геометрический рисунок или крестословица, которую я мог бы легко заполнить красками и словами, мог бы легко придумать цветы для него, но это значило бы небрежно нарушить чистый ритм Мнемозины, которого я смиренно слушался с самого начала этих замет. Все, что помню об этом бесцветном сквере, — это его остроумный тематический союз с трансатлантическими садами и парками; ибо вдруг, в ту минуту, когда мы дошли до конца дорожки, ты и я увидели нечто такое, на что мы не тотчас обратили внимание сына,

не желая испортить ему изумленной радости самому открыть впереди огромный прототип всех пароходиков, которые он, бывало, подталкивал, сидя в ванне. Там, перед нами, где прерывчатый ряд домов отделял нас от гавани и где взгляд встречали всякие сорта камуфляжа, как, например, голубые и розовые сорочки, пляшущие на веревке, или дамский велосипед, почему-то делящий с полосатою кошкой чугунный балкончик, — можно было разглядеть среди хаоса косых и прямых углов выраставшие из-за белья великолепные трубы парохода, несомненные и неотъемлемые, вроде того как на загадочных картинках, где все нарочно спутано («Найдите, что спрятал матрос»), однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда.

Приложение

З. А. Шаховская. В поисках Набокова

Приношу искреннюю мою благодарность всем, кто помог мне своими воспоминаниями о Владимире Набокове и позволил мне включить имеющиеся у них фотографии в эту книгу, проф. Ренэ Герра, давшему мне возможность ознакомиться со сборником «Гроздь» и указавшим некоторые нужные мне даты, а также Н. Д. Шидловской и В. А. Допера, много потрудившихся над рукописью этой книги.

З. Ш.

Предисловие

Я тороплюсь написать эту небольшую книгу пока годы не заслонили от меня живого Набокова, пока шествует еще «путем своим железным» век, который был и его и моим веком, пока Россия его и моего детства кое-как еще мерцает в моей памяти через все уродливые наслоения, засыпающие ее уже шестьдесят лет. Мало осталось людей, знавших молодого Набокова, бывших свидетелями его появления в русской литературе, его восхождения к мировой славе. Еще меньше осталось людей, бывших с ним в близких и дружественных отношениях — думается, их никогда не было очень много. После славы и фортуны, ею принесенной, поклонников у Набокова стало не счесть, друзей — может быть меньше чем раньше.

Читая статьи и книги, о нем написанные за последние двадцать лет его жизни, интервью, им данные, удивляешься, и делается как-то не по себе. Почти все они показывают не только уважение, которого его талант вполне заслуживает, но и какое-то подобострастие — как будто вопрошающие и пишущие не стояли, а предстояли, и не перед писателем, а пе-

ред каким-то тираном из тех, которых сам Набоков ненавидел. Казалось, что и самому Набокову в последние годы нравился этот страх перед ним и что он старательно выращивал для любопытных маску, собственной ли волей или по чьему-то совету надетую.

Любитель не только парадокса, но и мастер камуфляжа, запутыванья следов, нагромождающий камни преткновения перед своими исследователями, он как будто и посмертно желал бы ускользнуть — как личность — от любознательности или любопытства следующих поколений. С радостью бы уничтожил, думается мне, все свидетельство о нем, кроме своего собственного — литературного, или, может быть, жены, ставшей за долгие годы его alter ego.

Я принадлежу к тем, которые верят, что жизнь писателя неотделима от его творчества, что они необходимо складываются вместе как «пузэль» и что нельзя понять его произведения, игнорируя его биографию.

Как представить себе или объяснить себе творчество Достоевского, не приговоренного к смертной казни, не бывшего на каторге, не страдавшего от падучей?..

Это не литературоведческая работа, никакой системы в моей книге искать не надо[79]. Но задумала я ее уже давно. Как ни странно, хотя мне привелось в жизни встречаться с самыми известными писателями, и русскими и иностранными, ни о ком из них меня не соблазняло написать книгу. Почему же о Набокове? Конечно не только потому, что он был моим современником и что я его знала лично, и не только потому, что он необыкновенно одаренный писатель, но потому что Набоков загадочен, что он бросил вызов своим читателям и почитателям, загромождая к себе доступ и

[79] Утешаюсь шутливым замечанием одного американского писателя: «Методология — последнее прибежище непродуктивного ума».

расставил ловушки для исследователей: «Let the visitors trip» — пусть посетители спотыкаются.

Отыскать знакомого мне Набокова под разными личинами, на него им самим надетыми, было уже не так трудно, вехи он все-таки ставит, автобиографические данные и личные признания проблескивают под всеми масками, через вымышленное мелькает и подлинное, даже то, что он скрывал очень тщательно. Недаром у Себастьяна Найта «была странная манера награждать даже самых гротескных своих персонажей одной или другой идеей или впечатлением, которыми он забавлялся». Отыскать «глубинную» Набоковскую правду — нельзя, но приблизиться к ней можно.

Проф. Альфред Аппель в своей статье, напечатанной в T.L.S. (Times Lit. Supl.) уже после смерти писателя, отмечает набоковское «пристрастие к правде». Эдмунд Вильсон, хорошо знавший и Набокова и его произведения, пишет обратное: «Он любит говорить вам неправду и заставить вас в эту неправду поверить, но еще больше он любит сказать вам правду и заставить вас думать, что он лжет». Определить правду довольно легко — это нечто сказанное с желанием обмануть, но есть ли что-либо двусмысленнее правды, к которой примешана ложь? Вот тут если не моральный изъян Набокова, то его психологический выверт.

У меня имеются 64 письма Набокова ко мне и несколько копий его писем к другим, его юношеские шуточные стихи, эпиграммы, рассказы — людей знавших его в России и в эмиграции.

Вскоре после того как я стала редактором «Русской Мысли», в ней появилось объявление, что Набоков хотел бы приобрести не только первые издания своих книг, но и письма им написанные. Если бы я была уверена, что его письма ко мне, просто дружеские и никак ни его, ни меня не компрометирующие, будут сохранены в его архиве, я бы может быть,

правда не без сожаления, ему бы их вернула. Но я не могла избавиться от предположения, что они будут уничтожены как слишком откровенно раскрывающие его предамериканское существование и вообще его демистифицирующие. Ходят слухи, что черновики своих рукописей он тоже уничтожил, не желая, вероятно, обнажать метод своей писательской работы. Недаром в предисловии к переводу «Евгения Онегина» Набоков пишет: «Художник должен был бы безжалостно уничтожать свои рукописи после их напечатанья, дабы они не могли ввести в заблуждение академическую посредственность и позволить им думать, что изучая забракованные (отброшенные) тексты они смогут раскрыть, (размотать) тайны гения». Тайны гения не только по черновикам, но и вообще разгадать невозможно, но как восхитительно, как умилительно видеть черновики Пушкина, перечеркнутые поправками, украшенные рассеянными рисунками — свидетельства его размышлений и его мастерства.

Письма — чудные островки для причала памяти, и я задумала построить мою книгу о Набокове вокруг его писем, напечатав их целиком и снабдив их моими воспоминаниями и примечаниями. По существующим ныне законам это оказалось невозможным, и мне пришлось перестраивать мой план. Оттуда и название — «В поисках Набокова», игравшего при жизни и посмертно играющего с читателями в прятки. После личного общения с писателем так заманчиво интересно находить его в его произведениях, узнать его в разных «арлекинных» одеяниях, распутывать клубок нити и хоть иногда находить выход из лабиринта им придуманного, что я и стараюсь сделать.

Знаю, Владимир Набоков заранее ненавидел и презирал всех, кто будет о нем писать — без его присмотра и руководства, — награждая их эпитетом «академические ничтожества», но цена славы и признания всегда одна и та же.

Человек перестает принадлежать самому себе, он становится общественным достоянием, и вряд ли бы какой-либо писатель, а Набоков в особенности, предпочел бы забвенье посмертному интересу к нему и его творчеству.

З. Ш.

Набоков в жизни

Знакомство наше с Владимиром Набоковым началось в 1932 г. Не будучи родственниками, мы состояли в то время в свойстве. Сестра моя Наташа была первой женой композитора Николая Набокова. Лето 1932 года «мои» Набоковы проводили в маленьком именьице «Ода» в Колбсхейме недалеко от Страсбурга. У них гостили моя мать и Владимир и Вера Набоковы. По просьбе Якова Моисеевича Кулишера, кажется, бывшего тогда председателем Клуба Русских Евреев в Бельгии, я передала еще незнакомому мне Владимиру Сирину предложение этого клуба устроить ему вечер чтения в Брюсселе и Антверпене. Первое имеющееся у меня письмо В., в котором он, понятно, обращается ко мне по имени и отчеству, выражает его принципиальное согласие и просьбу передать устроителям, что ему было бы приятно, если бы условия были улучшены — если бы Клуб согласился дать ему 50% чистого сбора плюс оплата дороги туда и обратно. Письмо было из Колбсхейма за два дня до его отъезда в Париж, где он собирался пробыть месяц и где тоже намечался его вечер в начале ноября.

В. не всегда датировал свои письма, и не все почтовые штемпели ясно отпечатаны, но по открытке Набокова Кулишеру видно, что он хотел бы приехать 25 ноября 1932, а уехать в Берлин 28 ноября. В Париже оказалось, что ввиду «убогого» нансеновского паспорта (выражение Набокова) бельгийское консульство отказало ему в визе, и В. обратился к моей матери, вернувшейся в Брюссель, с просьбой посодей-

ствовать ему и похлопотать о высылке ему разрешения на въезд телеграммой — что и было сделано. Я предложила ему остановиться у нас. Не все подробности этой первой встречи запомнились, но общее впечатление совсем свежо — такое она доставила нам удовольствие — число же подтверждается открыткой Кулишера, на которой помечено 250 фр. Антверпен 26. 11. 32. Сумма, конечно, не менее убогая чем паспорт.

Куда исчез, куда пропал тот Владимир еще Сирин, встреча с которым, переписка с которым много лет тому назад были такой радостью для моего мужа и для меня? Радость эта была не только чисто интеллектуальным удовольствием общения с талантливым и образованным писателем, но и теплая радость видеть прелестного и живого человека, с которым никогда не было скучно и всегда свободно и весело. Очарование Владимиром разделяли и совсем неискушенный в литературе мой свекор С. А. Малевский-Малевич и Григорий Баронкин, солдат из крестьян, участник Белой Армии, у нас служивший и книг не читавший.

Так я вижу Набокова еще молодого, только начинавшего путь к сорокалетию (успею увидеть его и сорокалетним, и позднее всего один раз — шестидесятилетним), в дружбе которого к нам нельзя было сомневаться. И из-за теплоты этих встреч и писем меня всегда поражало, и я восставала против мнения других людей, его знавших и обвинявших В. в равнодушии и бессердечности.

Высокий, кажущийся еще более высоким из-за своей худобы, с особенным разрезом глаз несколько навыкате, высоким лбом, еще увеличившимся от той ранней, хорошей лысины, о которой говорят, что Бог ума прибавляет, и с не остро-сухим наблюдательным взглядом, как у Бунина, но внимательным, любопытствующим, не без насмешливости почти шаловливой. В те времена казалось, что весь мир, все люди, все улицы, дома, все облака интересуют его до

чрезвычайности. Он смотрел на встречных и на встреченное со смакованьем гурмана перед вкусным блюдом и питался не самим собою, но окружающим. Замечая все и всех, он готов был это приколоть как бабочку своих коллекций: не только шаблонное, пошлое и уродливое, но также и прекрасное, — хотя намечалось уже, что нелепое давало ему большее наслаждение.

Того, что называлось — не в ироническом смысле слова — барством, на мой взгляд, в Набокове не было, как не было ничего и помещичьего или, скажем, московского, т. е. старорусской простоты. Он был очень ярко обозначенной столичной, петербургской «штучкой».

Тенишевское училище в Петербурге было известно своим либерализмом — оно не было сословным — и своим прекрасным образовательным уровнем, но оно все же было наиболее дорогим в России, так что в сущности все-таки привилегированным, и в В. очень ощущалась принадлежность к богатому классу.

Была у него врожденная элегантность, на которую сама бедность отпечатка не накладывает. Некто знавший его в Берлине мне рассказывал, что там до его женитьбы «Набоков всегда был чистым и аккуратным», «никогда не забывал подрезать бахрому на штанинах», «от работы не бегал, гонял на велосипеде куда-то за город, чтобы давать уроки». Казалось, подвяжись В. за неимением пояса веревкой, все нашли бы, что он это сделал нарочно.

Гуляя с В. по улицам, сидя с ним в кафе, мы присутствовали и участвовали в занятной игре соглядатайства. В. все замечал и все определял, подменяя видимое воображаемым. Глядя на фонари, только что зажегшиеся на бульваре — четыре белых, посредине один желтый — «четыре соды, одно пиво». Во всяком случае, так удачна была первая встреча, что мы сразу перешли на имена, отбросив отчества, а впоследствии и на «ты».

В декабре этого же 1932 года я была в Берлине проездом в Прибалтику, куда меня послал большой бельгийский иллюстрированный журнал «Ле Суар Иллюстре», и остановилась в очень маленькой квартире Набоковых на Нестор Штрассе. В. и жена его приняли меня не только дружественно, но прямо по-родственному.

Эти тридцатые годы были особенно тяжелы для Набоковых. Жить в гитлеровской Германии было невыносимо не только по материальным обстоятельствам, не только по общечеловеческим, но и по личным причинам. Вера была еврейкой. Податься было некуда.

Как трудно было в Германии, намекает одна приписка В. от 10-го апреля 1934 года. (Жена его через месяц ждала рождения ребенка). «В общем предпочитаю фиолетовые чернила, хотя они ужасно маркие». Это, конечно, напоминание об известном эмигрантском анекдоте. Какой-то эмигрант, возвращавшийся в СССР, условился со своим другом, остающимся на западе, что все, что будет неправдой, будет им написано красными чернилами. Через несколько месяцев друг получил письмо. В нем черными чернилами было рассказано о райской советской жизни, «одного здесь не хватает, самого пустякового, это красных чернил».

На обратном пути в 1932 году из Прибалтики я остановилась в Праге и навестила мать В., которую он так любил и о тяжелом положении которой он так горевал, — маленькую, хрупкую старую даму, жившую действительно в очень стесненных обстоятельствах. Что-то в ней еще оставалось от прежней избалованности.

В Брюсселе у нас часто бывал, одно время даже жил младший брат В., Кирилл, молодой поэт, безнадежно затерянный в сложности быта и которого В. — его крестный

отец — отечески опекал, иногда возлагая на нас часть этой опеки. Во многих письмах просит он нас то устроить куда-то Кирилла, то побранить его за несерьезное отношение к ученью, то одолжить ему денег — которые он нам отдаст при встрече, то купить башмаки...

Позднее, в первый год оккупации встречу я в Париже и другого его брата, Сергея, о котором В. нам не говорил и с которым как будто не имел ничего общего, хотя и Сергей был весьма культурным человеком. Крупный, мешковатый, заикающийся, несколько напоминающий прустовского Шарлю, Сергей, с которым я успела подружиться за эти несколько месяцев, прекрасно знал языки и, не в пример В., любил и понимал музыку. Он совершенно не интересовался политикой и ничто даже в разгар войны не предвещало его трагического конца в Берлине незадолго до победы союзников. О судьбе его ходят разные версии, он как будто работал — жить было надо — переводчиком в немецком радио и как-то обмолвился, что война Германией будет проиграна. По другой версии, более вероятной, так как за первое «преступление» его могли послать в лагерь, но вряд ли бы приговорили к смертной казни — какой-то убежавший из плена английский летчик, которого Сергей знал в Кэмбридже, попросил у него убежища, и соседи донесли. Отрубили ли ему голову или расстреляли — неизвестно...

Живя не в одной стране, уж не так часто, конечно, виделись мы с В., тем более, что не только у Набоковых, но и у нас были одинаковые материальные ограничения, чтобы не сказать одинаковая бедность, и путешествия давались нелегко. Благодарно удивляюсь и посейчас, что несмотря на свою невероятную литературную загруженность — он говорил, что писал иногда в день по 15–20 страниц, случалось, и в ванной комнате на доске, положенной на ванну, за неимением удобного письменного стола, — обремененный заботами, перего-

ворами с издателями, турне с «чтениями», В. успевал мне писать такие длинные и обстоятельные письма в продолжение восьми лет.

В Брюсселе существовал «Русский Клуб», члены которого культурными запросами не страдали и кроме политических, узко эмигрантских докладов, насколько помню, никто не устраивал других, за исключением, как раз в 30-х годах, Евразийцев, дружно ненавидимых той же русской общественностью. Евразийцы устраивали лекции Бердяева, Вышеславцева, Карсавина, обычно сопровождавшиеся протестами несогласных слушателей. Иногда доклады читались у нас на дому, как например, профессором Экком, специалистом по русскому средневековью. Его за «левые» взгляды тоже не любила русская общественность. Чисто литературные доклады и чтения устраивались и в Брюсселе и в Антверпене «Клубом Русских Евреев», в те времена от русской культуры себя не отрывающих и ее почитающих.

Зато в Бельгии, которая вообще очень радушно и благородно приняла первую эмиграцию, было у нас много друзей в политических, литературных, художественных, научных и светских кругах и поэтому нам, ставшим впоследствии бельгийскими гражданами, было не так трудно помочь Набокову в устройстве чтений, докладов и в частных домах и в общественных залах. Всюду он был принят с энтузиазмом, международность его была приятна европейцам. По-французски он говорил хорошо, хоть и не безупречно, доклады были подправляемы французами.

Читал В. великолепно, но всегда читал, имея перед собой свою рукопись, с интересными интонациями, но никак не по-актерски, с очень характерным жестом, левая рука к уху. Поэтому я особенно люблю прилагаемую тут фотографию 1937 года, о которой В. написал: «Посылаю вам лучшую из моих морд».

По-русски читал В. раза два-три у нас в нашей гостиной. Народу было не много, дискретно, пришедшие внесли кто сколько мог за абстрактный билет. Помнится, что одна очень красивая дама, имеющая модную мастерскую, прослушав отрывок из «Приглашенья на Казнь» в 1939 г., воскликнула: «Но ведь это сплошной садизм»!

Устраивали мы такие же неофициальные чтения для В. по-французски у наших друзей Фиренс-Геваерт. Поль Фиренс, профессор истории искусства и позже главный смотритель всех королевских музеев, был женат на француженке Одет де Пудраген, праправнучке мадам Роллан. Он в молодости жил в Париже и был близок со всеми французскими писателями, поэтами и художниками эпохи между двух войн, богатой талантами, а также и с немецкими, итальянскими, испанскими знаменитостями, как Карло Сфорца, Евгению Д'Орс, Жан Кассу... Принимали Фиренсы радушно и международно.

Оставшаяся у меня открытка от известного бельгийского писателя, автора издательства Галлимар, Франца Элленса[80] женатого вторым браком на русской — открытка, к сожалению, без даты, предполагаю, что от 1935–36 г. — дает интересный список лиц, которые хотели бы присутствовать на таком вечере. Это «цвет» бельгийской интеллигенции: критик Роберт Пуле, поэт Гастон Пуллингс, критик Жорж Марлоу, драматург Герман Клоссон, писатель Арнольд де Керков, театральный критик Камиль Пуппе (специалист по китайскому театру) и оригинальнейший фламандский драматург, пишущий по-французски (как Метерлинк, де Костер и Кромеленк), Мишель де Гельдероде.

Первое публичное чтение в Бельгии состоялось в зале на авеню Луиз в 1936 году. В. предполагал читать главы из «Со-

[80] В 1936 г. Элленс переписывался с Михаилом Булгаковым.

глядатая», которые появились во французском переводе в «Oeuvres libres». Он был очень озадачен необходимостью читать что-нибудь неизданное. Он писал мне, что мучается, но обещал меня не подвести. Неизданная эта вещь называется «Мадемуазель О.». О ней — едва ее закончив, он мне сообщает, что он написал ее в три дня. «И это вообще совсем второй, если не третий сорт». Успех «Мадемуазель О.» будет, — несмотря на его мнение об этом «пустячке», — большой не только в Бельгии, но и во Франции, и В. очень удивлен, что она чрезвычайно понравилась редакции «Nouvelle Revue Française». «Мадемуазель О.» выйдет затем в журнале «Mesures», а затем включится в книги его воспоминаний. В чтении В. этот рассказ длился около полутора часов.

В этом же 1936 году русское зарубежье подготовляло к 1937 г. празднование столетия смерти Пушкина. В ответ на мое приглашение приехать в Брюссель с чем-нибудь «Пушкинским» В. пишет, что он задумал французскую речь о Пушкине «особенного рода, с международными точками опоры и блестящими виражами», а осенью того же года, из Берлина, что это будет не рассказ, «а фейерверк праздничных мыслей на бархатном фоне Пушкина», и предупреждает, что чтение предполагается на час или немного больше.

Для этого пушкинского торжества была нанята уже зала в «Palais des Beaux Arts» и оказалась она набитой до отказу. Это был действительно фейерверк и перед ним несколько померкли более академические пушкинские торжества. Называлась эта виртуозная вещь: «Le vrai et le vraisemblable». «Правда и правдоподобие». Она выйдет по-французски в «Nouvelle Revue Française» 1 марта 1937 г. К этому же Пушкинскому году бельгийское издательство и журнал «Journal des Poètes», сотрудницей которого я была, поручило мне редактировать небольшой сборник «Hommage à Pouchkine» —

статьи и антологию. Он вышел вовремя и стал теперь библиографической редкостью. С благодарностью вспоминаю старших собратьев: М. Гофмана, Г. Струве и В. Вейдле, согласившихся прислать мне статьи, над переводами стихов потрудились, кроме Роберта Вивье и его жены (русской татарки, матери известного теперь вулканолога Гаруна Тарзиева), а по подстрочникам и другие бельгийские поэты, да двое русских — В. и я. В. перевел «Стихи сочиненные во время бессонницы» с одним все же «руссизмом», но зато рифмованные. Должна была участвовать и Марина Цветаева, к этому времени переведшая «Пир во время чумы», но она отказалась по свойственной ей непреклонности, — хотела все или ничего — а все было слишком длинно для сборника. После выхода «Hommage à Pouchkine» В. мне пишет: «Твой пушкинский сборник великолепен».

Начиная с 1933 года В. мне часто пишет о прочтенных им книгах. Читал он по-видимому чрезвычайно много. Сообщая, что он только что прочел несколько книг «женского пола», он дает им свою оценку. В те времена только что появившийся роман Екатерины Бакуниной «Тело» вызвал смелостью своих физиологических описаний бурю в зарубежьи. В. пишет, что автор «Тела» словно «моет пол aux grandes eaux, шумно выжимая — дочерна мокрую — половую тряпку в ведро, из которого затем поит читателя». Об «Орланде» Вирджинии Вульф: «Это образец первоклассной пошлятины». В Катрин Мансфильд его раздражает «банальная боязнь банального и какая-то цветочная сладость».

Утверждая, что он не читал того или другого писателя, он все же выражает свое мнение о нем. Маритэна он не читал, но его «тошнит» от него, потому что о нем «с такой елейной любовью говорят педерасты» (то была эпоха маритэновской переписки с Кокто). Он удивлен, что у меня была охота интервьюировать Жоржа Дюамеля.

О Жорже Бернаносе В. даже не упоминает, вероятно, потому что Бернанос, как и Клодель и Мориак, был для него «безнадежно отравлен». Он «и в рот не берет ничего такого, где есть хоть капля католицизма». А может быть он их все-таки читал?..

Мне не понравилась нашумевшая и получившая одну из главных премий во Франции книга бельгийского писателя Эрика де Олевилья (женатого на сестре жены Альдуса Хекселея) «Voyages aux Iles Galapagos». В., наоборот, от нее в восторге, она «одна из очаровательнейших книг», которую он когда-либо читал. Другого бельгийского писателя, получившего премию Гонкуров, моего приятеля Шарля Плиснье он зато ругает в 1937 г. Находит, что его роман «Faux Passeports» «пошлятина», но признается: «...иногда люблю прочесть скверную книжонку, ça purge» — это прослабляет. Зато у него хорошее мнение о книге Элленса «L'Oeil de Dieu» («Божий Глаз»): «Какая у него там собака!» В том же году он читает «с запозданием» «пошленький, сентиментальный, жеманный «Распад Атома» (Г. Иванова). В действительности роман этот конечно никак не сентиментальный с его некрофильскими описаниями — и полным нигилизмом.

Не обладая как будто нормальным для писателей гиперболическим самомнением, я могу объяснить себе только дружескими чувствами В. ко мне его внимательное и ласковое отношение к моим ранним литературным попыткам. Стихи мои он считает «хорошими или прелестными», упрекает меня за их краткость («как будто муза прервала соединение») и бранит меня за мою частую самокритику рассказов, которые появляются в разных журналах. Я считаю очень характерным, что именно он счел удачным в моем рассказе «Уголовное», напечатанном в журнале «Содружество» в Хельсинки. Утешая меня, что «Уголовное» ему понравилось больше, чем ожидал после моей собственной оценки его,

В. находит в нем «сжатость, развитие действия и несколько очень удачных petites trouvailles» (маленьких находок). Особенно понравился В. пассаж, где герой, гуляя после совершенного им «почти убийства» по ночному Парижу, вдруг слышит раскаты странного грома и видит маленьких существ, катящихся к нему с необыкновенной быстротой. Это безногие, которые тогда передвигались, катясь по асфальту на низких тележках, гребя руками с надетыми на них дощечками. По поводу другого пассажа этого же рассказа, более правдоподобного чем тележки с безногими, В. напоминает мне: «Ничего нет менее правдоподобного, чем подобие правды». Фраза, в моих глазах, ключевая для Сирина.

Вообще он удивительно внимательно относится к нам. Не забывает спросить, как подвигается роман моего мужа «Мнимые Числа», французский перевод которого хвалил ему Фиренс, сообщает мне, что мои стихи появились в «Современных Записках», или возмущается тем, что Юрий Мандельштам плохо отозвался о моем сборнике. Пишу об этом потому, что все это никак не вяжется с представлением, которое имели о В. другие, и еще меньше с тем, чем стал Сирин, превратившись в Набокова.

В. безустанно заботится о своей матери, о брате Кирилле. Рождение же сына повергает его в перманентное умиление. Об этом событии нам было сообщено без промедления открыткой из Берлина от 14-го мая 1932 г. «В четверг у нас родился сын Димитрий», а затем как приложение к письмам сведения о нем. Сын его «сплошное очарование». «Мальчик мой ходит, держа передние лапки, как пляшущий пудель». И как живописно описывал В., устно, при встречах, приятность ухода за младенцем, например, удовольствие катать его в колясочке. В те времена, когда отцы еще не снисходили до помощи своим еще не эмансипированным женам в уходе за детьми, В. нянчил своего сына. Вера работала на стороне, а он

сидел дома. Он прибегал к терминам теннисной игры, с гордостью рассказывая об искусстве стирания пеленок. «Это очень легко, сперва потереть, потом так, в одну сторону «drive» и в другую «back hand», все это с соответствующими жестами теннисиста.

Посреди своей собственной неустроенности, в целом ряде писем В. пишет мне о знакомой ему барышне голландке, прося приискать ей хорошего жениха, просит благодарить Фиренсов, кланяться Замятину, у нас гостившему, — «он пресимпатичный», беспокоится о здоровье Анатолия Штейгера, только раз у него побывавшего в Берлине и снова попавшего в санаторий, — просит его адрес, чтобы ему написать. С Буниным находит общение приятным — только что приехав в Париж, В. «уже сидит с подвыпившим Иваном Алексеевичем». Он настаивает, чтобы я познакомилась с Фундаминским, но ни разу не поминает Алданова, который Сирину, как и многим другим, немало помогал.

Как-то уехав от нас и забыв оставить на чай нашему Баронкину, он пишет о своей этой забывчивости и просит ему дать 10 фр. «из оставленных» (он иногда оставлял нам часть полученных денег, до востребованья). Узнав о смерти моего свекра, В. немедленно пишет нам свое соболезнование и вспоминает «милейшего, очаровательного старика», с типично набоковской внимательностью к жестам: «Мне так живо запомнилось, как он мирно сидит у стола и медленно уминает в пальцах папиросу, прежде чем ее закурить».

Для меня дар благодарности — одно из мерил благородства, и этот дар в то время у В. был в избытке. После первой встречи он пишет, что очень полюбил нас троих. Если я долго ему не пишу, просит «отыскать место на письменном столе», чтобы написать ему, или справляется, почему я его забыла. Ему хочется моего «почерка и многоточий». Признается: «Знаете, по-настоящему скучаю о вас (а у меня маловато

таких, по которым скучаю)», благодарит нас за все «чудесное», что мы для него сделали, в другом письме «за восхитительную заботу о нем» или «как мне было хорошо у вас и как я благодарен вам за все ваши ангельские хлопоты (почти хлопанье крыл)»...

Могут подумать, что Набоков был с нами мил, потому что в нас нуждался, но это не так. Материально, будучи бедны сами, мы помочь Набокову не могли, а хлопоты о нем и о его писательских делах были нам никак не тягостны. Он в наших глазах был не только талантливейшим писателем, но и человеком, ставшим близким другом. И вот из-за того, что мы так хорошо его знали, нам были совсем непонятны разговоры писательской братии о его холоде, сухости и равнодушии, в сущности, об его бесчеловечности.

Почти во всех письмах ко мне В. пишет и о своих литературных делах. В письме от сентября 1934 г. В. сообщает, что он только что кончил новый роман «Приглашение на Казнь». В одном, без даты, предполагаю, что оно от 1935 года, он сообщает, что его «жизнь загромождена» очень сложным переводом «Отчаянья» на английский язык. Перевод этот заказан и должен быть сдан английскому издательству до Рождества. «Ужасная вещь — переводить самого себя, перебирая собственные внутренности и примеривая их, как перчатки». В процессе этой работы он чувствует в лучшем словаре «не друга, а вражеский стан» и тут же прибавляет, что он где-нибудь применит придуманное им выражение «он был не словоохотлив, как словарь».

В 1936 году В. выражает опасение, что его следующий роман, заглавие которого удлинилось на одну букву и стало не «Да», а «Дар», огорчит меня, так как первоначальное утверждение превратилось «в нечто цветущее, даже приапическое».

По поводу рассказа «Весна в Фиальте», (о нем В. писал мне так: «Очень языческое — вам не понравится»), по-видимому,

распространился слух, что автор будто бы вывел в этом рассказе знакомых мне людей, и В. просит опровергать эту сплетню его «собственным возмущением» и как всегда подчеркивает, что он выдумывает, а не описывает существующее. Он рад, что мне понравился его «кругленький рассказ» «Облако, Озеро, Башня», только что появившийся в «Современных Записках» и который я считаю одним из самых удачных обличений «цузамен марширен» (хождения в ногу). Случается, он бранит «поганенькую добролюбовщину» эмигрантской критики, но признает, что хуже нее «дикое ликующее мещанство, до которого в России со времени бездарного Белинского докатилось наливное яблочко русской мысли». Ему противна вся советская беллетристика, включая конечно А. Толстого и Л. Леонова.

Настолько безоблачны были мои отношения с В. все эти годы, что даже не только мои соображения или мои толкования его творчества его не сердят, но и моя критика...

Тут следует сказать, кем был для меня тогда Сирин-писатель. Он был почти моим современником, всего на семь лет меня старше (девять лет разделяют его самого от поколения Пастернака), но он успел закончить в России среднее образование, а я там успела только его начать: это довольно существенно, не менее существенно и то, что он на семь лет дольше меня жил в России. Я сразу же ощутила его превосходство перед всеми «молодыми» эмигрантскими писателями, считая, что никого равного ему среди нас нет, и, смолоду взяв за правило никогда не руководствоваться ни модой, ни оценкой присяжных критиков, выделила Набокова по своему собственному вкусу. Но, почувствовав и предчувствуя, какое место займет он в русской литературе, а следовательно и во всемирной, я оставалась свободной от безоговорочного поклонения ему. Кое-что беспокоило меня в Сирине, — и обозначившаяся почти сразу виртуозность и все нарастающая

насмешливая надменность по отношению к читателю, но главное — его намечающаяся бездуховность. Чего-то мне в его произведениях не хватало, где-то был провал. Во французском, скажем, писателе такого же порядка, я бы этого не усмотрела, но я судила о Сирине как о писателе русском — поэтому мне и было понятно бунинское зоркое определение Набокова как «чудовища». Русскую большую литературу от западной всегда отличало что-то существенное, отличались и русские читатели от читателей западных. Они требовали не только художества, но именно тех добрых чувств, о которых неосмотрительно выразился Андрей Жид, что из них не делают хорошую литературу. Наиболее любимыми писателями России испокон века и до нынешнего времени, как видно по Солженицыну, были именно те, кто добрым чувствам придавал художественную форму.

Признаться, я с необычайной смелостью писала и говорила, что думала (с неменьшей, впрочем, откровенностью и старому Бунину по поводу его «Воспоминаний» и «Темных Аллей»), дружбе это позволено и, поняв, что критика моя — дань уважения, эти два больших писателя, известных своим трудным характером, не обижались на меня, Бунин до смерти, Набоков до отъезда в США...

В своем письме от 19.9.1934 г., где он сообщает мне, что только что закончил новый роман «Приглашение на Казнь», В. пишет по поводу какой-то моей заметки о нем: «...На что мне сердиться? Вы удивительно внимательно — и для меня лестно отнеслись к моему т-ству» и тут же поясняет, что к «творчеству, а не товариществу». В том же году, но раньше, он выражает опасение, что я на ложном пути, что я не отдаю себе отчета, «что к писанью прозы и стихов не имеют никакого отношения (подчеркнуто в тексте) добрые человеческие чувства, или турбины, или религии, или духовные запросы», или «отзыв на современность».

Но, конечно, отзыв на современность найдется и в «Подвиге» и в «Истреблении Тиранов» и в «Bend Sinister» (Под знаком незаконнорожденных).

Что же касается добрых чувств, то как раз мои стихи, дважды выделенные В. похвалой, помещенные сперва — в первом сборнике «Уход», (В. пишет, что он понимает это заглавие как уход за своими стихами), а затем в антологии «Якорь», были переполнены «добрыми» и даже христианскими чувствами. Начинались они так:

Без денег, даже без друзей
И в шуме городском, отравном
Богаче тот, кто всех бедней,
Светлее, чище и бесславней,

а оканчивались уж совсем отвратительно для «закоренелого язычника»:

И в страшный час земной разлуки
Благословенно бытие,
Прими Христос пустые руки
И сердце полное мое.

В 1936 году В. мне напоминает: «единственное важное — это то, хорошо ли написана книга или плохо, — а что до того, прохвост ли автор или добродетельный человек — то это совершенно неинтересно». Надо сказать, что в этом я была с ним совершенно согласна, будучи уверена, что гениальность и злодейство вполне совместимы и что добродетель таланта никому не прибавляет. Несогласие наше лежало в другом, не в человеческих особенностях автора, а в том — есть ли в его произведении тот внутренний стержень, без которого оно не больше чем игрушка.

Совершенно случайно, как бы предчувствуя, что и в будущем В. все больше будет входить в мир небытия, я, которая

никогда не оставляла себе копии моих писем к нему, переписала пассаж одного из них от 1934 года, в котором я, сознаюсь, очень косолапо, выразила ему тогда мои соображения и даже опасения, напоминая, что от искусства может идти и искусственность, что ему не равнозначно, и что не следует писателю украшать свое творчество только внешним. Искусство не может осилить темы и тезы смерти. Время распыляет все, что не соответствует вечности, т. е. Богу. «Если нет стержня и основы, то и украшать будет нечего, потому что украшенья вокруг пустоты держаться не будут», и прибавила, что «это только ловкость рук».

На это В. ответил мне весьма кротко:

«Да, я остаюсь при своем мнении: грешен, люблю литературу и не терплю примеси к ней». Он просит меня не сердиться «на закоренелого язычника».

В этом же письме, до крайности откровенном и которое могло бы стать опасным для наших отношений потому, что тут дело касалось самого для него дорогого, его писательской сущности, я также попыталась объяснить ему, как и его жене, причину затрудняющую мне вполне дружеское общение с В. Е. Между нами существовала какая-то натянутость. Вот что я написала тогда В. «Что касается Веры — то пусть она меня простит, но мне кажется, что оскорбленная гордость держит ее на цепи». В. в ответ пишет, что он не понимает, что это за гордость и что за цепь? Письмо мое написано в 1934 году, «Дар», несомненно один из самых биографических романов, выходит в 1935 г. Там есть такая фраза о Зине: «В ней была черта, стеснявшая его: ее домашний быт развил в ней болезненно-заостренную гордость».

Чувствительность жены к своему происхождению перешла понемногу и на Набокова. В Париже он объяснил советскому писателю, что он не может вернуться в СССР, «потому что ему важно, как написано, а не что написано». В 1952 году

в своем письме к проф. А. Парри (в переводе с английского А. Парри в «Новом Русском Слове» 9 июля 78 года) Набоков написал: «Кто бы ни был автор, мой подход к нему всегда определенно литературный. Я не интересуюсь политическими аспектами, политическими взглядами или же случайным значением этих взглядов для ситуаций текущего дня».

Однако проф. Аппель в своей статье в Tim. Lit. Supl. № 1140 от 7-го октября 1977 г. пишет: «Молодой Набоков стал вдвойне чувствительным к зловредности антисемитизма». «Раз в Европе он ударил кого-то за lapsus linguae, впоследствии он более тонко протестовал в своих американских произведениях».

Аппель упоминает об одном инциденте в университетских кругах США и не сомневается, «что набоковская ненависть к Эзре Пунду основывалась на фашистских и антисемитских мнениях этого поэта». В данных случаях эмоции оказались сильнее принципов. Мне помнится, что на одном из собраний ассоциации международных критиков в конце 70-х годов в Барселоне проф. Джоун Броун сделал доклад об Эзре Пунд. Присутствующие советские критики Г. Брейдбург, И. Сучков, Ал. Михайлов, В. Озеров заявили протест: творчества фашистского поэта упоминать было нельзя. Но Набокову в таком лагере как будто бы делать нечего...

Летом в 1937 году я не без опасенья написала мою первую, большую статью о Сирине[81], а не просто краткую рецензию, — для бельгийского журнала La Cité Chrétienne — органа молодых католиков, многие из которых станут впоследствии известными в Бельгии политическими, общественными и литературными деятелями.

Получив журнал, В. мне пишет: «Я с интересом и волнением прочел твою статью о «Приглашении на Казнь» — она, во-первых, прекрасно написана, а во-вторых, очень умна и

[81] Привожу целиком русский перевод этой статьи в приложении.

проницательна». В другом письме, возвращаясь к этой статье и помня, что она была напечатана в католическом журнале, он замечает: «Ох, боюсь не одобрила бы твоей статьи редакция, знай она все мои грехи».

В письме того же года, В., сообщая, что он отправляет в Англию перевод своего романа, пишет: «Но уже новый замысел мелькает, как гора, в моем вагонном окне, то слева, то справа — и скоро высажусь и полезу — слышу уже грохоток осыпей».

Несмотря на все его усилия, на беспрерывную, изнуряющую работу и невероятную энергию, которую он проявит — все это осложненное беспокойством за будущее — положение В. все эти годы все так же неустойчиво.

Тут, мне кажется, все же необходимо опровергнуть слухи, исходящие от поздних поклонников Набокова, незнакомых с жизнью первой эмиграции, о том, что будто бы русское зарубежье не приняло и не поняло Набокова. Это не так: его появление было сразу же замечено, с выходом его, еще очень молодой, «Машеньки». Интерес к нему все возрастал, и ни один из писателей его поколения никогда не получал такие восторженные отклики со стороны старших собратьев.

Трудно определить рубеж поколений. Были писатели старшие: Бунин, Мережковский, Гиппиус, Куприн, Ремизов, Зайцев, Шмелев, Осоргин, Ходасевич (к ним как-то примыкали и Марина Цветаева и Одоевцева и Иван Лукаш) и другие, имена которых были впервые услышаны заграницей: Газданов, Фельзен, Песков, Зуров, Городецкая, Поплавский — прозаиков было меньше чем поэтов. Но из последней категории только один Сирин был так щедро и безошибочно угадан и поддержан критиками и признан старшими собратьями. Никого так щедро не печатали зарубежные журналы и в Берлине и в Париже. Литературно консервативные, хоть политически и левые для эмиграции «Современные Запис-

ки» и «Русские Записки», не без опасения перед набоковским новаторством и не без раздраженья за его насмешливость по адресу Чернышевского и Белинского, были для него более широко открыты, чем даже для Марины Цветаевой. Маленькие периферийные журналы мечтали о его сотрудничестве, но, кажется, только «Новь» удостоилась его заполучить. На чтения Сирина слушатели приходили с не меньшим энтузиазмом и с большим любопытством, чем на Ремизова.

В сущности оппозиция Сирину шла только из одного источника, откуда шли и словесные гонения, — от «Монпарнасцев» и от «Чисел», короче говоря, от двух Георгиев — Адамовича и Иванова. Я до сих пор не могу себе объяснить, чем было вызвано долгое неприятие Адамовичем Набокова и Цветаевой. Конечно, дело было не в зависти, Набоков конкурентом критику и поэту Г. Адамовичу никак не был. Может быть была все-таки обида. Адамович, слово которого было так веско в монпарнасских кофейнях, мог быть уязвлен тем, что Сирину его одобрение и поддержка были не нужны. К тому же стоящий на другом полюсе эмигрантской критики, — Вл. Ходасевич был одним из самых ранних и верных ценителей Набокова. Все книги В. выходили одна за другой без промедления, сперва в толстых журналах, затем в издательствах...

Загадочно то, что писатель Сирин не пошел в западных странах, несмотря на поддержку «Nouvelle Revue Française» и в частности Жана Полана, игравшего там очень важную роль, несмотря на его знакомство с четою А. Черч и на его личный успех при частных встречах с иностранцами. По письмам В. видно, что он продал Галлимару «Отчаяние», написанное им в 1935 году, только в августе 1937-го, но оно не вышло еще и в 1939 году! В письме от 1939 года В. пишет, что французский перевод «Приглашения на Казнь» только что откорректирован, но и этот роман выйдет у Галлимара только после войны...

У меня нет иностранных откликов той эпохи на книги В., но ни одна из них не стала бестселлером. Боюсь, что вряд ли даже окупились во Франции издательские расходы, и В., вероятно, как это бывает в таком случае, получил только задаток при подписании контракта.

О причинах такого скромного успеха В. в Европе можно только догадываться. Вообще говоря, русская современная литература тут мало кого интересовала, а использовать первую эмиграцию в целях антикоммунистической пропаганды в предвоенные годы никто не хотел. Несмотря на самое сталинское время, СССР скорее рассматривали здесь как явление положительное и могущее служить примером другим странам. Кроме Мережковского и Алданова, писатели-эмигранты переводились очень скупо. Из типично русских Шмелев шел лучше других. Ремизова, причислив его к сюрреалистам, поддерживал немного Галлимар. Бунин до получения Нобелевской премии не интересовал. Даже после премии книги его, по сравнению с книгами других Нобелевских лауреатов, расходились плохо.

Но вот, казалось, Сирин, с его западной культурой и его оригинальностью, с его замысловатостью должен был себе тут найти читателей... Может быть здесь сыграло роль то, что если Бунин для западных читателей был слишком русским, Сирин был, или казался им, слишком западным писателем.

И так год за годом, в продолжение восьми лет, почти в каждом из писем В. ко мне — вопиет та же непреодолимая бедность, все те же заботы — от 1933 до 1939 года. В 1936 году мать его «живет впроголодь и больна», в 1939 г. «Положение моей матери действительно страшное».

Уже с 1932 года Набоковым хочется покинуть Берлин, Германию, но нет денег, к тому же положение «нансениста» закрывает все границы для разрешения на постоянное жительство в другой стране. Для переезда нормально требуется

контракт на работу да еще правительственное разрешение на этот контракт. Туристическую визу достать легче, хотя и не легко, но это не выход. Из Берлина в 1936 году В. пишет, что они серьезно подумывают о том, чтобы перебраться в наши края — в Бельгию — и спрашивает, нельзя ли на первых порах устроиться хотя бы не в столице, а в каком-нибудь курорте, не у моря, на зиму пустующим, когда цены понижены. Речь конечно идет о самых дешевых «35 фр. (бельгийских) нам совсем не по карману». Через несколько недель В. возвращается к этому вопросу: «Может быть будет дешевле снять 2 комнаты с кухней»?

Мы что-то находим в каком-то «Vieux Manant», из которого В. получает ответ «бисерным почерком», но в Бельгии отдыхать они не будут.

Последняя открытка из Берлина была послана мне 16 января 1937 г., следующие письма приходили уже из Франции, по-видимому, в этом году они и покинули Германию.

Продав Галлимару «Отчаяние» летом, «побывав больше месяца в Богемских лесах», В. и его семья отправились в Канны, где надеялись провести месяц, «если позволит Меркурий, увы, не слишком благосклонный к моим транзакциям». Только что увиденную им в Париже колониальную выставку В. считает «пошлейшей и бессмысленной».

Позднее В. в Ментоне. Там ему «замечательно пишется». Оттуда он запросит меня «подсобить» ему, напомнив, кто написал «Пословицы» и «Ад», у него это заскочило — «такие большие полотна, с маленькими неприятными фигурами». Я ответила: «Иеронимус Босх», но так и не узнала, для какой вещи ему понадобилась эта справка. О Босхе не нашла упоминания ни в одной из его книг.

В 1938 году опять письма с юга Франции. Н. живут в Мулине, в примитивных условиях, мечтая переехать в другое место, так как в Мулине военный лагерь, духовая музыка и

«пальба за деревней». Там зато «un bon choix (прекрасный выбор) бабочек». Фотографии двух самцов бабочек, пойманных в Мулине, помещены в «Speak memory».

Осенью того же года пришло к нам в Брюссель письмо с просьбой помочь сестре В. Е., оказавшейся в трагическом положении в Берлине со своим четырехлетним сыном. Виза в Бельгию была ей устроена, но ей удалось попасть, думаю, к ее счастью, в Швецию, оставшуюся нейтральной.

В одном из писем с юга В. пишет: «Мы сейчас находимся в русской, очень русской, инвалидной вилле, среди старых грымз на Кап д'Антиб». Дату установить не удалось, но вероятно с этой виллой связана слышанная мною в Париже история, за достоверность которой не могу ручаться.

Заведывал этой виллой, как будто, какой-то генерал и, прежде чем туда отправиться, В., всегда помня о самолюбии своей жены, написал ему, предупреждая, что жена его еврейка и что он хочет быть уверенным, что никаким оскорблениям она там не подвергнется. Генерал ответил отменно мило, что он человек воспитанный, как и те, кто гостит в его вилле и что ничего неприятного произойти не может, он за это отвечает. Набоковы поехали туда и там вскоре их навестил кто-то из парижских литераторов и начал рассказывать столичные новости, но едва он произнес «Жид написал новую книгу», как генерал, близко находящийся и конечно об Андре Жиде никогда не слыхавший, побагровев от негодованья, набросился на гостя: «Я не позволю, милостивый государь, здесь браниться!..»

Зато, поскольку слышала это от самого В., могу с большей уверенностью рассказать о встрече В. с каким-то советским писателем, видно, посланным разузнать, можно ли Владимира Сирина уговорить вернуться на родину. Встретились они во «Флоре» на Сен Жермен и пили там пиво, мирно беседуя. В., как всегда, с любопытством разглядывал всех

окружающих и обратил внимание советского собрата на какого-то клиента, с жадностью читающего газету — «смотрите как он ее читает». На что его собеседник немедленно заинтересовался, какую, какого направления эта газета, и В. ему объяснил: «Вот отчего я никак не могу вернуться» — «мне важно **как** читают, а вам важно **что** читают».

В новогоднюю ночь 1938 года был последний в Париже бал русских писателей, и мы приехали в Париж. Не помню были ли на этом балу Набоковы, но знаю, что собирались. В письме от декабря В. пишет, что они стараются устроить сына на одну ночь, найдя кого-нибудь, кто бы с ним мог посидеть. Там же он говорит, что исполнил мое поручение и попросил Вишняка послать мне октябрьскую и ноябрьскую книжки «Русских записок». Мелочь, показывающая, как В., даже в самых трудных обстоятельствах, исполнял самые ничтожные просьбы друзей. Он подробно объясняет мне, что Вишняк даром «Р. З.» дать отказался, но уступил обе за 24 фр., из которых 10 фр. мне причитаются за стихи, а 14 будут авансом за следующие.

Есть у меня еще длинное письмо, никакой датой не помеченное — но в моей папке отнесенное к 38 или 39 году. Оно трагическое: «У нас сейчас особенно отвратительное положение, эта гибель никого не огорчает и даже не волнует». Все же Союз литераторов послал ему 200 франков. Им нужно набрать на билет, чтобы вернуться с юга Франции в Париж. В. пишет, что в такую минуту было ему особенно радостно получить письмо, напоминающее, что в Брюсселе есть еще друзья. Он с раздражением прибавляет: в Париже ходят слухи, что они сидят на юге для своего удовольствия — «эти завистливые идиоты не понимают, что нам просто деваться некуда».

Вид у него был в те годы ужасный, он был худ, кашлял из-за непрекращающегося бронхита и трахеита, страдал невралгией. Кочевая его жизнь (из-за выступлений и переговоров с

издателями) отражается в его письмах, которые посланы то из Берлина, то из Парижа, то из Англии, да и парижские адреса никогда не бывают постоянными. В гостинице во время своих «турне» он не останавливается: всегда у знакомых, иногда в совсем некомфортабельных условиях, — у нас он жил в мансарде. Может быть это скитание по чужим квартирам и вызовет после материального успеха странное желание обосноваться в старом паласе, чем-то напоминающим ему гостиницы его детства.

В марте 1939-го года В. сообщает, что едет 3-го апреля в Лондон, где 5-го апреля будет читать у Саблиных, затем у неизвестных мне Чернавиных, и спрашивает меня, считаю ли я «ладной» его мысль приехать в Брюссель и дать русский вечер, или два вечера, один русский, один французский. Он мог бы прочесть по-французски главы из перевода «Приглашенья на Казнь». Он считает перевод Приеля прекрасным (чего я не нашла). Его планы — опять с семьей отправиться на юг «в загоне», так как «безденежье дикое», но все так же, несмотря на занятость и беспокойство, В. не забывает спросить, когда же он прочтет «интересный роман» Светика, и надеется, что мой «ручеек скоро опять зажурчит».

В апреле этого же года приходит от него из Парижа просьба подтолкнуть визу, чтобы заехать в Брюссель на обратном пути из Лондона. Паспорт у него все тот же нансеновский, но выданный уже во Франции и на удивительно короткий срок — от 21 марта 1939 до 21 июля 1939 г.

Так в последний раз побывал В. у нас в Брюсселе. Не помню, что и где он читал по-русски, а по-французски, мне кажется, в доме у Фиренсов, — зала мы не нанимали.

То муж, то я приезжали иногда в Париж и, конечно, всегда видали Набокова или в малюсенькой двухкомнатной квартире, где они жили, или у Ходасевича.

С В. Н. были у нас отношения хорошие, но без той теплоты, а главное той простоты, которые существовали между В. и нами. Мне казалось, что В. Н. с ее твердым и повелительным характером, свой узко-семейный круг — жена, муж, сын — считала самодовлеющим, замкнутым миром и единственным для В., писателя, необходимым. Другие допускались в него по необходимости и под ее контролем. Участие ее в творчестве В. уже тогда было неоспоримо, и я думаю во всей истории русской литературы не найдется ему примера. Неизмеримо скромнее была роль, скажем, С. А. Толстой или А. Достоевской.

Недаром, случай редчайший, в переизданиях своих книг В., постфактум, приписал своей жене посвящения, которых не было в первых изданиях.

О глубокой своей привязанности к родителям, особенно к отцу, Набоков говорит завуалированно, то передавая свои чувства персонажам своих рассказов или романов, то намеками в своих стихах — «не изменился ты с тех пор как умер» «за траву двух несмежных могил...». В любви же к своей жене и сыну он прибегает к необычайной для него откровенности, без камуфляжа вымысла, утверждая, что ему нужно, чтобы «все пространство и все время участвовали в моем чувстве, в моей смертной любви» (Conclusive Evidence).

С годами единство писателя и его жены все подчеркивается в разных интервью, поддерживается свидетелями и входит (как любовь Арагона и Эльзы Триоле) в легенду.

Итак, между мной и В. Н. существовал благожелательный нейтралитет, — до одного инцидента, меня удивившего.

Как-то сразу же после объявления войны Англией и Францией Германии, в Париже, в издательстве «La Renaissance du Livre» вышла моя книга по-французски, детские мои воспоминания о революции под названием «Une Enfance» (Одно Детство). Выслать ее критикам и разослать ее по

книжным магазинам издатель не успел, но я получила первые авторские экземпляры — и послала их друзьям, в том числе и Набоковым.

В следующий мой приезд в Париж я, как всегда, зашла к ним, и В. Н. встретила меня больше чем сумрачно — В. не было — и сразу же начала меня обвинять в антисемитизме. В книге я рассказывала, прямо и просто, все, чему была одиннадцатилетней свидетельницей за годы революции и гражданской войны. Среди других драматических воспоминаний было и такое[82]:

Во время нашего перехода из советской России на Украину — последним обыском на самой границе руководила женщина-комиссар — еврейка — кожаная куртка — револьвер в кобуре. Забыть ее мне было трудно, не потому что под ее присмотром солдаты обыскивали нас, как и прочих беженцев, весьма грубо, не потому, что ехавшие под чужой фамилией, мы боялись быть задержанными так близко от спасительной черты, но потому что в нашем товарном вагоне, переполненном и грязном, ехали два несчастных кадетика, два брата, одному было лет 12, другому лет 14. Они были изнеможены, видимо, не имели ни копейки, и пассажиры украдкой им подбрасывали еду. Мальчики были настолько растеряны и неопытны, что не догадались одеться в любое тряпье, только бы снять опасную кадетскую форму, — да и документов у них не оказалось. Мы и наши сопутники прошли благополучно, но мальчики были задержаны комиссаром и по ее приказу отведены за станцию. Пока мы грузились на подводы, ожидающие беженцев уже на украинской стороне, — раздался залп — малые белогвардейцы были расстреляны.

---

[82] Оно осталось и в расширенных версиях этих воспоминаний, изданных в 60-х годах во Франции и Германии.

Я указала В. Н., что в моей книге существуют русские убийцы и предатели и что я считаю, что было бы малодушием с моей стороны свидетельствовать о виденном с оглядкой — на кого бы то ни было. Но, по-видимому, В. Н. принадлежит к тем людям, которые историков, раскрывающих псевдонимы Троцкого и Стеклова или приводящих фамилии убийцы царской семьи или «строителей» Беломорского канала, считают антисемитами. Перейдя от частного к общему, В. Н. обрушилась на весь русский народ, на «рабскую его натуру» и все прочее, что об этом народе часто говорится. Тут я ей заметила, что в книге моей я говорю всегда о какой-нибудь личности, о каком-нибудь случае — не обобщая, она же обвиняет огульно целый народ, что и есть, конечно, настоящий расизм.

Разговор был не лишен в моих глазах пикантности. Питая ненависть к нацизму и к Германии, в событиях того времени ни В., ни его жена ничем не участвовали, но В. Н. не могла не знать, что мы уже давно с мужем и уж никак не по личным причинам — да и к немцам, как таковым, мы ненависти не чувствовали, — принимали деятельное участие в антигитлеровских акциях: создали, пока Бельгия была нейтральна, чтобы противостоять нацистской пропаганде, «Общество Друзей Франции» и добывали визы для немецких евреев, в сотрудничестве с французским Пен-Клубом и его председателем Жюлем Роменом. Это, кроме другого, и приведет меня в сентябре 1940-го года в Парижское Гестапо. Муж мой, по возрасту не военнообязанный, записался добровольцем в бельгийскую армию (кончит войну с 80 % инвалидности). Может быть нескромно об этом писать, но когда пишешь о Набокове в жизни, следует не забывать об его окружении.

Обвинение В. Н. в антисемитизме я нашла скорее комичным, но высказанное ею презрение к русскому народу меня не обрадовало нисколько и обеспокоило. Набоков был русским писателем и в те годы только таким себя и считал.

На чем могла зародиться ненависть В. Н. к России? Ее семья никак не принадлежала (как и семья моего друга Марка Слонима), к бедным местечковым евреям, которым жилось на Украине или в Бессарабии неуютно, а иногда и не безопасно. Слонимы — петербуржцы получили прекрасное образование и в той либеральной среде, в которой они вращались, вряд ли подвергались оскорблениям. Отец В. Н. был управляющим делами очень состоятельной женщины, М. П. Родзянко. Марк Львович Слоним, находящийся в родстве с семьей В. Н., говорил мне, что они не общаются с ним, потому что его семья стала православной. Причина, возможная, религиозной нетерпимости В. Н. для меня не была ясна. Насколько я знаю, В. Н. не исполняла предписаний своей религии, и если бы им подчинялась, не вышла бы замуж за нееврея. В эмиграции, опять-таки в той среде, в которой вращались Набоковы, антисемитские настроения вряд ли существовали. А за то, что происходило в Германии, Россия ответственна никак не была.

По поводу этого разговора с В. Н. можно задать себе вопрос, как сам Набоков относился в конце 30-х годов к России. Я была одной из самых первых, кому В. послал до напечатанья их на двух рукописных листах два своих стихотворенья, подписанные «Василием Шишковым» и посвятил меня в эту мистификацию, на которую попался Адамович. Но явно не только для мистификации эти стихотворения были написаны. Поэзия, не в пример прозе, обману не поддается, слишком сильно в ней эмоциональное начало.

Эти два стихотворения «Мы с тобой так верили в связь бытия» и «Отвяжись, я тебя умоляю» полученные мною одновременно в 1938 г. (хотя в сборнике стихов Набокова в изд. Рифма они появились под разными датами и с некоторыми разночтениями сравнительно с моим вариантом), не могут быть ничем иным, как выражением истинных чувств автора, «трава двух несмежных могил» тому порукой.

О России мы целомудренно с В. не говорили. Я сама тогда писала, думая о России: «О тебе кричать или молчать, третье отсутствует решенье», но трагедия разрыва с ней, потери ее, отдаленья от нее отражались во всем, что В. тогда писал. Если бы В. Россию не любил — «прерывность пути» была бы для него незаметной и не надо было бы ему умолять ее от него «отвязаться».

От 1939 года у меня два письма от В. Одна открытка, написанная по-французски[83], — из-за цензуры — подписанная им за него и за жену — очень мила по своей встревоженности. Он просит дать о нас сведения, спрашивает где моя мать, — (она успела из Берлина переехать во Францию в Розей ан Бри) и мой брат, он был тогда настоятелем Св. Владимирской церкви на Находштрассе в Берлине и благочинным церквей Западно-Европейской Епархии в Германии. Там он и остался до самого входа советской армии в Берлин. Письмо заканчивалось: «Мы тебя целуем и любим». В последнем письме В. пишет о каком-то манускрипте. Прежде чем мне его послать, он хотел бы получить ответ от Когана: «Буду тебе благодарен, если нажмешь на него». О каком манускрипте идет речь, не помню, а Коган был издателем «Петрополис» в Берлине. Он с 1936 года переехал в Брюссель, бывал у нас, но собирался перед неминуемой опасностью уехать подальше и, кажется, бедняга, выбрал Азию — никто не думал, что война перебросится и туда. С тех пор о Когане я ничего не слыхала.

В том же письме В. пишет о своих попытках поскорее добраться до США, благодарит меня, что я написала об этом моей сестре Наталье и сообщает, что пишет ей сам, прося ее также найти ему работу в Америке. «Единственная хорошая

---

[83] В виду того, что Набоков стал американским писателем, интересно отметить, что в его письмах ко мне зачастую найдется немало французских слов и выражений, но ни одного английского.

новость — это что Александра Львовна Толстая уже достала нам отличный афидевит. Зато денежная сторона ужасна». От Б. К. Зайцева слыхала, как он вместе с Марком Алдановым объезжали богатых евреев, собирая Набоковым деньги на дорогу.

Около 20-го мая, когда Набоковы подходили («Конклюзив Эвиденс») в порту Сен Назара к пароходу, отчаливающему из Европы в Америку, в военном госпитале, где я работала сестрой, выгружали все больше и больше раненых, и в эти же дни муж мой после изнурительной, хотя и краткой фландрской кампании брел, не признав бельгийской капитуляции, в Данкерк — чтобы пробраться в Англию. В немирном мире, где мы оставались до 1945 года, не было времени ни для литературы, ни для переписки.

«Кроме скуки и отвращения Европа не возбуждала во мне ничего», — пишет в своих воспоминаниях Набоков, хотя последние годы своей жизни он захочет провести как раз в «скучной Европе».

Но Европа, между 1940 и 45 годом была никак не «скучна», или скучна только для обывателя, т. е. для ненавидимого Набоковым «пошляка»!

Позднее добралась до Англии и я, не менее чудесным образом в 1942 году, после девятимесячного «путешествия».

В Лондоне мы и пробыли до мая 1945 г. Ни я В., ни он мне за это время не написали ни строчки. Но мы о нем вспоминали и надеялись, что в этой сказочно благополучной стране, настало для него и для его семьи благоденствие. Только позднее, случайно встретившись в Париже с Мэри Мак-Карти, бывшей в 40 годах женою Эдмонда Вильсона, я узнала, что· первые годы им нелегко жилось и там.

В 1944 году в Лондоне мы достали его книгу о Гоголе, в 1945 г. — английское издание The real life of Sebastian

Knight. (Подлинная жизнь Себастьяна Кнайта), читали его и в New Yorker'е... И только в 1949* году, обосновавшись наконец в Париже и узнав от сестры адрес В., я написала ему и в ответ получила деловитое и четкое письмо от его жены. В. было уже некогда. Все же он прислал нам с милым автографом Bend Sinister. Эта книга мне впрочем не понравилась. Я нашла в ней мало набоковской иронии и слишком много личной, не переработанной, ненависти к тоталитаризму.

«Лолиту» я прочла в первый раз в запрещенном парижском издании Жиродиаса. Была ли я скандализирована? Да, слегка. Мы еще не были приучены к такому жанру, но как прекрасны были описания, как всюду сверкало набоковское мастерство! Да и было в этой истории что-то очень трагическое, искупающее то, **что не нравилось**.

По удивительному совпадению моя книга «The Privilege was mine» о нашем пребывании в Москве с мужем в 1956–57 годах вышла в том же нью-йоркском издательстве Путнам, что и официальная «Лолита». Я работала тогда на французском радио, писала по-французски исторические работы о России, бывала, хотя и начала отходить от такой потери времени, на литературных приемах и коктейлях. Когда появился французский перевод «Лолиты» у Галлимара, директор La Revue des deux Mondes, где я вела рубрику русской литературы, меня естественно попросил написать о Набокове. Поскольку моя статья в Cité Chretiènne о нем появилась в 1937 году и к тому же в Бельгии, и помня что В. нашел ее не только «прекрасно написанной», но и «умной и проницательной», и поскольку мое мнение о нем как о писателе за эти двадцать два года не изменилось, я и взяла эту старую статью в основу новой...

Статья вышла в августе 1959 года (русский перевод этой статьи в приложении).

Моя сестра в своем письме от 4 октября 1959 из Нью-Йорка сообщила мне: «29 сентября уехали В. Набоковы в

Европу на «Либерте» и в первом классе! В. был огорчен и недоволен твоей статьей в Revue des deux Mondes. Не могла с ним спорить, так как статьи не читала. Но наша Ильина (тетка старших Набоковых) читала ее когда была в Париже, откуда только что вернулась, и в восторге от нее. Захлебываясь говорила, что статья **длинная**, **блестяще** написана и что она согласна с каждым словом. Она не знала, что ты «Жак Круазе» (этим псевдонимом, сохранившимся у меня со времени, когда я была военным корреспондентом, я подписывала в то время статьи и французские романы) и долго спорила, что статья написана не тобой, а мужчиной. Я ей не сказала, что В. не рад твоей статье и она, как только его увидала, стала статью хвалить и превозносить до небес. В. говорит что they quote (они цитируют) из твоей статьи и это ему вредит».

Не могла себе представить, чтобы что-нибудь могло В. тогда вредить, да и статья была благоприятна, но, может быть, и правда, именно из-за ощущенья, что В. больше не нуждается в дружеской поддержке — к прославленному писателю можно подходить без той мягкой симпатии, которую ощущаешь к еще недооцененному, — я написала более откровенно, что ли.

К неудовольствию В., я была, следовательно, подготовлена и, перечтя ее, даже начала подозревать, что именно его могло в ней раздражить. Ему могло не понравиться, например, замечание, что его судьба (за исключением случайного убийства его отца в Берлине) была, в общем, счастливее судеб его современников молодых эмигрантов. И то, что, никак не сравнивая таланты Набокова и Хемингуэя, я, презренное это для него имя, привела в контексте, да и то, что, заканчивая статью, я упомянула, что этот год был годом Набокова и годом Пастернака. Даже еще и не зная отношения В. к «Доктору Живаго», я была уверена, что эта, в моих глазах прекрасная книга (и неудавшийся роман), В. понравиться никак не может.

Слухи о новом Набокове, никак не похожим на человека, с которым я была дружна до войны, до меня, конечно, уже дошли. Всегда хорошо знающий себе цену В. начал чувствовать себя по-видимому Олимпийцем и ожидал неограниченного себе поклонения, к которому я не склонна по отношению к кому бы то ни было. В., в моих глазах, попрежнему оставался замечательным писателем, и мы попрежнему тепло к нему относились, памятуя прошлое и собирались с радостью с ним встретиться, едва только получили приглашение Галлимара на прием в его честь.

В Галлимаре шел обычный в таких случаях кавардак. Щелкали фотоаппараты, вспыхивали фляши, ноги путались в проводах, бродили журналисты и техники телевидения, писатели, критики, приглашенные и вторгнувшиеся незаконно любители таких событий и дарового буфета. В одном из бюро В. давал интервью, и в тесноте и жаре мы ждали, когда он появится среди нас. Он вошел и, длинной вереницей, толкая друг друга, гости двинулись к нему. Годы ни его, ни меня, конечно, не украсили, но меня поразила, пока я медленно к нему приближалась, какая-то внутренняя — не только физическая — в нем перемена. В. обрюзг, в горечи складки у рта было выражение не так надменности, как брезгливости, было и некое омертвление живого, подвижного, в моей памяти, лица. Настал мой черед и я, вдвойне тронутая радостью встречи и чем-то, вопреки логике, похожим на жалость, — собиралась его обнять и поздравить — но, когда он увидел меня, что-то в В. закрылось. Еле-еле пожимая мою руку, нарочно не узнавая меня, он сказал мне: «Bonjour Madame».

Я всякое могла ожидать, но это — это не было похоже на В. Скажи он мне: «Ну, милая моя, и глупости же ты обо мне написала», или, «а статья твоя идиотская», я сочла бы это даже нормальным при существующих в прошлом наших

отношениях, но такая удивительная выходка человека, которого я помнила воспитанным, показывала в нем что-то для меня новое — и неприемлемое. Не мог же он думать, что я рассчитываю на какую-то там благодарность. Я отошла, позвала моего мужа, еще не успевшего дойти до В., и мы ушли, чтобы никогда больше не встретиться.

В тот день я потеряла друга, но писателя Набокова я не потеряла, и не было ничего им написанного, что меня бы не интересовало. И к тому же как-то шли ко мне самотеком воспоминания людей, знавших его в пору его ранней петербургской молодости, а затем в молодости берлинской, а затем и позднее до дней его международной славы и после нее[84].

С чужих слов

Людей, знавших Набокова еще в Петербурге, за границей оказалось почему-то предельно мало. В Париже до сих пор живет Ирина Г. К., с которой я давно дружна. Брат ее Саба был однопартником Набокова по Тенишевскому училищу и находился с ним в очень дружеских отношениях. Ирина Г., на несколько лет моложе своего брата, помнит В. как раз в те ранние годы. Раз, вспоминает она, Набоков ее очень обидел. Написанные ею детские стихи Саба показал В., и В. на них написал: «Большие поэты обыкновенно пишут грамотно». И. Г. помнит веселость юноши Набокова, его шарм и его необыкновенную **чувствительность**. Так, как-то во время футбольного матча В. неудачным ударом ушиб ее брата и страшно волновался, забегал его проведывать, звонил по те-

[84] Я десятки лет читаю газеты и журналы: английские, русские, американские, французские, и, естественно, вырезала из них статьи, посвященные Набокову. Имеется у меня и Triquarterly № 17, изданный к его семидесятилетию. Но я, сознательно, не только не приобрела, но не заглянула ни в одну книгу, о нем написанную. Впрочем, когда моя книга была почти закончена, я получила от д-ра М. Туркевич-Науман ее работу « Blue evenings in Berlin» о его рассказах 20-х годов.

лефону и никак не мог себе простить невольно причиненную другу боль.

Сразу после революции семья нефтепромышленников К. отправилась на юг, семья Набоковых оставалась еще в Петрограде. Оттуда В. отправил своему другу Сабе шуточное стихотворное послание в Кисловодск. Письмо датировано 25.10.17.

Привожу тут краткую выдержку.

……………Все печально,
Алеет кровь на мостовых.
Людишки серые нахально
из норок выползли своих.

Они кричат на перекрестках
и страшен их блудливый бред.
Чернеет на ладонях жестких
неизгладимый рабства след...
Они хотят уничтоженья
страстей, мечтаний, красоты...
«Свобода» вот их объяснение,
а что свободнее мечты?
Распространяться я не буду...

Конечно все посланье написано по старой орфографии. Набоков бросает своему другу, тоже теннисисту, вызов на матч, сообщает, что в мае «я лежал в больнице, был у меня апендицит» и «что сто рублей за мой автограф любой извозчик уж дает»...

В 30-х годах семья К. обосновалась в Париже. По своим связям с Нобелями, тогда еще имевшими влияние на выборы нобелевских лауреатов, отец Ирины и Сабы сыграла очень важную, если не решающую роль в присуждении Бунину

Нобелевской премии по литературе и вообще щедро помогал не только русским писателям и поэтам, но и простым эмигрантам.

После 12-летнего перерыва В. Набоков снова встретился уже в Париже, со своими друзьями. Из Берлина в феврале 1932 года он пишет Сабе, «как хорошо и весело было встретиться опять — в каком-то термосе сохранилось все тепло прошлого», прибавляя, что это правда, «а не писательский рокот». Так как после Парижа в этом году он впервые был у нас в Бельгии, то отмечает и это событие... В. «провел в Бельгии три приятных, но утомительных дня» и хвастается, что с честью вышел из своих путешествий, «расторопно», — впрочем потерял колодки и портсигар...

Сестре Сабы, Ирине, Набоков сперва задает загадку: «Мое первое — город в Бельгии, мое второе — последняя в гамме нота, мое третье — красивый француз, а мое целое — спасибо». Ирина послала ему фотографию, которая помещена в этой книге, он получил ее и считает, что «скромно выражаясь, я вышел неважно». Рассказывает о перипетиях обратного путешествия. Болван кондуктор не хотел пропустить его чемоданы в купэ — они были слишком тяжелы для одного человека, надо было их сдать в багаж, а так как один из них, большой, был без ключа, то он, чемодан: «от волненья и негодованья раскрылся, щелкнув зубами». Пришлось контролера подкупить, «а чемодан все продолжал содрогаться, и кричал галстук: прищемили!» — В. прибавляет «Как видите, и я умею писать под Сирина».

В 1934 году еще одно письмо Сабе. Набоков, видимо, просил найти его брату Кириллу работу в Париже, но без разрешения на работу эмигрантам не давали визу. В. пишет, что его уговаривают приехать в Париж дать вечер, но он «тяжел на подъем». А ехать ему надо в связи с выходом его книг по-французски.

Привожу еще выдержку из письма Е. С. К. ее дочери — оно лишний раз свидетельствует о трагическом положении Набокова за пять месяцев до его отъезда в США.

18.12.1939

В. заходил на днях. Выглядит ужасно. Саба ему аккуратно теперь выдает по 1 000 фр. в месяц (до сих пор получил 4 000), но, конечно, ему этого не хватает. Теперь он получил три урока по 20 фр. Итого в неделю 60 фр. К нему приходят ученики. В Америке ему обеспечена кафедра и есть вообще перспективы хорошо устроиться, но сейчас он не может ехать, так как ждет квоты».

К. (как и мой муж и я) — сердечно привязаны к Набокову тех лет — тронуты его благодарностью, его щепетильностью — восхищаются его талантом, радуются теплоте своих отношений с ним...

Другая моя приятельница, кн. Нина Александровна Оболенская, знала В. в Берлине в 1922–23 годах. Набоков тогда только что вернулся из Кэмбриджа, был очень светским молодым человеком, бывая не только в интеллектуальных кругах, но и в чисто светских. Его друзья смотрели на Набокова как на будущего великого писателя, все признавали его талант, ходили на его выступления. «Он читал по-особенному, очень живо и увлекательно». Как раз в то время он стал женихом — свадьба впоследствии расстроилась — Светланы, Светика З. Ей было тогда 16–17 лет, «она была высокая, хорошенькая девушка, с большими черными глазами, как-то по-особенному сияющими, с темными волосами и смугло-золотистой кожей. От нее исходили радость и теплота». Я позволяю себе упоминать об этой молодой любви Набокова, во-первых, потому что это было не то, что определяется словом роман, а во-вторых, потому что Светлана — образ ее — отразился в некоторых женских героинях Набокова и к ней

было обращено одно письмо с юга Франции, в 1923 г., копию которого она дала моей матери, по-видимому, желая сохранить память о почти детском своем увлечении. Кстати, из известных мне немногочисленных увлечений Набокова, кажется, только Светлана была брюнеткой.

С этой дамой, уже вдовой, я встретилась в Брюсселе почти сразу после войны и как-то невольно подумалось, «а что было бы, если бы»... А письмо ей, в 1923 году посланное Набоковым после разрыва, такое прелестное, живое, теплое, — хотя уже чем-то уж очень набоковское, то есть писательское и просящееся в антологию, или по крайней мере в биографию. Судя по нему, В. работал тогда дровосеком на юге Франции, собирался поехать в Бискру, в Алжир... чтобы найти место, где «даже тени» Светланы не будет... (В своих интервью Набоков подчеркивал, что физическим трудом никогда не зарабатывал).

Иным остался Набоков в памяти барона Андрея Витте — который встречал его в 30-х г. в Лондоне у В. П. Волковой и у Саблеров. А. Витте на 7 лет моложе Набокова, и писатель показался ему порядочным снобом, «неприятно саркастичным» в спорах.

Поэт Анатолий Штейгер, много путешествовавший, собирался в Берлин и хотя к Сирину он, поклонник Адамовича, относился с пренебрежением, я посоветовала ему непременно встретиться там с Набоковым.

В длинном письме своем от июля 1935 г. А. Штейгер мне написал: «Его (Сирина) можно встречать 10 лет каждый день и ничего не узнать о нем решительно. На меня он произвел впечатление почти трагического «неблагополучия» и я ничему от него не удивлюсь... но после наших встреч мой очень умеренный к нему раньше интерес — необычайно вырос».

В январе 1937 года Фундаминский и Руднев привели Набокова к одной русской даме, живущей с дочерью в Париже. Эта первая встреча произвела на обеих большое впечатление, но почему-то дама эта записала в своем дневнике: «Какой страшный человек»!

Как-то по приезде в Париж в 1939 году, когда умерла мать В., зная, как он был к ней привязан, как страдал от невозможности ей помочь, я сказала при встрече с хорошо знавшим его (несколько профессионально) русским парижанином — не писателем: «Бедный Набоков! Вы знаете у него мать умерла», на что, передернув плечами и удивленно на меня взглянув, мой собеседник заметил: «Ну, этот-то! Ему все все равно».

Так и был до отъезда в Америку наш Набоков и Набоков других — двуликим Янусом.

Поселившись в Монтрё, Набоков, по-видимому, никого из старых своих друзей не видал. Посещали его там только его родственники и друзья его жены. Но, может быть, иногда и рад был бы он встретить и ранее знакомых ему русских почитателей...

В 1969 году, в поезде, идущем в Лондон, муж и я повстречались с русско-американским профессором «Эмеретюс» и его американской женой. Мы разговорились. Они побывали в Швейцарии. Там, в горах, увидали они знакомого им по фотографии знаменитого писателя, с сачком, охотящегося за бабочками. Преодолевая робость, они к нему приблизились и представились. В. был очень приветлив, улыбался. Охотно начал разговаривать. Но вскоре показалась В. Н. Она его позвала. Набоков заторопился, на ходу с ними попрощался и пошел на зов.

Позднее В. встречался с советскими и бывшими советскими писателями, т. е. представителями той самой пролетарской литературы, которую он так презирал. Рассказы об этих

встречах я принимала не без скептицизма, но воображать эти аудиенции могла довольно легко. По-видимому никто из посетителей не видал Набокова наедине, всегда в присутствии его жены. Могу себе представить, с каким чувством рассматривал В. представителей нового для него племени — в независимости от их талантов — бесконечно далеких от него людей, книги которых он не читал.

Верю, что он все же был рад в старости, что омертвелая, но все теплящаяся в нем надежда иметь читателей в России оправдалась, и «в сущности совсем прозрачный» писатель Набоков стал известным в «стране немого рабства». На «великом просторе» появился читатель и «дикий» не остался «в неведении диком».

Мне труднее понять, чем может нравиться Набоков людям, которые в сущности, — почти все из них — отрекаются от той России, которая вырастила Набокова, тому читателю, о котором он так зло отозвался в 1951 году как «о новом, о широкоплечем провинциале и рабе».

Один из моих друзей, посетивший Ленинград, спросил у одного молодого поклонника Набокова, «что вам в нем нравится»? и получил ответ: «У него стиль аристократический», что опять-таки очень бы обрадовало Набокова.

Вижу, воображаю такие аудиенции, В., превосходно игравшего в созданного им для таких случаев Набокова, иногда и «паясничавшего» с рюмкой водки в руках. Один из ценимых мною советских поэтов утверждал, что когда В. говорили о том, как почитают его в России, и когда он слушал о России, «слезы струились по его лицу». Впрочем, это сейчас же опровергал близкий поэту человек. Не могу себе представить «залитое слезами лицо» В. — вижу в этом благородную проекцию, тонкость души того, кто увидел Набокова таким.

Вторично же никто из раз побывавших собратьев не приглашался — контакт установлен не был, да и на чем он бы мог

установиться? Даже не на общности языка — общности такой быть не могло.

О несостоявшемся свидании Набокова с Солженицыным ходит много версий, одна из них типично набоковская. Только сам Солженицын может правдиво об этом сказать. Но все же и Бунин и Солженицын гораздо более великодушно говорили о Набокове, чем он об этих двух больших писателях.

Не совсем точно, что я в последний раз видала В. Набокова на приеме у Галлимара в 1959 г. Мне довелось его увидеть еще раз — к моему сожалению — на экране французского телевидения, и мне трудно теперь, как я ни стараюсь, отделаться вот от этого последнего виденного мною облика, еще более от меня заслонившего другой и дорогой мне образ. У молодого Набокова не было ничего нарочитого, и даже «провокационные» его утверждения в прошлом были не подготовлены, а выдуманы в ту же минуту, когда он их говорил.

А в грустную парижскую ночь, заранее и тщательно подготовленная пьеса разыгрывалась на малом экране — знакомый мне, когда-то Ариэль тяжеловесно дурачил не заслуживающих его презрения зрителей. Ни один жест, ни одно слово, ни одна улыбка не были бесконтрольны. Фишка за фишкой, творчество Набокова, казалось, поглощал какой-то компьютер.

Незадолго до этой передачи французские зрители видали на том же экране вдохновенное лицо Солженицына, сосредоточенное, пронизанное волевой и духовной энергией, где не было ни игры, ни подтасовки. Одна правда. Повидав передачу «Апострофы» с Набоковым, один французский критик заметил: «Мы увидали Сальватора Дали, переодетого швейцарским нотариусом!»

Более учтиво (правда, эта статья была помещена сразу после смерти писателя), Жерар Гильо в Фигаро так вспоминает

эту телепередачу: «Перед нами предстал оледеневший человек, маскирующий свое беспокойство, скрывающий сердце под гордыней, а гордыню за «неприсутствием». Человек горящего холода и зачинатель дела, в котором сочетаются расчетливость и необъятность...»

С горечью пишу об этом и с болью, желая понять, найти причину и оправдание той игре, которая закончилась победой Валентинова над бедным Лужиным.

Пародия дошла до предела, и сам писатель стал пародией самого себя.

И все-таки, и все-таки — Владимир Набоков самый большой писатель своего поколения, литературный и психологический феномен. Что-то новое, блистательное и страшное вошло с ним в русскую литературу и в ней останется. Он будет — все же, вероятнее всего — как Пруст, писателем для писателей, а не как Пушкин — символом и дыханьем целого народа.

На нем заканчивается русский Серебряный Век.

Читая Набокова

Вы-то хорошо знаете, что я чистейшей искры выдумщик и никого не сую в свои вещи...

В. Набоков, из письма 1936 г.

Несмотря на это, все повторяющееся в те годы утверждение, Набоков, не менее Толстого, пользуется действительностью. Реальность мира — это материал его творчества, из живых людей родятся его герои, главный из них, в разных арлекиньих одеждах — он сам. Да и что может быть для писателя, существа всегда интроспективного, интереснее его самого?

Мы имеем три автобиографии Набокова: «Конклюзив Эвиденс», «Спик Мемори» и «Другие Берега», одну романси-

рованную, и во многих отношениях более откровенную, чем эти три — «Дар». Наконец есть и вымышленная, с примесью правды, может быть, даже исповедь — «Смотри, смотри, Арлекины!» Кроме того, во всех произведениях Набокова, кроме как в романе «Король, Дама, Валет», всегда имеются элементы автобиографические.

Вымысел — прием. Действительность — материал. С ловкостью фокусника бросает Набоков в цилиндр платки, мячи, кроликов, чтобы вытащить из него то, что на них не похоже. Он шифрует самого себя, дурача исследователей, которым приходится вытаскивать из-под щебня вымысла ту правду, что под ним скрыта. Если Пушкин «монолитен в своих противоречиях», то Набоков мозаичен в своем однообразии...

Я не знаю другого писателя, который в течение всей своей жизни продолжал бы писать о себе самом, обязательно включая в свои книги частицы своей биографии. Обычно, в первом романе начинающий романист старается так от себя «отделаться», и затем переходит к созданию героев, от него совершенно отличных. Флобер физически переживал страданья умирающей Эммы Бовари, не передавая ей свои собственные переживания. Персонажи романистов сборны, выдуманы, обычно для одного только произведения. Наташа Ростова, Китти Щербацкая, Анна Каренина, княжна Марья, никогда не вырвутся из страниц одного романа на страницы другого. Они неповторимые личности. Как и Мышкин и Настасья Филиповна и Евгений Онегин и Хлестаков. У Набокова похожесть персонажей, повторность их поразительна. Не только одни и те же навязчивые символы, как зеркала, но даже почти одинаковые образы переходят из книги в книгу, даже и предметы всегда возвращаются.

«Живой, невероятно милый» мяч мальчика Годунова-Чердынцева не навсегда закатился под нянин комод (Дар), он

же красно-синий закатится и под койку смертника Цинцината (Приглашение на Казнь) и предстанет еще перед зрителями пьесы «Событие», когда через сцену катится сине-красный детский мяч.

Еще разительнее пример ковра. Земное существование подобно великолепному ковру. Оно не что иное, как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне. Это в «Даре», и в том же «Даре» эта метафора возвращается. Странность жизни «как будто на миг завернулась и он увидел ее необыкновенную подкладку». В одном стихотворении Набокову хочется так сложить дивный ковер жизни, чтобы узор настоящего пришелся бы на прошлый «прежний узор». В «Пильграме» мысли Элеоноры показывали привлекательную лицевую сторону, а в «Приглашении на Казнь» время складывается опять как ковер, складки которого можно собрать так, чтобы соприкоснулись два узора. У Лужина был гувернер, который умел показывать фокусы со стаканом и монетой, надо было, чтобы узоры монеты и скатерти совпадали, «совпадение узоров есть одно из чудес природы».

Тут хочется мне отметить удивительное совпадение узоров: Ренан сравнивал живые существа (êtres vivants) с ткачами, ткущими гобелены (шпалеры), которые создают оборотную сторону ковра, не видя узора его лицевой стороны.

Как ни зашифровывал себя Набоков, тем, кто был с ним знаком, легко найти его в его героях. Если сборный муж Нины («Весна в Фиальте»), кое-чем и похож на одного современника Набокова, он имеет много общего и с ним самим. «Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове», этот венгерский писатель «с выжидательным выражением египетских глаз», пишет по-французски, а не на своем родном языке и, познав «природу вымысла», он более гордится званием сочинителя, чем званием писателя, как и Набоков в 30-х годах.

В одном из самых замечательных романов Набокова «Даре», не менее чем Чернышевский, увиденный глазами Набокова, интересен и Годунов-Чердынцев, его биограф. Умный критик Кончеев — в вымышленном диалоге — упрекает его в «излишнем доверии к слову», что за собой знал и автор «Дара». Федор Константинович и Владимир Владимирович во многом похожи. И у того, и у другого «Петербургский стиль», «гальская закваска» и «неовольтерианство». Мартын (Подвиг), как и Набоков в молодости, имеет «ладность всего облика и движений». Он так же англизирован, как и Себастьян Найт с его желто-канареечным свитером — такой канареечный свитер носил в Кэмбридже Набоков — и с его спускающимися носками. Кстати Себастьян тоже вырос в атмосфере интеллектуальной изысканности, в которой сочетались русский шарм с европейской культурой.

Набоков давал в Берлине уроки тенниса, а у Мартына (Подвиг) «Так ныло правое плечо, так горели ноги».

Смурова (Соглядатай) и Набокова сближает не только то, что оба они дают уроки, но то, что между соглядатаем и наблюдателем разница не велика — она заключается в цели, в мотиве соглядатайства. Всегда зрячий Смуров, всегда зрячий Набоков, у обоих «воображение было так мощно»... У Смурова, как и у его создателя, можно насчитать по крайней мере «три варианта» его личности и при этом подлинник останется неизвестным. Так неказистый двойник облагорожен. Да и то сказать, ни писателя, ни его персонажа как будто и нет. Образ их надо искать в «тысячах зеркал, которые их отображают».

Наделен набоковскими чертами и Виктор, сын Лизы (Пнин). Необыкновенный этот мальчик тоже имел в детстве «приятную свободность манер», но главное, уже в шесть лет «узнавал цвет теней, улавливал разницу тени от апельсина или тени сливы». В своих воспоминаниях Набоков пишет, что

у него был «окрашенный слух». Подобно Артуру Рембо он видел буквы в красках. В «Даре» буква С «сияет сапфиром», а буква Ы «столь грязная». К тому же и сын Лизы и Набоков засыпают с трудом...

Набоков как будто все знает о себе, а кое-что даже и предчувствует, или чувствует — то зачаточное, что разовьется в старости.

Есть у него от Шока (Картофельный эльф), который не может «пропустить случай, чтобы не сотворить обмана мелкого, ненужного, но изысканно-хитрого». Не отожествляет ли он себя и с Горном из «Камеры Обскуры», который глядя, как слепой садится на свежепокрашенную скамейку, его об этом не предупреждает — питая свое творчество бессердечностью невмешательства.

В Лизе (Пнин) есть общее с одной молодой женщиной, которую Набоков знал в Берлине, в самом Пнине, герое самого теплого и человечного из всех его американских романов, найдется общее с автором, утерявшим «ладность движений». Недаром у Пнина так художественно болят зубы — они часто болели и у молодого Набокова. Когда я говорю о предчувствиях о себе Набокова, я думаю о другой замечательной его книге «Защита Лужина». Во время ее написанья Набоков был деятелен, подвижен, по его термину «расторопен», т. е. был еще включен в общение «с другими. Подобно Лужину, зачарованный игрой, в старости он перейдет грань и войдет в отстранение, выпадет из игры.

Удивительно все-таки, как Набоков, так внимательно относящийся к своему творчеству, с такой беспечностью относится к повтореньям, он не мог не знать, что именно самое удачное определение, самая оригинальная мысль или фраза должны быть единственны... Что-то понуждало его к такого рода возвращениям.

Мартын (Подвиг) показывает Ирине, как сложить два пальца на хлебный шарик, чтобы осязать его как два шарика. То же делает и Круг в «Bend Sinister» для Давида.

Громадный фаберовский карандаш, который мать привозит больному мальчику в «Даре», возродится уже откровенно в воспоминаниях. Лиза («Пнин») живет в гостинице рядом с двумя молодыми педерастами, как и Ганин в «Машеньке». Пнин подымает свой палец в воздухе по-русски вертикально, как бы указуя на небеса, а не угрожающе-горизонтально по-немецки. Об этом жесте прочтем мы и в «Даре» и в «Других Берегах». Полубрат Себастьяна Кнайта повидает в Швейцарии бывшую его гувернантку, очень схожую с бывшей гувернанткой мемуариста «Conclusive Evidence».

Прототипы романов и рассказов Набокова существуют или существовали, не трудно догадаться, кто из зарубежных литературных критиков был Жоржик Уранский, а в другой книге Мортус. И у писателя, и у одного его персонажа тетка работает в американском посольстве.

Что касается «Лолиты», то, хотя Набоков и утверждал, что идея нимфетки пришла ему в 1940 году, на самом деле уже в «Даре» обозначена будущая Лолита, да и в «Приглашении на Казнь» двусмысленна Эмочка, «маленькая девочка с икрами балетной танцовщицы», так грациозно и обманно манящая Цинцината недостижимой свободой.

Приблизительно через 40 лет после «Дара», лет через двадцать после «Лолиты» и пять после «Ады», появится в «Смотри, смотри, Арлекины!» еще одна девочка — на этот раз уже не падчерица, а родная дочь В. В.. Отношения их двусмысленны, но невинны. Как и Лолита, Изабелла-Белл уйдет к самому обыкновенному молодому человеку. Он увезет ее в... СССР. Туда отправится, в надежде ее увидать, и В. В. На этом аналогия с Лолитой кончается. Что-то сумасшедшее было в погоне Гумберта Гумберта за Лолитой — тяжелое дыханье, мученье. Всего этого нет в «Арлекинах».

Но особенно меня поразило то, что промелькнуло в книгах до-американского периода Набокова об эротического рода литературе, и еще больше, кто это высказывал. Например, Герман в «Отчаяньи», «ощущая в себе поэтический, писательский дар» и к тому же «крупные деловые способности», подумывал, когда шоколадное его предприятие начало тонуть, почему бы ему не заняться другим — «например, изданием дорогих роскошных книг, посвященных всестороннему освещенью эроса». «Отчаянье» написано в 1933 г. В «Даре» — 1937 г. — о будущей Лолите думает самый пошлый персонаж этого романа, отчим Зины Мерц — Щеголев. Зайдя в комнату своего молодого жильца, сидящего перед исписанными листами бумаги, он поведал ему, что, будь у него время, он бы «такой роман накатал»! Как и всем подобным ему людям, сюжет казался Щеголеву особенно удачным, потому что был взят из жизни. А сюжет его соблазняющий был таков: человек уже пожилой, но «в соку», знакомится с вдовой, у нее дочка «совсем еще девочка — знаете, когда ничего не оформилось». Вот девочка эта и побудила вдовца жениться на ее матери, и с тех пор отчим испытывает «соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду»... Сам же Годунов-Чердынцев в письме к матери пишет, с какой бы радостью он покинул «тяжкую, как головная боль страну», где «роман о кровосмешеньи... считается венцом литературы». Как могло случиться, что идея пошляка Щеголева была осуществлена Набоковым? Или то, что в «ненавистной» стране отвращало Годунова-Чердынцева стало приемлемым для писателя в «Аде»?

Тут и может быть подтверждение моей догадки, что и секретарю Найта и Щеголеву, и Герману, и другим несимпатичным персонажам передает Набоков кое-что свое, интимное, а не только героям «положительным», как Годунову-Чердынцеву или Найту.

А какое обилье писателей и биографов среди героев Набокова! Годунов-Чердынцев, писатель и поэт, пишет о

Чернышевском, Себастьян Найт писатель, о нем пишет «шут» Джон Гудман, Шэд поэт — о нем пишет Чарльз Кинбот... Кажется ни у одного писателя нет такой коллекции воображаемых литературных собратий.

Кроме фокусников и обманщиков есть также и вдохновенные лгуны, как Смуров или Герман, который сам признается, что с детства одна из главных его черт — «легкая, вдохновенная ложь».

Из реальностей детства писателя интересна тема дуэли. Петербургские старожилы говорили мне, что отец Набокова действительно стрелялся с кем-то, сказавшим, что, женившись на Рукавишниковой, он женился на деньгах. Впервые мы найдем переживанья мальчика, случайно узнавшего, что его отец будет стреляться, в сборнике «Соглядатай», в рассказе «Лебеда». Там, на Крестовском Острове, состоялась дуэль между Шишковым (этой фамилией Набоков подписал свои два стихотворения о России) и графом Туманским. Сын Шишкова, Путя, узнав, что отец его выжил, зарыдал в школе от облегчения. Себастьян Найт в своей книге «Пропавшая собственность» вспоминает о дуэли своего отца во время метели на берегу замерзлого ручья (Черной Речки?). Там отец был убит. О дуэли своего отца Набоков напишет в «Conclusive Evidence», не указывая на ее причины, но уточнив, что, в сущности, обидчик отца был «недуэлеспособным». Клеветник матери Найта был «cad» — подлец.

Лично гнета тирании на себе Набоков не испытал, был только свидетелем ее в Германии; прототип тирана ему не встречался в жизни, и поэтому рассказ «Истребление Тиранов» и роман «Bend Sinister» остаются довольно абстрактными и бледнеют перед многочисленными свидетельствами о Гитлере или о Сталине не только очевидцев и жертв их злодеяний, но даже и перед подлинными «выдумщиками», как Орвелл.

Короткий — 9 страниц, рассказ «Облако, Озеро, Башня» (Русские Записки № 2, 1937 г.) гораздо более тонко, а следовательно и более глубоко, чем даже «Истребление Тиранов» показывает зло тирании. Этот рассказ теперь мало кому из русских читателей знаком, вот вкратце его суть. Тихий герой Василий Иванович, кое-чем похожий на Пнина, «скромный, кроткий холостяк», выиграл на русском благотворительном балу билет на «увеселительную поездку». Поездка оказалась групповой — состоявшей из немцев и их вожака (фюрера). Как единственный русский, т. е. особенный, В. И. был немедленно и насильственно присоединен к большинству, и дальнейшее обернулось кошмаром. У В. И. был отнят томик Тютчева, который он собирался в дороге читать, ему запретили смотреть в окно, принудили участвовать в хоровом пении. Отняли от него и его провизию, булку, три яйца и любимый огурец (огурец был сразу же выкинут за окно), яйца и булку включили в общую закуску, причем В. И. дали порцию меньше чем другим — его паек был неказист. После отвратительной коммунальной ночи В. И. пришлось «цузаммен марш*и*рен», идти в ногу со своими спутниками по сельской дороге, не заглядываясь на окружающее. И вдруг, на привале, перед В. И. открылось «то самое счастье, о котором он, в полгрезе подумал». Синее озеро, отраженное в нем облако, и на холме, в зелени, старинная черная башня. Тут, подумал В. И., мне нужно остаться, — навсегда. Но едва он сообщил своим спутникам о своем решении и что дальше он не пойдет, обратно с ними не уедет, как вожак обозвал его «пьяной свиньей». У В. И. отняли его дорожный мешок: «Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь»! Остаться было verboten — запрещено. «Если нужно, мы вас понесем», — сказал вожак. Когда В. И. усадили в вагон, его начали избивать: «Было превесело».

С такой экономией средств — ничего не объясняя, ничего не подчеркивая, — Набоков больше сказал об угнетении, чем в дидактическом «Bend Sinister».

Что сказать об «Аде», романе, по его собственным утверждениям, особенно им ценимом? На обложке удешевленного издания в Америке заботливый издатель начертал для соблазна покупателей: «Новый бестселлерный эротический шедевр автора *Лолиты*» (роман был впервые напечатан в 1969 году).

Эротический? Шедевр? На первый вопрос можно ответить утвердительно — если эротика заключается в количестве половых забав, которым персонажи «Ады» предаются с раннего детства и до старости, с прорезывающими эротику звуковыми и смысловыми набоковскими каламбурами — доказательствами авторской эрудиции вообще и в области международной лингвистики в частности. Мненья американских и английских критиков резко расходятся. Кто из них хвалит «Аду» со страстью, иногда и с подобострастьем, кто бранит без страсти, но не без насмешливости. Мне показалось, что это самая скучная из набоковских книг, в ней нет набоковской легкости, она какая-то вымученная. Подобно знаменитому зданью, сооруженному своими руками во французской провинции Изера отставным почтальоном Шеваль на рубеже 20-го века. Громоздкое, барочное, хоть и современное нагромождение камней (впрочем, теперь оно охраняемо государством не столько, как чудо искусства, сколько из-за его странности), это воплощение фантазмов покойного почтальона.

«Ада» — вавилонское смешение языков. Набоков щеголяет перед бедными читателями, знающими только один какой-нибудь язык, своим перед ними превосходством и вкрапляет в американский роман слова и выраженья русские, французские и даже немецкие — уснащая все аллитерациями, каламбурами и литературными ребусами... (впервые, в

The real life of Sebastian Knight — попадаются русские и французские слова в английском тексте).

Демьяна зовут Демоном — он отблеск лермонтовского демона — (упоминается и Врубель), одну сестру зовут Аква, другую Марина — целое же Аквамарина. Но и в «Аде» можно отыскать: Нирванат, Невада, Ваниада, Ван (Иван) и Ада главные персонажи книги. Ада — Ардор, ардер — жар. Эта запутанная хроника потомков, конечно, княжеской четы. История заканчивается в 20-х годах нашего столетия. Начинается же она с такой фразы: «Все счастливые семьи более или менее непохожи, все несчастные более или менее похожи». Читатель догадался, что так начинается «известный роман» «Анна Аркадьевич Каренин». Словами Набоков это может быть определено как «furnished space» или по-русски «меблированное пространство». И только в 4-ой части книги можно найти размышления постаревшего писателя о смерти и времени.

Женщина в романах Набокова

Кажется, кто-то уже отмечал все увеличивающееся женоненавистничество Набокова. Действительно, спроси какого-либо читателя назвать хоть одно женское имя, им запомнившееся, из всех женских образов, созданных Набоковым, он назовет «Машеньку», — может быть, а «Лолиту», — наверное, она уже стала нарицательной. Главные персонажи у Набокова всегда мужчины. В лучшем случае женщины нейтральны, они не имеют собственной ярко обозначенной личности и существуют по отношению к рассказчику, живут в его отображении. Отображенная, тихая прелесть есть у Машеньки — Тамары. Промелькнет в «Соглядатае» Ваня с ее своеобразной красотой, бархатными глазами и веселым сиянием в них. Молчаливая Клэр — Себастьяна Найта, как и «Красавица» рассказа так названного, умрет в родах. Они останутся тенями, уступят место карикатурам: Лида Германа глупа, Мар-

финька, жена Цинцината — пародия, как и его мать. Лолита, потеряв соблазнительность нимфетки, потеряет и свое очарование, Анета «Арлекинов» — идиотка, Лиза «Пнина» — карикатура, наконец, в «Прозрачных предметах» Хюг Персон в полусне душит свою жену... Остается Ада? Но Ада половина Вана, составная часть его, не просто двойник или просто близнец, они сиамские близнецы — одно существо, две половинки одного существа, дополняющие друг друга.

Кто Зина в «Даре»? Она умна, образована, холодна, обидчива... В ней нет тихой прелести Машеньки — Тамары, нет теплоты, нет души. Чем привязывает молодого Годунова-Чердынцева Зина, кроме понятного молодого влечения к девушке, рядом с ним живущей? Тонкостью своего понимания его писательских проблем, верою в его гений. Она хочет, чтобы Годунов-Чердынцев написал «что-нибудь огромное», у нее много планов для него. Она способна его поправлять — «так по-русски нельзя», она одарена «гибчайшей памятью, которая, как плющ, обвивалась вокруг слышанного ею», она, по словам Годунова-Чердынцева, незаметно «служила ему регулятором, если не руководством», Зина была уверена в гении молодого писателя: он «размахнется так, что все ахнут!!». «Барышня с характером», — говорили про нее ее знавшие. Сотрудница, соучастница того, что Годунов-Чердынцев задумал, Зина смотрела на его писанье как на что-то свое, негодовала на критиков, его не похваливших... Только ей он может говорить о своих планах. Она не эхо на его голос, она говорит вместе с ним.

И Годунов-Чердынцев, спрашивая себя, нужна ли ему вообще жена, уверен, что лучшей жены он себе не найдет. Ведь она верит, что он станет великим писателем, «какого еще не было», что Россия будет изнывать по нему, «когда спохватится». Правда, на вопрос Зины, любит ли ее Годунов-Чердынцев — он прямо не отвечает...

Совсем другой образ женщины в «Защите Лужина», девушки, которая станет женой героя. Все внимание читателей обращено на самого Лужина и она остается в тени. Напрасно! Набоков ей придал такие редкие для своего отношения к женским персонажам черты, что на Лужиной следовало бы задержаться. В некотором отношении она антитеза Зины Мерц. В ней нет честолюбия, и выходит она замуж совсем не за маэстро Лужина, а за Лужина, затерянного в мире ребенка, смешного и патетического чудака, только для того, чтобы защитить его от какой-то опасности, хотя она и не знает точно от какой — но реальной, отчасти и от славы...

Молодые люди считали ее — заметим, что у жены Лужина нет ни имени, ни фамилии — милой, но довольно скучной барышней, мать — декаденткой, потому что она читала Бальмонта. Отцу ее нравилась ее независимость, ее тишина. Но сам Набоков называет в ней самым «пленительным» и незамеченным другими то, что в ней была таинственная способность души воспринимать только то, что «привлекало и мучило душу в детстве», «когда дух у души безошибочен». Она была открыта к смешному, забавному, но главное, у нее был дар жалости «ко всякому существу, живущему беспомощно и несчастно», будь то сицилийский ослик или гениальный и слабый Лужин.

Она, Лужина, была живой человек в мире неживых, у нее была горячность духа и при всей затушеванности ее роли — в ее действиях обнаруживается непоколебимость и решительность.

Это, мне кажется, единственный женский образ у Набокова, в котором мы найдем качества души, к тому же действенной, а не только созерцательной. Она не могла себе объяснить существование чужой муки — «в таком располагающем к счастью мире» и пресечь это чужое мученье было для нее необходимостью. Она чувствовала, что если ей сде-

лать этого нельзя, то она сама задохнется и умрет. Она не любила вещей, не занималась чужим мнением, вся была в другом мире, мире состраданья, но без всякой елейности или даже идейности. За Лужина она вышла замуж исключительно потому что он был беззащитен, таинственен. Если Лужину и можно с кем-то сравнивать, то это только с Перовой, любившей пианиста и композитора Бахмана, в сборнике «Возвращение Чорба». Перова с «лицом неудавшейся мадонны» и легкой хромотой, полюбила, впрочем, Бахмана коротконогого, плешивого, немолодого человека, к тому же пившего, все-таки за его дар. Дар Лужина был слишком необычен, чтобы очарование его могло распространиться на Лужину... У нее к нему была жалость как к слепому котенку, потерявшейся собаке, ребенку играющему над пропастью.

Многие почитатели Набокова считают, что русские его книги лучше американских. Мне думается, что среди русских, кроме некоторых рассказов, лучшие из лучших это «Защита Лужина», «Дар» и «Приглашение на Казнь» — они одни уже обеспечивают ему высокое место на русском литературном Парнасе. Собственно говоря, в этих трех книгах уже заключается весь Набоков, весь его талант, весь его блеск, вся его виртуозность и все его тайные мысли, весь он сам. Из написанных по-английски — «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Пнин» и «Бледный огонь»... Но после «Лолиты» намечается спуск, творческий упадок. «Смотри, смотри, Арлекины», «Прозрачные предметы» и даже «Ада» — это только перепевы прошлого, оригинальность становится маньеризмом. Как будто иссякли творческие силы при сохранившейся виртуозности, и ремесло притушило творческий жар.

Может быть не хватало воздуха в пробковой камере последних лет, несмотря на окно, оставленное для лета бабочек...

Сам Набоков признавался, что соглядатайство, наблюдательность были у него развиты до чрезвычайности. Он презирал тех, кто не замечает лица, краски, движенья, жесты, слова, всего, что происходит вокруг них. В последние годы наблюдательность была оставлена без употребления, общение с «сырьем» — материалом для его творчества — прекратилось. Все надо было выбирать из ранее накопленного, заниматься самопожираньем, кормить собою, своим нутром, своими фантазмами книгу за книгой...

«Король, Дама, Валет» выпадает из удач Набокова этого раннего периода, потому что явно это было написано, чтобы пробиться в переводы, как и другая более удачная книга «Камера Обскура» для того, чтобы пробиться на экран — безденежье помеха для писательства и не расчищает путь гениальности.

Личные переживания Набокова, все им видимое и слышимое было необходимым ему материалом, «изнанкой ковра», который он ткал. В жертву Тирана ему было труднее воплотиться, чем в Цинцината, потому что он осознавал себя не только смертным, — смертником, но исключительным, особенным.

По его письмам, по его книгам, по его отношению к другим людям, можно проследить, как определялось в нем с годами последнее перевоплощение Набокова.

В первых своих произведениях Набоков прячет себя менее тщательно, к тому же мир для него еще не безнадежен. В 1929 году он видит смысл писательского творчества в изображении каждодневности, в бытовых мелочах «так, как они отражаются в ласковых зеркалах будущих времен». Но если молодой Набоков думает в этом же пассаже, что в нашем прошлом потомки найдут «благоуханную нежность», то в его воображении потомок этот, когда он наденет самый простой пиджак, будет «уже наряжен для изысканного маскарада».

Сатира, а иногда и юмор — виды отчаяния или признак обиды, вот отчего венгерский писатель в «Весне в Фиальте» всего только «мнимый весельчак». Постепенно исчезает из произведений Набокова острое ощущение счастья, пусть мгновенное, и радости. Последняя человеческая книга это «Пнин». Та «банальная боязнь банального», в которой он упрекал Катрин Мансфильд, появилась с течением времени у него самого.

Не устану повторять — пародийный дар у Набокова велик. В «Даре» один персонаж так прекрасно пародировал другого, что стал и в самом деле на него похож. Работая над своей книгой о Чернышевском, Тодунов-Чердынцев «хочет все держать на краю пародии». В «Лолите» Гумберт утверждает, что «пародия всегда сопутствует истинной поэзии».

Вообще творчество Набокова можно уподобить современному барокко, по его цветистости. Да и подбор имен, которыми он дарит своих героев, часто аллегоричен. Шок — шокирует, Хорн — рогатый, Уранский — ... Кнайт — рыцарь, но произносится по-английски как Найт — ночь, Эдельвейс благородный — белый. Шед — из «Бледного огня» — полутьма, бестелестная тень, ширмы, издатель Персон — персона. (В 17-м веке Персуной звали портреты), Пнин — пень, дерево, тут что-то русское, добротное и без лукавства, в «Аде» по-русски есть и Да и Ад, и читать это имя можно с начала и с конца — короткая и дурная бесконечность.

Анаграмму своей фамилии, иногда точную, иногда приблизительную, Набоков любит вставлять в свои произведенья. То это Адам фон Либриков, то Мак Наб, то Нотебок, то Вивиан Даркблаум, то Вивиан Калмбруд. В «Арлекинах» В. В. старается вспомнить, с какой буквы начинается его фамилия, примеривает несколько их на букву Н — Небесный, Наборкрофт, Ноторов... В небольшой книге, написанной сразу после «Ады» — в ней всего 104 страницы — «Transparent things» «Прозрачные предметы» или «Прозрачные вещи», Набоков,

философствуя, хоть и пишет как будто о проблемах писательства, опять-таки пишет о себе — Хюг Персон — издатель. Его знаменитый автор — Барон Р. живет в Швейцарии — впрочем, возможно, что издателя Персона и не существует вообще, барон же Р., не менее самого Набокова презирает Фрейда и у него плохая репутация насчет нимфеток.

Вопреки раннему его утверждению в письмах ко мне — «будем прежде всего сочинителями», Набоков к концу жизни ставит «звание писателя» выше «звания сочинителя», одновременно отожествляя творчество с памятью.

В предисловии ко второму изданию «Защиты Лужина» (Париж 1963), Адамович покаянно пишет: «Истинный художник улавливает законы, которым он подчиняет свое творчество, будучи однако сам не в силах найти им объяснение». Это знал и Пушкин, вдохновению, т. е. непонятному, отводя почетное место. Набоков выразил это непонятное в «Лужине», может, чувствуя эту не зависящую от него силу в самом себе. Но с годами, в своей гордости, он как будто не хотел быть обязан ничем такому иррациональному моменту как вдохновение. Он хотел сам творить законы своего творчества, верил в свою абсолютную власть над ним. Ничего не должно было быть написано случайно, все сделано, все понято — как поэзия Поль Валери.

Россия

Россия долго держала его...
Старалась удержать его...

Набоков «Звонок»

А когда мы вернемся в Россию... Каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян.

А она ведь не историческая, — только человеческая...

Набоков «Дар»

Она была в его памяти странным смешением райской радости, неизбывного страха, горечи потери. Россия настойчиво и цепко пробивается в стихах, рассказах, романах Набокова. Сперва как что-то предельно живое, затем отмирающее — как эхо давно прозвучавшего голоса и, наконец, входит в открытую и тайную мифологию, Градом Китежом, Атлантидой, потерянным Эденом. Она населяется тенями, которые только память и может оживить. Она Зоорландия и Зембля.

Как бы ни настаивал Набоков, за последние двадцать лет жизни, что он не русский, а американский писатель — это еще одна из набоковских масок. В интервью, данном им Альдену Виману в 1969 г., Набоков заявил, что «Америка единственная страна, где я чувствую себя интеллектуально и эмоционально дома». Мы можем этому родству не так уж верить, потому что Набоков только два раза, за почти 20 лет вернулся в страну, принесшую ему славу — т. е. как будто по ней он не соскучился. И на этот раз изгнание было явно добровольным. Америка не обратилась в Зоорландию, она не мучила его снами, не смотрела на него «дорогими, слепыми глазами», не угрожала ему расстрелом или тюрьмой — если бы он туда вернулся...

И в «Лолите» и в «Пнине» описания американского континента и населяющего его народа сделаны как бы «извне», так, как видели и описывали их иностранные писатели, в частности англичане, не как свое, кровное. В «Лолите» Набоков или его alter ego не хочет «бросать тень на американскую глушь». Он называет ее трагической и эпической, но никогда не Аркадией. Райского в природе он там не находит, несмотря на всю ее красоту и даже на то, что может быть в ней похоже на русскую природу. То тропинка «подловато виляет», то в Новой Англии «кислая весна». В западной же Европе все еще было почти свое, домашнее, могущее переселиться в Россию. Берлинское небо еще нежно и над ним встает другое, «где верхушки лип» прохвачены желтым солнцем»,

где белая скамья «сияет в зелени хвой». Ганин и Набоков бродят в «светлом лабиринте памяти», они знают дорогу и на «ощупь и на глаз». На немецкой улице еще «блуждал призрак русского бульвара». В Швейцарии Мартын, впервые увидевший горы «гуашевой белизны» вспомнил — «густую еловую опушку русского парка».

Как и полурусский Мартын, полурусский Себастьян Найт, покинув Россию, чувствует себя эмигрантом. Заметим, что русский язык Себастьяна Найта чище и богаче чем его английский. Найт думает, что одна «из самых чистых эмоций изгнанника, это тоска по родине». Ему хочется «показать такого изгоя, напрягающего до предела свою память, чтобы сохранить картины прошлого».

Книга за книгой, до самой последней, отражает это напряжение изгнаннической памяти Набокова. России нет только в «Короле, Даме, Валете» — книге, которая, как я уже говорила, возможно была попыткой попасть в немецкое издательство, с чисто немецкой темой — как и в «Камере Обскуре» — просящейся на экран.

Но как спасти память о прошлом, не давая этому прошлому окостенеть, окаменеть? Мартына раздражало, что Арчибальд Мун относился к России как «к мертвому предмету роскоши». У Муна хранился «саркофаг с мумией» России.

В конце тридцатых годов не только Мартыну, которой в юношестве воображал себя, или снился себе изгнанником, но и всем нам стало ясно, что «изгнание... воплотилось полностью», что оно стало бесконечным, тогда-то и появились стихи Шишкова, — стихи-заклинания. Шишков-Набоков не отказывался от России, он умолял ее отказаться от него, не сниться ему, не жить в нем. Последнее, «чуть зримое сияние» России продолжало его мучить, звать домой, хотя дома уже не было и одни призраки бродили по аллеям усадебного парка и Петроградским набережным.

Только словом «изогнутым как радуга» мечтает поэт вернуться в «полыхающий сумрак России»...

Я не сразу заметила, что уже в «Машеньке» появляется тема подвига. Ганин говорит Подтягину о своем замысле, уже трехлетней давности, составить партизанский отряд, пробраться к Петрограду и поднять там восстание. Ностальгия подвига тоже, как будто, жила в Набокове, может быть, потому что ему было как-то совестно, что во время гражданской войны он ничем не участвовал в этом, пусть обреченном на неудачу, действии, в котором участвовало множество его сверстников.

В «Подвиге» Дарвин, прервав учение, пошел добровольцем на войну, когда ему было 18 лет и провел три года в окопах. Узнав об этом, Мартын ощутил свой собственный опыт весьма малым. Боев в Крыму больше не было, но Мартын «с нетерпимым сознанием чего-то упущенного, воображал себе... легкую рану в плече».

Самое же решенье Мартына вернуться в Россию совсем не убедительно, творчески неудачно и именно из-за этого и кажется оно проекцией, авторским импульсом освободиться от своего комплекса. Вероятно, в молодом Набокове, как и в Мартыне, жила «мальчишеская тяга к опасности», как говорит мать Мартына, всегда Мартына от нее ограждающая.

Из воспоминаний Набокова я предпочитаю первую версию «Conclusive Evidence». При позднейших переделках исчезает спонтанность. В первой же версии о том, как Набоков собирался поступить в армию, написано следующее: «В продолжение последней части моего... пребывания в Крыму, я так долго собирался поступить в Деникинскую армию» — и тут же пируэт, чтобы не подумали, что это была жажда подвига — «не так чтобы войти в предместье Петербурга, как для того, чтобы достигнуть Тамару на ее хуторе».

Надежда вернуться на родину — одна мысль об этом возвращении сопряжена для русских изгнанников с ощущением страха, памятью о бегстве.

Немало было написано о Гоголе по поводу убежавшего от Агафьи Тихоновны Подколесина. Тема бегства в произведениях Набокова, как и многие другие его ключевые темы, повторяются с настойчивостью. В «Машеньке» Ганин убегает от «своей юности, своей России», боясь, увидев ее, потерять ее вторично — узор памяти мог бы не сойтись с узором вновь увиденного. Лужин убегает в смерть от одержимости шахматным полем, Цинцинат подготовляет свой побег по-иному чем Лужин, старается выпасть из смерти в жизнь. Пильграм хочет бежать, вырваться из мира «распятых крохотных существ», к трепещущим жизнью бабочкам — в Тенериф, в Лапландию, где хрупкие эти существа еще летают. Убегает с Паном 17-летний Себастьян Найт, Круг («Bend Sinister») видит возможность убежать в чужую страну, чтобы вернуться в свое прошлое, потому что в прошлом его собственная страна была свободной. Если время и пространство равнозначны, то бегство и возвращенье взаимнообменны.

Бежит Кинбот — или Шед — («Pale Fire»), в Смерть от Рожденья и преследователей — исследователей, но главное от Рожденья в Смерть. Бежит куда-то Пнин, во сне, переодевшись. В беспрерывном бегстве, догоняя Лолиту, или увозя ее, мечется Гумберт Гумберт.

Все это, конечно, не считая действительного бегства семьи Набокова и всех тех, кто «тени его изгнаннического сна».

Страх тоже один из элементов Набоковского мира. Родина видится эмигранту Подтягину («Машенька»), «как что-то чудовищное». Вернувшись в свою страну, Круг («Bend Sinister»), всхлипывая, заливаясь слезами, мечется между двумя контролями, допрашивающими его на каждом конце одного и того же моста. В этой стране даже лицо Падука «растворя-

ется в воде страха». В 1939 году, в повести «Посещение музея» рассказчик вступил в странный не музейный мир, очутился на панели, заново заснеженной, и «тишина и снежная сырость ночи были ему странно знакомы». Ему казалось, что он вышел на волю, в подлинную жизнь. Но радость перешла в ужас и страх, когда неосторожный посетитель музея «непоправимо» понял, куда он попал. «Увы, это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная».

Тут, случайно забредший на родину, стал судорожно рвать иностранные деньги, все то, что обрекало его на тюрьму или смерть. От всего этого надо было отделаться, т. е. в сущности, остаться нагим. И снова надо было бежать, «дико оберегая свою хрупкую, свою беззаконную жизнь». Нагота тут служит переодеваньем — маскарадом.

В «Conclusive Evidence» Набоков признается, что иногда он воображает себя увидевшим снова знакомую деревенскую местность, с фальшивым паспортом, под чужим именем. Но и раньше, в сборнике стихов, в стихотворении 1947 года, отображается эта мечта — хоть нелегально побывать в местах, хранимых памятью. И вот, в письме к кн. Качурину, некто переодетый американским священником живет в «музейной обстановке... с видом на Неву». Это путешествие после «тридцатилетнего затмения» остановило душу, в нем было «объяснение жизни всей». Но страх не покидает путешественника. Да и можно ли вернуться домой, в молодость?

Так неизбывно живет в Набокове память о России, и гораздо более драматично, чем у Вадима Вадимовича в «Арлекинах», более непосредственно, чем в «Письме к кн. Качурину» — Сирин был моложе — в стихах, написанных в 20-х годах, найдем мы такие строчки:

Бывают ночи, только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать...

И хотя поэт чувствует покров «благополучного изгнания»,

Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так, —
Россия, звезды, ночь расстрела —
и весь в черемухе овраг!

Как и поэтическому корреспонденту кн. Качурина, в конце своего писательского пути в «Арлекинах» Набоков позволит еще раз одному своему герою, Вадиму Вадимовичу, вернуться на родину, с «почти подложным», британским паспортом и остановиться в гостинице с видом на Неву, но как будто уже стерлась возрастом радость возвращения — причина возвращения не ностальгия, а желание видеть дочь. Стерся, истратившись в снах и мечтаниях, и страх. Вадим Вадимович не узнает бывшую столицу, он не был там никогда летом, да и не совсем законного туриста никто на родине не узнает, кроме приставленного к нему соглядатая — эмигрантского писателя возвращенца — и не знакомой Вадиму Вадимовичу некоей Доры. Охранная грамота Вадима Вадимовича — его международное признание — «Вы наша тайная гордость», говорит ему Дора. Ни радости, ни ужаса, ни триумфа, ни расстрела — sic transit...

Набоков, живущий на Западе — двойник того, который жил в России. Кто из них тело? Кто тень? Кто подлинный, кто пародийный? Поразительная память Набокова, его постоянный, как будто врожденный позыв к пародии, не знаю, сознательно или подсознательно, привели его к пародии на

стихотворение загнанного (и как писателя им не чтимого) — Пастернака. Стихотворение Пастернака было написано в 1959 году, после Нобелевской премии. В нем есть такие строки:

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

В 1961 году в альманахе «Воздушные Пути» № 2, Набоков так начинает одно свое стихотворение:

Какое сделал я дурное дело,
И я ли развратитель и злодей,
Я, заставляющий мечтать мир целый
О бедной девочке моей?

Что же это, случайно или нарочитая подмена России *Лолитой*, оскорбление родины, par dépit amoureux?

А в 1919 году в стихотворении «Панихида», напечатанном в Париже в 1920 г., в журнале «Грядущая Россия» мы найдем также заключительные строки:

Ты — жестока Россия.
Слышишь ли, видишь ли? Мы с упованьем
— Сирые, верные, — греем последним дыханьем
— Ноги твои ледяные.

И там же, изнемогая от тоски по родине, в другом стихотворении «Вьюга» юноша Сирин вдруг предчувствует старого американского Набокова. Слыша, как «корчится черная Русь», он от боли, любви, от отчаяния, от нее отрекается.

Ах, как воет, как бьется — кликуша
Коли можешь, — пойди и спаси.
А тебе то что? Полно, не слушай...
Обойдемся и так, — без Руси.

Набоковская Россия

Когда я заметила, при встрече с ним, что Набоков столичный, городской, петербургский человек, что в нем нет ничего помещичьего, черноземного, мне кажется, я не ошиблась.

Сияющие, сладкопевные описания его русской природы похожи на восторги дачника, а не человека, с землею кровно связанного. Пейзажи усадебные, не деревенские: парк, озеро, аллеи и грибы — сбор которых любили и дачники (бабочки — это особая статья). Но, как будто, Набоков никогда не знал: запаха конопли, нагретой солнцем, облако мякины, летящей с гумна, дыхания земли после половодья, стука молотилки на гумне, искр, летящих под молотом кузнеца, вкуса парного молока, или краюхи ржаного хлеба, посыпанного солью... Все то, что знали Левины и Ростовы, все, что знали как часть самих себя Толстой, Тургенев, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Бунин, все русские дворянские и крестьянские писатели, за исключением Достоевского.

Тут все-таки хочется мне уточнить свою мысль. Когда я говорю о Набокове как о человеке города, я противопоставляю его русским писателям — помещикам, имевшим земельные корни и знание крестьянского говора. Набоков, по-своему, мастер описанья природы. Она по-набоковски красочна и нарядна. Он находит для неба ли, заката ли, новые слова, новые оттенки красок и сравнений. В природе то стоит «веселая, что-то знающая тишина», то лежат в поредевшем лесу «еще дыша, срубленные осины»... В Африке «дивное и страшное тропическое небо»... «блистательные сабли камышей».

Больше чем домашние животные взгляд Набокова привлекает то, что сродни бабочкам — насекомые, как овод «с

переливчатыми глазами навыкат». Он видит и «бледный исподу» дикой малины, он сравнивает вершины берез с «прозрачным виноградом». Это все совсем новые эпитеты в русской литературе и почти все подчеркивают чувствительность зрения писателя и его уменье очеловечить природу, равное его умение придавать предметам человеческие черты (и обесчеловечивать человека).

Отсутствует в набоковской России и русский народ, нет ни мужиков, ни мещан. Даже прислуга некий аксессуар, а с аксессуаром отношений не завяжешь. Мячик, закатившийся под нянин комод, играет большую роль, чем сама няня. Промелькает в воспоминаниях «Синеносый Христофор», о котором мы ничего не узнаем кроме его синего носа, два лакея без всякого отличительного признака, просто: — «один Иван сменил другого Ивана». Немногим больше о дочери кучера Захара, Полиньке, крестьянской девушке, влюбленной в молодого барина и отпугивающей его своими грязными ногами, а раньше взволновавшей его своим детско-девичьим телом, когда она купалась в реке.

Низшая каста, отразившаяся в набоковском творчестве, это гувернантки и учителя. Набоковская Росси я очень закрытый мир, с тремя главными персонажами — отец, мать и сын Владимир. Остальные члены семьи уже как-то вне его, но семейная группа пополняется наиболее колоритными родственниками и предками.

Не найдем мы также участия или соучастия Набокова к судьбе его родины и к судьбе его народа, ни жалости к его соотечественникам (единственный раз, насколько мне помнится — Набоков, по просьбе Файнберга, выступил в английской печати в защиту Буковского). Сын либерального политического деятеля, члена партии народной свободы, Набоков, несмотря на всю его любовь к отцу, предан был только своей личной свободе.

У Набокова — роман с его собственной Россией, она у нас с ним общая только по русской культуре, которая его воспитала. Общая родина наша — это Пушкин.

Россия для Набокова, кроме памяти о своей личной, еще «и пение Пушкинских стихов», и Русский язык единственное его достояние на «других берегах». Итак, вот еще одна оригинальность Набокова. Если невозможно себе представить Пушкина, Толстого, Гоголя, Лескова без русского человека — простолюдина, герои Набокова все замкнуты в узкий круг богатой буржуазии, высшего чиновничества и интеллигенции. Впрочем, есть бродяга («Отчаяние») и эпизодические персонажи его эмигрантских лимбов, но они вне набоковской, лично его России.

Solus Rex

Эта ограничительная Россия, Эдем, из которого Набоков был изгнан, его королевство. Он не просто изгнанник, эмигрант, беженец — он принц или король, потерявший свой наследственный удел. В глазах Виктора даже скромный Пнин приобретает семейное сходство с болгарскими королями или средиземными принцами. Засыпая, этот необыкновенный мальчик подставляет образу своего подставного отца — образ отца — короля, предпочтившего бегство — отречению от престола.

В интереснейшей и блистательной книге «Pale Fire» — «Бледный Огонь», можно видеть автора и его тень, — его сумасшедшего комментатора, плачущего о потерянной земле. Кинбот — неважно, сумасшедший ли он или нет, — считает себя низверженным королем далекой северной страны «Зембля». Он во власти своей памяти, во власти своего счастливого детства. В эмиграции король инкогнито становится американским профессором.

Кинбот — имя это означает — цареубийца, «Истребитель на нашем языке». Король, который топит и растворяет свою

личность в зеркале эмиграции, в какой-то мере Истребитель себя самого.

Существует ли такая страна «Земблят»? Может быть и нет ее на всем земном шаре, но тоска по ней у Кинбота реальна и ощущается им как духовное опустошение.

Никакая книга не должна иметь тайного значения, просто содержания — фабула не важна, все продолжает подчеркивать стареющий Набоков. Он хотел бы, чтобы мы видели в нем Фреголи, — только ловкость Фреголи — его оправдание. «Бледний Огонь» — прекрасное интеллектуальное развлечение читателя, а поэма в этой книге, в 999 строк еще и эстетическое наслаждение, — но всюду проскальзывает запрятанный за стилистическими и декоративными рисунками ребус Набокова. Там есть и курьезный пассаж: Кинбот, между прочим, обвиняет жену поэта Шеда в том, что она вычеркивает всякое упоминание о его «Земблет».

А годами раньше, в явно имеющей автобиографическое значение книге «Дар» и в не менее явно отображающем молодого писателя Сирина молодом писателе и поэте Годунове-Чердынцеве мы найдем в более замаскированном виде нечто подобное. Всем известно, что Набоков очень старался доказать происхождение своей семьи от вероятно не мифического, но историей не сохраненного татарского князька Набока. В «Даре» автор книги о Чернышевском носит фамилию двойную, Годунов — фамилия татарская — хоть и не княжеская, но ставшая царской, — Чердынцев — напоминает фонетически об Орде. Для мальчика Лужина плед был «королевской мантией».

Кто герой, кто «я» книги «Смотри, смотри, Арлекины»? Опять-таки князь Вадим Вадимович, отобранное именье его называлось «Маревом» — миражем. Американский паспорт, выданный Вадиму Вадимовичу, не отмечает его «наследственный титул». Больной спрашивает себя, нет ли в нем

крови кавказского князя? Парализованный В. В. подвержен инъекциям, «магическим фильтрам», которые действуют не только на его тело, но и на божественность, в этом теле заключенную. Доктора-шаманы, трепеща, присматривают за сумасшедшим императором.

Да и в «Аде», этой семейной хронике, идущей от 18-го века до двадцатых годов нашего, Иван-Ван и Аделаида-Ада, потомки княжеских родов, князя Земского и княжны Темносиней.

Ностальгия по предкам заложена в человеке независимо от его социального происхождения, человек без корней тоскует о своем сиротстве. Снобизм бывает и интеллектуальным и артистическим. Есть снобизм этнический и имущественный. Снобизм же социальный распространен во всех классах и, может быть, меньше всего у старейшей аристократии. Потомки пиратов гордятся своими предками пиратами, потомки рабов видят себя детьми Спартака, сын трудового народа гордится своим рабоче-крестьянским происхождением, те, кто носят исторические фамилии, — престолом своих предков, и мы знаем, что сам Пушкин...

Если я упоминаю здесь о сословном снобизме Набокова, то потому, что он совсем не вяжется с его вольномыслием, с его антиконформизмом, с его отталкиванием от традиций и обычаев. Дело не в том, что в порядке воспоминаний Набоков уведомляет читателей о своих родственных связях, но в той настойчивости, которую он при этом проявляет. Человек, определивший сам себя безбожником с «вольной душой, в этом мире кишащем богами» яростно отзывается на всякую попытку умалить родовитость своей фамилии, действительно старо-дворянской, но до 19-го века не такой уж известной, находит время опровергнуть одного рецензента, написавшего что его семья принадлежала к богатой буржуазии, сердится

когда говорят, что семья его матери была промышленниками, т. е. купцами[85]) — до получения дворянства.

Правда, семья Набокова была очень богата, богатство это часть «королевского наследия». У Годунова-Чердынцева был особняк на Английской набережной и «родовое именье». В своих воспоминаниях Набоков упоминает, что на него смотрели косо в Тенишевском училище, потому что его привозили туда на автомобиле. (Тенишевское училище, не сословное, было самым дорогим из частных школ и гимназий, и не одного Набокова привозили туда на автомобиле). Тяга к своей исключительности как будто распространялась у него и на социальное происхождение, и на имущественное — собственность. А подлинная его исключительность конечно была только в его таланте, и приложений к ней не требовалось.

Совершенно несомненно, что Набоков ненавидел советский строй и октябрьскую революцию совсем не из-за того, что он потерял свое состояние, — я лично не знаю ни одного человека первой эмиграции, который бы ненавидел по этой причине, или даже за свое изгнанничество, новую власть. Все, и старые и молодые, были уязвлены другим — это с самого начала резко обозначенным решением этой коммунистической власти покончить со всем прошлым России, уничтожить ее культуру, ее духовные и творческие ценности, т. е. ее личность.

Но также несомненно, что память о бывшем своем благосостоянии задержалась ностальгией в Набокове. В воспоминаниях

---

[85] Купцы «гости» уже в Киевской Руси были «именитыми людьми». Строгановы стали графами, но Третьяковы отказались от дворянства, предпочитая остаться «потомственными, почетными гражданами Москвы». Дворянство в России давалось легко, даже без особых заслуг. Дослужившись до определенного чина, военного или штатского, человек получал личное дворянство, переходившее быстро и в наследственное, для его потомства.

кн. Юсупова, вел. кн. Марии Павловны или кн. Долгоруковой мы не найдем этой ностальгии по роскоши или почету, которые их с детства окружали. Незамеченные в детстве эти «придаточные» к человеческой личности остались для них незамеченными и в эмигрантских лишениях.

Для Набокова — нет короля без территории, без бриллиантов его короны...

Король без королевства, одинокий изгнанный принц, «Потерявший за морем свой скипетр» — (Такая фраза есть в американском стихотворении Набокова «Королевство на берегу моря»), Набоков — Solus Rex — одинокий король.

Набоков и другие

Пушкин

Как бы ни был связан Набоков с западной литературой, все же родная стихия его, его наследство — литература русская. И как бы ни была далека его личность, его мировоззрение от пушкинской аполлонической сущности, нельзя не верить, что Пушкин «вошел в его кровь». Только человек, до глубин приверженный Пушкину, мог с такой любовью взять на себя труд 4-х томного перевода на английский язык «Евгения Онегина» и комментариев к нему. Судить о качестве этого перевода я не решаюсь — это вне моей компетенции —· но сознаюсь, что я с большим интересом читала примечания переводчика. Даже те, с которыми я не была согласна, вызывали часто мое восхищение, иногда улыбчивое.

Маленькое отступление: проф. Парри в своей статье в Н. Р. С. от 9-го июля 1978 года пишет по поводу этого перевода, что Набоков ему говорил, что переводить Пушкина на иноязычные рифмы — «сущее святотатство». По-видимому, он не всегда думал это, так как в 1937 году совершил такое святотатство, дав мне для редактируемого мною сборника

«Hommage à Pouchkine» свой рифмованный перевод «Стихи сочиненные ночью во время бессонницы». (Тогда как я перевела, без рифм, два других стихотворения).

Какая эрудиция, какой литературный подвиг этот четырехтомник, (кроме всего прочего там и суд без милости над всеми предыдущими переводчиками «Евгения Онегина»).

Из примечаний к транслитерации, наугад приведу одно, в моем переводе, о произношении русской буквы В для англо-американских студентов. «В, как в Виктории, но перед глухой согласной и в конце слова В переходит в звук Ф. Пример: булавка рифмуется с Кафка, нрав с телеграф, но своенравный и телеграфный, не рифмуются».

Итак, я уже писала — пушкинская поэма для Набокова прежде всего — феномен стиля, это не «картина русской жизни» или, может быть, только малой группы русских. Персонажи взяты из западно-европейского романа и перемещены в «стилизованную Россию». Для переводчика Набокова единственный важный русский элемент в поэме — это речь, «Пушкинский язык».

В конце своего предисловия Набоков пишет то, что для него очень характерно — «в искусстве нет прелести без деталей — «подробностей»... «Все общие идеи, так легко добываемые и перепродаваемые, только потертые паспорта, позволяющие их обладателям быстрый переход из одного края незнания в другой». И, с подобающей ему нескромностью, предисловие он предваряет после первого эпиграфа — в виде посвящения своего труда Америке, строфой из Пушкина «И девственным лесам Младой Америки» — второй эпиграф: это отрывок из пушкинского письма, по поводу перевода мильтоновского «Потерянного Рая» Шатобрианом. Не имея русского подлинника, мне приходится, к стыду моему, переводить Пушкина с английского.

«Теперь — неслыханное дело! Первый поэт Франции переводит Мильтона слово за словом, утверждая что этот точный перевод будет вершиной его искусства»...

Намек ясен: первый русский? американский? — поэт Набоков будет переводить Пушкина, слово за словом и это будет вершиной его искусства.

И все же задумываешься, что же от Пушкина в его младшем собрате Набокове? Довольно трудно отыскать в психологическом и в творческом облике Пушкина черты, роднящие его с Набоковым. Нет у Набокова ни возвышенности дум, ни детской шутливости Сверчка, ни удивительной совместимости ясности духа и темных томлений. И не написал бы Набоков «есть упоение в бою», потому что не было у него ностальгии молодого Пушкина по тому лихому гусару, которым он бы хотел быть в молодости. Ценил себя Пушкин не только за то, что «прелестью живых стихов», он был полезен, но все равно в какой версии — что «чувства добрые» он «в людях пробуждал». «Чувства добрые» и пробуждение их в людях как раз то, от чего Набоков отрекается как от чего-то, поэту и писателю совершенно ненужного. И до самой смерти пламенное сердце Пушкина никогда не стало замороженным.

И все же ясно: не будь у нас Пушкина, не было бы и Набокова.

Гоголь

Пушкин в крови, а Гоголь? Многое в Гоголе было ближе Набокову и книга его «Николай Гоголь», изданная в США в 1944 году по-английски, несмотря на свои скромные размеры, устанавливает эту близость, хотя для этого и понадобилось собственное набоковское толкованье автора «Мертвых Душ».

«Отчаявшиеся русские критики, стараясь отыскать влияние и найти гнездо для моих романов, раз или два связывали меня с Гоголем, но когда они вновь всмотрелись, — я развя-

зал узлы и коробка осталась пустой», так заканчивается книга о Гоголе.

Гоголь был «чревовещатель», он был не более реален чем Петербург, им описанный, то есть был «отражением затуманенного зеркала». «Реализм Гоголя только маска». Два первых тома Гоголя «Вечера на хуторе» и т. д. Набоков считает фальшивым юмором, потому что «клоун, появляющийся в расшитом блестками костюме, гораздо менее смешон чем тот, который одет погребальщиком». Он любит Гоголя «Мертвых душ», «Шинели» и «Ревизора». Пьеса Набокова «Событие» кое-чем напоминает «Ревизора». Там тоже все действующие лица ждут появления опасного посетителя. Страх — главное действующее лицо, страх напрасный, бессмысленный, угроза не воплотится, опасность была мнимой. Почти на каждой странице Набоков подчеркивает то, что может быть у Гоголя истолковано как отношение самого Набокова к искусству. Выдумка, сочинительство, к подлинной жизни отношения никакого не имеющее, персонажи — не портреты, ситуации не заимствованы из жизни, если иногда и случается «совпадение вымысла и происшедшего», то это только «вульгарная подделка художественного воображения» жизнью. Впрочем, и самого Гоголя нет, «тень Гоголя жила... жизнью его книг». Конечно Набоков восстанет против любителей искать какое-либо — «учительство» или мораль в гоголевских произведениях — морали в искусстве делать нечего. Тут опять: «Его (гоголевская) работа, как и всякое великое литературное достижение, феномен языка, а не идей». Почему-то Набоков считает, что обличение пошлости не имеет отношения к морали, а ведь пошлость, конечно, имморальна. Для Набокова же она только антиэстетична. Образцом пошлости он считает Полония, Короля и Королеву в Гамлете, Рудольфа и Гомэ в Мадам Бовари, молодого Блока у Пруста, Каренина у Толстого, Марион Блум у Джойса. В «Мертвых

душах», пишет Набоков, Гоголь собрал великолепную коллекцию пошляков и Чичиков не человек, он абстракция, «его жульнические проделки только призраки и пародии преступлений», поэтому Чичиков и не мог быть подвергнут, как Гоголю хотелось бы, наказанию или искуплению·. К пошлости Набоков относит все, что не соответствует его мерилу вкуса. Для Гоголя пошлость была грехом, унижением души и оскорблением Бога, для Набокова — преступлением против художественного вкуса — антитворчеством.

Не менее характерен подход Набокова к «Шинели», «на высочайшем уровне искусства литература не занимается жалостью к малым и осуждением великих. Она отвечает потаенной глубине человеческой души, где тени других миров проходят как тени безымянных и бесшумных кораблей» — тут следует отметить слово редкое в лексиконе Набокова — душа.

В 1944 году, задолго до утверждения того же самого в работе о «Евгении Онегине», Набоков пишет, что в «Мертвых душах» не надо видеть подлинно русский фон и, приводя свой прекрасный перевод гоголевской Тройки, он напоминает читателям: «Как бы прекрасно ни звучало это последнее крешендо, с точки зрения стиля это всего-навсего болтовня фокусника, позволяющая предмету исчезнуть».

С другим Гоголем во многом, и в самом главном, противоположном Набокову, Набоков справляется очень просто. Религия Гоголя, по-человечески одаренного воображением, «была поэтому метафизически ограничена». Не менее смело восстает он против толкованья самим Гоголем «Ревизора» и «Мертвых душ». «Мы имеет тут дело с невероятным фактом писателя, который абсолютно не понимает и искажает смысл своей собственной работы!!»

Так, по-своему вывернув и этим приблизив любимого своего писателя к себе, Набоков в той же книге как бы ставит

его выше Пушкина, определяя Пушкина как писателя трех измерений, а Гоголя всех четырех.

Отчего? «Гений всегда странен», — пишет Набоков.

Пушкин не странен, он гениален без безумия, Гоголь гениален и в конце своей жизни безумен. Сам Набоков, без нахальства, но и без скромности, откровенно сравнивающий себя только с великими, остановился, мне кажется, на грани гениальности и на грани безумия.

Жуковский

Интересно, что переводчик Набоков чрезвычайно хвалил переводчика Жуковского, считая, что зачастую его переводы выше оригиналов, и, по-видимому, гротескный церемониал, окружающий казнь Цинцината, был отблеском в его памяти проекта Жуковского — прямо поразительного по своей сантиментально чудовищной идее художественного оформления смертной казни в России. Она должна была, по замыслу Жуковского, происходить в торжественной обстановке, при скопище народа и пении гимнов, умиротворяющих смертника и возвышающих чувства свидетелей этого «празднества». К тому же, в «Даре» Набоков об этом проекте напоминает — как о позабавившем Чернышевского.

Достоевский

Есть элемент загадочности в той, все увеличивающейся ненависти, которую Набоков питал к Достоевскому. Достоевский (и Фрейд) был поистине его bête noire[86]. При всяком удобном случае Набоков бранит или принижает Достоевского. Проф. Парри вспоминает, что когда он предложил

---

[86] Второй объект Набоковского никогда не прекращавшегося публичного шельмования — это Фрейд: «Венский болтун», «Венская делегация», «Венский жулик». Его тоже Набоков забыть никак не может, зная, какое обширное поле наблюдения может представить для психоаналистов его творчество.

Набокову прочесть лекцию о Достоевском в Колгэт США, «Набоков взорвался». «Да вы издеваетесь надо мной! Вы же знаете, какого мнения я о Достоевском! В моих курсах в Корнеле я уделяю ему не более десяти минут, уничтожаю (разрядка — З. Ш.) его и иду дальше». Достоевский для Набокова — журналист, а не писатель, он автор детективов, полицейских романов, наравне с Морисом Лебланом и Эдгаром Уоллесом.

Не только Набоков, но и Вадим Вадимович в «Арлекинах» считает политику Достоевского отвратительной, а романы абсурдными, там: «черные бородачи просто негативы Иисуса Христа», «плачущие проститутки» и т. д.

А ведь Достоевский не всегда был презираем Набоковым. В «Грозди» (изд. «Гамаюн», Берлин 1923 г.), он, по случаю годовщины смерти Достоевского, даже посвятил его памяти стихотворение:

Садом шел Христос с учениками...
Меж кустов на солнечном песке
вытканном павлиньями глазками
песий труп лежал невдалеке
………………………………………………
………………………………………………
И резцы белели из-под черной
складки, и с зловонным торжеством
смерти — заглушен был ладан сладкий
теплых миртов, млеющих кругом.
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Говорил апостолу апостол:
«злой был пес, и смерть его нага,
мерзостна»……………………………..
………………………………………………

Христос же молвил просто:
«зубы у него как жемчуга»...

Почему Набокову хочется «уничтожить» Достоевского? У всякого человека есть любимые и не любимые писатели, Бунин Достоевского не любил как писателя, ни в чем ему не созвучного, бесконечно от него далекого по проблемам, его занимавшим, и по не художественности — в глазах Бунина — его стиля. Но «уничтожать» он его не хотел, иногда перечитывал и никогда не обличал его публично. То, что нам скучно или неинтересно, мы обычно просто отбрасываем, Набоков отбросить, забыть о Достоевском не мог. Ему как будто было тесно рядом с автором «Бесов». Как будто он боялся, что вдруг кто-нибудь заметит, что несмотря на все, что их разделяет, есть и то, что позволяет их сравнивать.

В частной жизни Достоевский, по мнению знавших его современников, был — «непостоянен, переменчив, многолик. Порой он представляется личностью «отталкивающей, вызывающей острую неприязнь». Тургенев: «это русский маркиз де Сад» и тот же Тургенев: Достоевский, «обратное общее мнение» то есть парадокс.

То же самое приходилось мне слышать и о Набокове.

Странен «упрек» Набокова Достоевскому, что он автор полицейских романов. А что такое тогда «Король, Дама, Валет», «Отчаяние», «Камера Обскура»? Даже в «Лолите» есть «уголовщина», если судить только по фабуле. Нет ли элемента преступления и наказания в «Приглашении на Казнь»? Оба писателя были одержимы — по-разному. Пламенному исступлению Достоевского отвечает ледяная бесстрастность Набокова, но ведь и лед жжет. Люди разных эпох, разных социальных кругов и разных опытов, главное разных «вечностей» — относительная вечность искусства для Набокова, метафизическая вечность для Достоевского — были и литературно во многом похожи.

Не только автора «Лолиты» упрекали в слишком подробном описании половых перипетий Гумберта и Лолиты. Когда Достоевский читал Победоносцеву, Майкову, Страхову и другим «сцену в бане», они нашли «что она слишком реальна».

А разве не с присущей и Набокову издевкой — у него над читателями и исследователями — пришел Достоевский к Тургеневу: «Ах, Иван Сергеевич, я пришел к вам, дабы высотою ваших эстетических взглядов измерить бездну моей низости» и рассказал ему, как бы исповедуясь, про девочку в бане. Тургенев, конечно, вознегодовал, возмутился душой и это высказал. Достоевский же, уходя, сказал: «А я ведь это все изобрел, Иван Сергеевич, единственно из любви к вам и для вашего развлечения»[87].

И когда точно был сброшен с писательского Олимпа Достоевский, за какие провинности? За то, что так легко сравнить или уловить общее, пусть и в другом плане у обоих писателей: сложность и запутанность действия, комические положения в самых драматических событиях, издевательский смешок... одержимость страстями — любовью или игрой. Одень генерала Иволгина по-современному, он бы мог включиться в персонажи Набокова. Пошлый черт Ивана Карамазова все-таки сродни пошлому мосье Пьеру, хоть и в другом регистре. А любовь к деталям, проявляющаяся у Набокова всюду, но имеющаяся и у Достоевского? Чего стоит в «Бедных людях» пуговка Макара Девушкина, катящаяся прямо к стопам его превосходительства. «Моя пуговка — ну ее к бесу — пуговка, что висела у меня на ниточке — вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатилась и прямо-таки, прямо, проклятая, к стопам его превосходительства»...

А девочки, соблазнительницы и жертвы? и, наконец, еще одна общность: тема «двойников» — эти два господина Го-

---

[87] И. Ясенский. «Роман моей жизни», 1926.

лядкина, один из которых утверждает: «Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с ней перед людьми каждодневно», или думает: «На этом господине парик, — а если снять этот парик, так будет голая голова». Ночной приятель Голядкина был «другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, — одним словом, что называется двойник его во всех отношениях...» Двойники все размножаются — «народилась, наконец, страшная бездна совершенно подобными...» Мир Достоевского зачастую тоже «сон, кошмар, безумие»...

Достоевский — метафизик бытия, Набоков — метафизик небытия, в каких-то безднах они соприкасаются, но даже и такое соприкосновение при возможном сопоставлении его читателями — было Набокову невыносимо.

Салтыков-Щедрин

В своей статье «Возрождение Аллегории» (Современные Записки № 51 1936 г.) П. Бицилли приводит пассажи из «Истории Одного Города» и «Запутанного дела», вначале не называя имени их автора, Салтыкова-Щедрина, в уверенности, что те, кто забыл эти тексты, отнесут их авторство Сирину-Набокову. Иудушка и Герман из «Отчаяния» живут той же лже-жизнью, тоже вне логики, в том же мире намалеванных декораций, они не «человеки», а «куклы абсурда».

Не только Бицилли заметил, что иногда сходство приемов Салтыкова-Щедрина с Набоковскими доходит до мелочей. Бормотание адвоката Цинцината, потерявшего свою запонку и более занятого этой потерей чем судьбой своего подзащитного, до странности похоже на то, что в поисках запонок говорит Иудушка Головлев после смерти брата.

«Запонку потерял... задел обо что... очень дорожил... видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы, это видно было... вещица была дорогая» — («Приглашение на Казнь»). А у Салтыкова-Щедрина: «А помните маменька, у

брата золотенькие запонки были... хорошенькие такие... И куда эти запонки девались — ума не приложу».

И в обоих случаях — это очень характерное, сатирическое сопоставление тривиального: запонки, с трагическим: смертью.

Слов нет, много общего у Набокова с Салтыковым-Щедриным, хотя бы один и тот же «вид раздраженья», но стилистическая грация первого оттеняет тяжеловатую поступь второго. Щедрин — тяжеловесный арденский конь, Набоков — английская чистокровка.

Толстой

В написанной Набоковым в 1928 г. коротенькой поэме, напечатанной в журнале «Новь» в 1935 году и посвященной Толстому, можно уловить его отношение к Толстому. Поэма начинается так:

«Картина в хрестоматии: босой старик...»

Этот старик не очень воспламеняет воображение Сирина. «То ли дело Пушкин». Пушкин уже легенда. Жизнь Толстого не волнует, он слишком близок к Набоковскому поколению, он еще не окружен «лучезарной легендой», с ним еще «лестная близость». Он как-то слишком понятен, его можно звать по имени и отчеству. «Мы» — поколение Набокова — любит рассказанную им Россию, «Россию запахов, оттенков, звуков», и созданные им люди так естественны, что эти «мы» не раз узнавали среди толпы Каренину и «с маленькой Щербацкой танцевали». Единственная тайна, то чудо, когда «Толстой творил...», ведь живые люди родились в эту Ночь». Позднее, судя по откликам, мы знаем, что Набоков любил «Анну Каренину», но, например, отказался в США прочесть лекцию о Толстом вообще и о «Войне и Мире» в частности.

В книге «Николай Гоголь» находится такая шкала оценок Набоковым русских классиков, вернее, не шкала, а характе-

ристика: «Уравновешенный» (steady) Пушкин, «Трезвый» (не подымающийся над реальностью) Толстой, «Сдержанный» Чехов. Это из признаваемых им авторов. О Тургеневе же: «Те русские, которые считают большим писателем Тургенева, не поймут Гоголя».

Бунин

Я помню мое удивление, когда я прочла в 1978 году, в одном новоэмигрантском журнале, статью профессионально-литературоведческую, утверждающую, что Набоков был учеником Бунина. Удивился бы ей, несомненно, и сам Бунин, сразу признавший в молодом Сирине подлинно талантливого писателя, но настолько от него самого отличного, что в разговоре со мной в 1937 г. он назвал его «чудовищем», не без восхищенья впрочем. Сам же Бунин чудовищем себя не мнил, твердо помня свою литературную родословную, целиком русскую и классическую.

Никак не будучи учеником Бунина, поскольку влияние Бунина на его творчестве ничем не отразилось, Набоков в юности особенно почитал его как мастера русской прозы и особенно поэзии. В «Грозди» он посвящает ему одно стихотворение.

Как воды гор, твой голос горд и чист.
Алмазный стих наполнен райским медом.

Заканчивается это стихотворение из пяти четверостиший, торжественным, и как мы теперь знаем, не сдержанным обещанием.

Безвестен я и молод, в мире новом
кощунственном, — но светит все ясней
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом
не согрешу пред музою твоей.

«Художественный реализм» академика был даже прямо противоположен набоковскому экспрессионизму особого рода. И мировоззрения их не совпадали. В чем же «ученичество» Набокова? Другое дело Леонид Зуров или Галина Кузнецова, тут сомнений быть не может, — они ученики и, пожалуй, в первой эмиграции единственные, первого русского нобелевского лауреата.

Набоков в те годы, в которые я его знала, Бунина как писателя уважал и ценил, но и только. В своих американских воспоминаниях он о нем упоминает несколько презрительно — так о нем в 30-х годах не говорил. Память у него благодарностью или теплотой не отягощается. Лучше всех он отзывается в этих воспоминаниях о Ходасевиче. Он чувствовал расположение к этому «язвительному, худому, болезненному человеку, скованному, (wrought) из иронии и металлоподобного гения, поэзия которого была таким же сложным чудом, как поэзия Тютчева или Блока». Именно по высокому качеству своей язвительности, по тонкости своего поэтического чутья, нео-классик Ходасевич был близок Сирину. Кроме того и сам Ходасевич, мало с кем сходившийся, не только ценил Набокова как писателя, но и всегда видал его с удовольствием.

В «Conclusive Evidence» Набоков отличает Марину Цветаеву, «гениального поэта» и Поплавского «далекая скрипка среди близких балалаек», но не потрудился ни разу с Поплавским встретиться, когда он был в Париже. С Мариной Цветаевой он, кажется, был знаком, но, видимо, также при ее жизни мало ею интересовался. Имя ее не встречается ни в одном из его писем ко мне, да и Марина Цветаева никогда о нем мне не упоминала — по-видимому, и сама особого интереса к Набокову не испытывала.

Несколько удивительно то, что в «Conclusive Evidence» Набоков пишет об «Адамитах», явно подразумевая под этой кличкой последователей не любимого им Адамовича: он

странно соединяет тенденции этой группы с задачами кружка верного друга Набокова Фундаминского-Бунакова. Адамовича было трудно подозревать «в катакомбном христанстве», пусть и соединенном «с языческими нравами древнего Рима». Объяснение такого суждения, как и отношение к Цветаевой и Поплавскому дается, впрочем, самим Набоковым в той же книге: «автор, который интересовал меня больше всего, был, естественно — Сирин».

В этом поверхностном и пренебрежительном отзыве Набокова о его эмигрантских современниках — кроме Ходасевича, упомянутого им как поэта, но не как критика его неизменно поддерживающего, и трех милых слов по отношению к Алданову — отсутствуют имена других критиков: Г. П. Струве, В. В. Вейдле, П. Бицилли, М. Л. Слонима, отгадавших талант молодого Набокова и как-никак посодействовавших его славе, с которыми он был к тому же лично знаком. Эта горделивая забывчивость его замечательной во всех других отношениях памяти, покаятельна для позднего Набокова. Вероятно такое умолчание и объясняет, почему у советских поклонников Набокова создалось впечатление, что он не был узнан и признан эмиграцией, и справедливость требует опровержения этого мнения свидетелями того периода его жизни.

Среди очень малочисленных неблагоприятных критических откликов: Ходасевич, по поводу пьесы Сирина «Событие» отмечает ее «архитектурный недостаток». С. Осокин (в Русских Записках, январь 1939 г.) пишет, что в «Приглашении на Казнь» «внешняя акробатика и внутренняя схематизация и упрощение» и что там «с необычайной легкостью затронуты глубочайшие темы и с такой же легкостью разрешены». (С Осокиным я, конечно, совсем не согласна. Ни в одном произведении Набокова «глубочайшие темы не разрешены» — разрешены только проблемы писательского ремесла — но и другие писатели эти темы разрешить не могли).

Иностранные писатели

Пожиратель книг и словарей, одаренный необыкновенной зрительной и слуховой памятью, с чуткостью к музыкальности слова и оттенкам красок (и одновременно как будто закрытый для музыки и для художества как таковых — ни музеев, ни концертов он, по-видимому, не посещал), Набоков поражает универсальностью своих знаний в самых различных отраслях.

Боюсь, не найдутся после Набокова, как нашлись после Пушкина, списки прочтенных им книг. Так ревниво оберегал Набоков свою единственность, что кроме признания его в романе «Дар», что «Пушкин входил в его кровь», мы не знаем писателей, на него, по его же словам, повлиявших. Наоборот: в интервью «Ньюсвику» он заявил: «Ни одна вера, ни одна школа не имели на меня влияния». Как будто он не хотел, чтобы исследователи нашли ему литературных предков, чтобы думали они, что Набоков возник свободным от всяких влияний, что искусство его родилось из ничего, из «табула раза...». Но нет человека, на котором его чтение не оставило бы следа.

Признавал ли Набоков себе равными Пруста и Джойса, был ли ему близок Флобер? Помнится, в1937 году, когда я заметила ему, что в «Приглашении на Казнь» уходящая вслед Марфиньке мебель напоминает мне Джойса, он этим обрадован не был. Ни в одном из писем ко мне он не упоминает о Кафке, хотя о Кафке тогда гораздо больше чем теперь говорилось, Набоков писал мне больше о романах, хоть и нашумевших, но посредственных — в одной из своих книг упоминает даже о романе «Ариадна — русская девушка» Клод Анэ, которым тогда увлекались неприхотливые читательницы.

Я против обобщений, которые иногда приводят к комическим результатам (так однажды во время «круглого стола»

французского радиовещания, парижские коллеги упорно называли Чехова русским Кафкой), но почему не воспользоваться сравнениями или сопоставлениями?

Болезнь и здоровье, зло и добро, сила и слабость, мудрость и глупость сосуществуют в одном и том же человеке и отражаются в персонажах Шекспира. Оттого и давал Пушкин предпочтенье Шекспиру перед Мольером с односторонними его героями, выражающими только одну страсть, одно качество, один порок.

Американский критик и эссеист Лайнель Триллинг написал, что Кафка знал существование зла, но не знал то, что ему противоположно — здоровье и положительные черты человеческого естества. Шекспир же знал обе эти стороны.

Набоков, как Шекспир, был в молодости чувствителен к «обеим сторонам», но быстро утратил двойное зрение, приближаясь к Кафке. От Кафки Набокова отдаляет отсутствие всякой тяжеловесности. В самых его пессимистических по замыслу вещах, всегда есть какая-то игривость. Кафка как-никак все же принадлежал германскому миру, который, судя по многим фразам Набокова, кажется ему особенно подверженным пошлости — он и Фауста считает образцом пошлости.

Был ли ему близок **Флобер**? Это больше чем вероятно. С самого начала своего писательского пути Набоков был увлечен проблемой стиля, в конце его он отдавал уже предпочтение стилю перед содержанием. Ему как бы хотелось исполнить то, о чем только мечтал Флобер: «Написать книгу, которая бы держалась исключительно на внутреннем достоинстве стиля». Тот же Лайнель Триллинг написал: «Объективность Флобера наполнена раздражением, тогда как объективность Толстого наполнена теплотой... Эта теплота и создает иллюзию реальности в творчестве Толстого». Во всех своих позднейших книгах иллюзию реальности Набоков не создает, как у Флобера, этому мешает особый вид

раздраженности. Теплота исчезла, и что-то глубоко личное чувствуется в одной небольшой, но потрясающей фразе в конце «Смотри, смотри, Арлекины!» там, где В. В. описывает свою болезнь и ее леченье: «Маленький русский доктор сделал меня более сумасшедшим, чем я был. Это растопило хоть один клапан моего замороженного сердца». Оледенелое сердце — последний этап раздражения...

Признавал ли Набоков **Пруста** равным себе или просто отдавал ему дань уважения? В 1961 году, в интервью, данном им французскому журналисту Пьеру Бенишу, Набоков ответил так на вопрос, любит ли он Пруста?: «Я его обожал, потом очень, очень любил, — теперь, знаете...» Тут, прибавляет Бениш, вмешалась госпожа Набокова: «Нет, нет, мы его очень любим».

Пруст, как и Флобер, как и Набоков, верит, что единственная реальность в мире — это искусство. У Пруста, как и Набокова, к своим героям нет ни особых симпатий, ни антипатий. Оба они мастера пастиша. В творчестве и того и другого сосуществуют два таких, казалось бы, противоположных начала: поэзия и карикатура. В отличие от Набокова Пруст чрезвычайно впечатлителен к музыке, живописи и архитектуре, и даже его «Потерянное и Найденное Время» построено как одно громадное здание.

Время и Память — два главных персонажа творчества Пруста и Набокова — это в сущности единственные протагонисты жизненной трагедии. Но память для Набокова — напряжение воли, дисциплина ума, для Пруста — подсознание, эмоция. Расхождение относится и к понятию о Времени. Набоков говорит, что не верит в Время. Пруст, под влиянием Бергсона (и Эйнштейна) различает два времени. Одно календарное, ограниченное — время нашего старенья, другое Время — длительности, протяжимости, почти вечности — то есть будущего.

Ван (Иван) в «Аде» занят в зрелом возрасте — природой времени, «тема, которая предполагает борьбу с осьминогом собственного мозга». Ван отрицает «трехстворчатость» времени: прошедшее, мгновенно умирающее настоящее, и то, что еще не свершилось — может быть, никогда не свершится... Для него время это диптих, прошлое, всегда хранящееся в его мозгу, и настоящее, которому его ум дает продолжительность и действительность... «Будущее же вне времени», «как наши сожаления не могут вернуть прошлое, так и наши надежды не могут породить будущее».

Опасно пробить настоящее (время), «неопытный чудотворец» не удержится на поверхности вод, но спустится под воду «к удивленным рыбам».

В отличие от Набокова Пруст признает интуитивное знание — это продолжение линии Паскаля, которого Набоков, как он утверждает, не читал. Для Пруста истина познается не только умом, но и сердцем. Пруст всецело принадлежал своей эпохе, стране, на языке которой он писал. Он создал портретную галерею· своих современников — у него нет героя без модели — он был скорее хроникером чем «выдумщиком» и, несмотря на это, а может быть поэтому, отвечая своей сущности, персонажи Пруста обладают свободой, незнакомой персонажам Набокова, который движет ими как шахматными фигурами. У Пруста не найдешь ни одного «непрозрачного» Цинцината...

Есть и другая разница: Пруст написал: «Я страстно восхищаюсь великим русским... Достоевским».

Интересно и отношение Набокова к «Новому Роману». В другом интервью в «Фигаро» 1973 года Набоков дарует **Роб-Грийе** почетное звание своего друга и говорит, что «Соглядатай» (точного перевода «Le voyeur» на русском языке не имеется), «Ревность» и «В Лабиринте» бесконечно лучше всех

французских романов, которые он прочел за последние 30 лет, но прибавляет, что он совершенно равнодушен к теориям автора этих книг. Как известно, сам Роб-Грийе по поводу своей первой книги «Резинки», заявил, что его задача это описывать поведение человека, не затрагивая его психологии. Французский критик Бартес, приветствуя «новый роман», определил его как «литературу алиби... без глубины, и без объема... литературой видимости». Сам Роб-Грийе считает, что «человек видит мир, но мир не возвращает ему его взгляда». «Соглядатай» одна из лучших книг Роб-Грийе, должна была понравиться Набокову, не так, конечно, случайным совпадением названия, но деперсонализацией описываемого, — точностью описываемого, — при неясности фабулы. Как яйцо в яйце, действие там запрятано, загромождено абсурдно точными деталями. Книга Роб-Грийе «В Лабиринте» — обесчеловечение солдата разбитой армии, блуждающего в заснеженном городе и умирающего от случайной пули — отвечала все развивающейся с годами наклонности Набокова «абстрагировать» своих персонажей при продолжающейся с первых его книг манеры «очеловечивать» предметы: шкап — похожий на беременную женщину, чашка — танцует, стол — покорен, галстук (в письме) — кричит...

Интересно, хотя бы вскользь, отметить тут коренное различие Набокова — может быть из-за его русскости, от некоторых иностранных его современников, отметивших нашу эпоху. Все они родились в начале 20-го века.

В безблагодатном мире **Сартра** единственное достоинство человека это его свобода. Бог — это страх человека. Если Бог существует, то человека нет.

Камю, в котором было предчувствие чего-то, что может ему еще открыться, сравнивает человека с Сизифом, побуждаемым неизвестной силой вздымать свой камень на вершину, хотя и знающим, что вершина для него недосягаема. Для «Калигулы» мир такой, какой он есть, невыносим. Ему нужна

луна, счастье, бессмертье, но он и в безумии своем знает, что даже самый жестокий тиран ограничен в своей власти — солнце по-прежнему будет вставать на востоке.

Анти-театр **Самуила Беккета**, ученика Джойса, выражается в дезинтеграции языка, у Набокова в смешении языков, но и в служении им. Ничего нельзя назвать, ничего нельзя высказать. В «Ожидая Годо» четыре человека ждут своей смерти, которая никак не приходит, обмениваясь шелухою слов. Это полный нигилизм. Нету жизни, нет и смерти.

Для **Артура Адамова, ученика Антонина Арто**, искусство это — «праздник разрушения».

Наконец в «иррационалистическом» театре Ионеско, даже действие, т. е. в сущности жизнь, не необходимо. В самой его замечательной пьесе «Король умирает» — нечто вроде средневековой Danse macabre — абсолютный пессимизм — завоевание мира небытием.

Во всем этом не найти ничего общего с тем, что мучило Набокова, или отвечало бы на его вопросы самому себе. Нет демонов...

Тайна Набокова

И со мной моя тайна всечасно
Набоков. Стихи 1942 г.

...Путь последний тяжел. Уже поздно.
Скоро свалят меня в придорожный бурьян,
а все прочее ржа и рой звездный...
«Лолита», 1967 г.

При ощущаемой нами в Набокове близорукости духовного зрения, редкие, но существенные намеки, разбросанные в его произведениях, о какой-то тайне, которой он обладает, особенно настораживают.

Сопоставляя его с Достоевским, я упомянула, что философская установка Набокова мне кажется метафизикой небытия.

Но что тогда его тайна?

Я познакомилась с Набоковым в 1932 году, когда он уже определял себя как «безбожника с вольной душой» (хотя, казалось бы, на что безбожнику душа?).

В виду того, что корни набоковского творчества следует искать в его детстве, небезынтересно знать, какую роль религия играла в его семье.

По имеющемуся у меня списку русских масонов — к таким спискам следует относиться с осторожностью — отец его Владимир Димитриевич был масоном. По воспоминаниям самого писателя, среди предков его матери, Рукавишниковых, были сектанты. Это выражалось в ней, пишет Набоков, «в ее здоровом отвращении от ритуала греко-православной церкви». По-видимому в этом англизированном доме не было
и русского традиционного быта, который Лев Платонович Карсавин называл «бытовым исповедничеством». Все же Владимир был крещен православным. Нормально, живя в Петербурге до революции, он учился Закону Божьему, посещал церковь и исполнял ее обряды. Лужин недаром помнил, памятью Набокова, «ночные вербные возвращения со свечечкой» и исповеди в домовой церкви, и пасхальные ночи: «был запах ладана», и «горячее падение восковой капли на костяшки руки», все что будило томные воспоминания: «медовый лоск образа», или «вкусный церковный воздух»...

Юношеские его стихи в «Грозди» хоть и беспомощны, но не лишены религиозного чувства. В раю, где собрались русские поэты, «ширь весны нездешней, безмятежной».

В том же сборнике «бледные листики тихой сирени, кропят на могилах сырые кусты». Обращаясь к анютиным глазкам, поэт просит их сказать Богу: «Мы много страдали,

котомки пусты, мы очень устали». В стихотворении памяти Достоевского, только Христос не отвернулся от дохлого пса. И так будет нежна райская песня поэтов Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Фета, к которым присоединится и Блок, что и мы русские изгнанники

> в эти годы горести и гнева,
> может быть услышим из тюрьмы
> отзвук тайный их напева.

В самом начале двадцатых годов кн. Нина Оболенская, часто встречавшая Набокова в Берлине, помнит, что он ходил тогда в русскую церковь св. Владимира на Находштрассе. Брат мой, ставший в 30-х годах настоятелем этой церкви, там уже не видал Владимира Набокова (видал незадолго до его трагического исчезновенья его брата Сергея). Невеста Набокова Светлана принадлежала к глубоко верующей православной семье, брак с ней не мог быть вне церкви.

Как будто с годами Набоков все более становился агностиком — и даже воинствующим антицерковником. Параллельно развивалась и его достоевскофобия. Чужая вера его раздражала. Но это отчуждение от верующих шло постепенно. Выпады против Бога учащались. В сборнике «Возвращение Чорба» 1929 года мы найдем еще такое стихотворение как «Мать».

> «Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив
> спускается толпа...
> Увещевающий уводит Иоанн, седую, страшную
> Марию»,

и вопрос:

> «Что если этих слез не стоит наше искупление?»

Третья строфа начинается так:

«Воскреснет Божий сын, сияньем окружен».

Нигде, ни в одной книге, позднее мы не найдем имени Христа. Как не найдем объяснения чуда писательства — Божьим даром, а в 1928 году в стихотворении, посвященному Толстому, Набоков написал:

...Так Господь
избраннику передает свое
старинное и благостное право
творить миры и в созданную плоть
вдыхать мгновенно дух неповторимый...

Отчуждение от духовного идет у Набокова с необыкновенной яркостью и в конце жизни дойдет до какого-то потустороннего страха или отвращения от всего, что связано с христианством.

Очень показателен в этом отношении инцидент, о котором мой брат, Архиепископ Иоанн Сан-Францисский, мне рассказал и о котором он затем написал в «Русской Мысли» (1 июня 1978 года). Мой брат встречался с Набоковым еще до меня, в Берлине в 1923 году, а в последний раз — **после меня**, в Монтре Паласе, в разгаре дела Солженицына, когда Солженицын еще не был выслан из Союза. Прощаясь, мой брат хотел не благословить Набокова, — благословление дается тому, кто его просит, — но дружески обнять его «по русскому обычаю». И тут, пишет Владыка Иоанн, «с какой-то непонятной силой убеждения, Владимир Владимирович, помрачнев, нервно отстранился от меня и сказал, что «не любит таких прощаний».

Кажется во всей пастырской жизни Владыки Иоанна, встречающегося с очень разными людьми, с верующими и

неверующими, и не только с православными, но и иноверцами, никогда еще такое «отстранение» не случалось, объяснение тут можно найти только в плане мистическом.

Мне легче всего расшифровать Набокова в трех, в моих глазах, самых лучших его книгах: «Зашита Лужина», «Дар», «Приглашение на Казнь». Камуфляж там еще довольно прозрачен. От метафизики можно отказаться, но самый глупый человек не может не думать о смерти, в частности, следовательно и о смысле жизни. Глупым Набокова никак не назовешь, и кончить «лопухом» его привлекать не могло.

Можно составить антологию из высказываний Набокова или его подставных персонажей о смерти. Раз о смерти вообще, то и об личности, о его набоковской личности, — ищущей самоутверждения, — порой Набоков вдруг как бы шепотом, признается нам в своих сомнениях.

Да, да, совсем не так легко примириться со своим полным исчезновением и с «лопухом». «Пытка бессмертием», пытка, потому что и его отсутствие не доказуемо. Умирающий Александр Яковлевич в «Даре» твердо знает, что после смерти ничего нет. Ему это «так же ясно, как то, что в эту самую минуту за окном идет дождь», «а за окном было солнечно».

«Защита Лужина», роман, о котором Набоков в своем позднейшем предисловии (к новому изданию) написал, что она построена как шахматная игра, интересна и той аналогией, которую можно провести с литературной игрой. Единственно, что занимало Лужина, это была «сложная, лукавая игра», в которую он как бы помимо себя был замешан, и в которую, по своему признанию, был замешан и Набоков писатель. К Лужину ли только относится фраза — «бесплодность его загадочного гения»? Лужин был маэстро, Набоков был мастером — слово «бесплодность» относится к игре. «Ужас шахматных бездн», или ужас слов для писателя, ими одержимого, одинаков. «Время беспощадно», ничего нельзя

доиграть или дописать до конца, все это призрачное искусство — бесплодно[88].

«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» — небольшая по размерам книга мало кому известна. Не знаю, была ли она переиздана с 1945 года, и во всяком случае на русский язык она переведена не была.

Там некто Гудман, бывший друг, секретарь Найта, написал после его смерти книгу: «Трагедия Себастьяна Найта». Гудман шут, личность подозрительная. Набоков вкладывает в мнения Гудмана как будто то, что о нем самом говорят или пишут критики, но на самом деле я не помню, чтобы такое высказывалось кем-либо из них. Бунин предрекал Набокову: «Вы умрете в полном одиночестве», но никто при жизни Набокова не говорил, что он «слеп», и зная твердый обычай Набокова запутывать следы, легко предположить, что слова Гудмана это то, что он иногда и сам, мучительно — и поэтому особенно это скрывая — думал о себе, Гудман о писателе Найте: «Не перенося грубость мира, раненый этой грубостью, Найт скрывал за маской свою боль, но маска эта превратилась в «чудовищную реальность». И надпись на груди Себастьяна Найта, на которой когда-то было написано «Я одинокий художник», была изменена «невидимыми перстами на надпись» «я слеп». К чему был слеп Себастьян Найт?

Трагедия Набокова, что он был как раз ясновидящ по отношению к себе, к себе даже больше чем к другим, и что собственное, как бы навязанное ему одиночество, слепота и «бесплодность гения» — еще раз удивительное тут несоответствие двух исключающих как будто друг друга понятий — гений и бесплодность — были его мучением.

---

[88] «...Или ничего не получится из того, что хочу рассказать, а лишь останутся черные трупы удавленных слов...»

(Приглашение на Казнь»)

Одержимость Лужина была абстракцией шахмат, одержимость Набокова распространялась глубже — была медленным охлаждением души, и с ним мертвели и его книги. Как заключительный аккорд появилась «Ада» — демоническое произведение, которое, в другом совсем плане, конечно, дает пищу ненавистной Набокову «венской делегации».

Итак, смерть, ее жало, как и для всех нас, впрочем, ставит все под вопрос, включая, конечно, искусство. Ходасевич заметил, что Набокова отделяет мир творчества от мира реального, так же как жизнь отделена от смерти. «Умереть это раздеться», читаем мы в «Пнине». Скрывающемуся под масками, под арлекинными одеждами Набокову оголение нестерпимо. Если только искусство путь к бессмертию, то все-таки даже и это бессмертие ограничено временем. Цинцинат, читающий в своей камере прославленный роман о Дубе, — думает «на что мне это далекое, ложное, мертвое, — мне, готовящемуся умереть».

Петр Бицилли считал, что никто не был так последователен, как Набоков в разработке идеи, «что жизнь есть сон».

В одном стихотворении, вслед за Шекспиром, до Пастернака, но вообще-то идея эта никак не нова, Набоков видит жизнь «богатую узорами» как театральную пьесу, неповторную, «поскольку она по-другому, с другими актерами, будет в новом театре дана».

Вот уже три варианта. Жизнь: сон, пьеса, искусство... Есть и четвертый: «никогда не читавший» Паскаля, Набоков выдумал французского мыслителя Делаланда и поставил его изречение эпиграфом к «Приглашению на Казнь». «Как сумасшедший верит, что он бог, мы верим, что мы смертны», тут смерть — иллюзия.

В его до-американские годы, кроме мотива отчаяния, в книгах Набокова есть еще отблески двойственности мира, то есть «всей муки и прелести» его, «всего что томит, обвивается, ранит» и что даже искусство не может выразить, переход

«с порога мирского» в иную область, для которой и мастер Набоков не может найти названия, «пустыня ли, смерть, отрешенье от слова» или м. б. «молчание любви». Душа еще жива, но она «никому не простила».

В «Возвращении Чорба» счастье «во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество». В том же сборнике чудо лопнувшего кокона бабочки, слабые крылья вздыхают «в порыве нежного, восхитительного почти человеческого счастья». В рассказе «Занятой человек» граф Ит (графит), боящийся смерти, знает, «что не воспрещается верить в бессмертие души», но при переходе есть возможность «случайных помех», какие бывают и при рожденьи. Граф Ит кого-то умоляет: «Дайте мне спокойно разрешиться моей бессмертной душой», но ему «еще подлее и ужаснее была мысль, что будущего века нет». Память и смерть — основные темы Набокова — вместе с темой обмана — отчетливо выступают в «Даре», посвященном его матери. Годунов-Чердынцев часто возвращается в «обратное ничто», рождение это выздоровление, «удаление от изначального бытия». Набоков ставит жизнь свою вверх ногами», рождение его делает его смертью, и бодрые, румяные старики идут в пасть инфернальной красоты гробов...

Для Соглядатая Смурова посмертная мука грешника состоит в том, что «живучая мысль его не может успокоиться, пока не разберется в сложных последствиях его земных, опрометчивых поступках», то есть свободная от тела мысль — «продолжает двигаться».

Если заменить слово мысль словом душа, то это недалеко и от христианского понимания загробных мучений.

Герману («Отчаяние») как-то совершенно не подходят рассуждения, не убедительно ему навязанные его творцом, они, как будто, вкраплены искусственно. Они повторение того, что мы найдем в «Приглашении на Казнь» или в рассказе «Терра Инкогнита»... Вот такой дубляж, многократное по-

вторение одних и тех же мыслей и дают нам возможность думать, что это личные набоковские мысли.

В «Терра Инкогнита» все за смертью есть в лучшем случае фальсификация... «меблированные комнаты бытия», а в «Отчаянии», когда умерший очутится в раю и встретится там с теми кого не любил, то «какая гарантия что... это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь демон мистификатор» ее изображающий, оттого и в раю «душа будет пребывать в сомнении!!» В «Отчаянии» найдем мы и одну из причин набоковского неверия — это гордость. Если я «не хозяин своей жизни, ...то никакая логика... не может разубедить меня в... глупости моего положения — положения раба божьего — и даже не раба, а какой-то спички». И хотя беспокоиться нечего, — если нет Бога и нет бессмертия — но беспокойство продолжается. Казалось бы, «веселый безбожник» мог бы удовлетвориться каким-то своим решением, но, по-видимому, выхода из томления нет. Герману легче принять рослого палача в цилиндре, Мосье Пьера, и с ним вечное небытие, чем «пытку бессмертием».

В начале сороковых годов, в своих стихах Набоков раздумывает — неужели и он сам когда-нибудь... но пока смерть еще далека, он все о ней продумает окончательно как-нибудь позже, но иногда ему хочется автора, автора своего земного существования — «в зале автора нет, господа»! Набоков не хочет быть «псом тоскующим о хозяине», забывая, что тоска пса вызвана не страхом, а любовью.

В 1945 году в «Подлинной жизни Себастьяна Найта», Найт, молодой писатель, написал — это будет его последней предсмертной книгой — «Сомнительный Асфодель» — на тему о смерти человека. Сам умирающий Себастьян врощен в свою книгу, она — эта книга — он сам.

Как и Набоков, Найт любит сталкивать, сопоставлять темы, прятать за словами их глубокий, смысл. Но только перед

самым своим концом Найт, наконец, начал обладать полной истиной, восхитительной и одновременно простой, и «выбором своих слов автор заставляет нас верить, что он знает правду о смерти и нам ее откроет». Ум первый, по иерархической последовательности, откликается на приближение смерти, затем сосуды, тело, но «демоны» физической немощи покрывают «нагромождением боли» возможность подведения итогов, память о прошлом, надежду и сожаления.

Где-то в страницах шедевра Себастьяна Найта находится «абсолютное решение». Это «абсолютное решение» начертано на мире, который нас окружает. Оно «удивительно по своей простоте», в нем перемешаны все человеческие знания, все идеи философии, религия, искусство.

В другом романе «Потерянное имущество» — Найт написал: «Единственно настоящее число это номер один: другие только повторение его». Все они выпали из обычной своей классификации и стали одним целым. Тысячи мелочей выросли до гигантских размеров — мир открылся душе.

Но когда эта тайна вот-вот вырвется из уст человека ее познавшего, уже поздно — человек умер, мертва и его книга не успевшая открыть, запечатлеть, выразить тайну...

Полубрат Себастьяна после смерти его сам становится Себастьяном. Книга заканчивается так: «Каким бы секретом Себастьян ни обладал, я тоже узнал секрет. Это, что душа это манера существовать, быть, — и всякая душа ваша, если вы следуете за ее движениями».

Полубрат становится Себастьяном, играет его роль на сцене жизни и все, кто окружал Себастьяна, окружают нового Себастьяна, но «старый фокусник ожидает за кулисами со своим запрятанным кроликом... и маленький лысый суфлер закрывает свою книгу». Свет гаснет — представление кончилось.

Набокову представлялось еще, что память — единственное, что дарует бессмертие тому, что нас окружало и окружа-

ет. Когда человек забывает предметы, он «обрекает их на умирание» — это в «Даре». В одной из позднейших его книг «Прозрачные предметы» уже не человек, а вещи становятся прозрачными. Тут появляется у Набокова новый мотив ностальгии, связанный с чувством своего возможного, уже не отдаленного исчезновения. Будущее не может быть сохранено нашей памятью... Прошлое сияет, просвечивает «через прозрачные вещи, будущее в них не просвечивает», оно та самая пропасть, куда человек проваливается. Это выпадение из времени в вечность. Как бы человек ни был велик, над вечностью ему власти нет.

Ван и Ада переигрывают, в их общей памяти, раннее их занятие — игру, «со странной идеей смерти».

В чем видят они самое тяжкое в процессе умирания? В том же, что и Себастьян Найт: для того чтобы умереть, надо отказаться сперва «от всего, что живет в памяти, затем принять безобразность физической боли» и, наконец, «безобразное псевдо-будущее, пустое и черное как вечное несуществование».

Как полагается, эти трагические размышления разбавлены неовольтерианской шуточкой: когда умирающий приземляется к небесной земле, «с вашей подушкой и ночным горшком... вам отводят комнату не с Шекспиром и Лонгфелло, но с гитаристами и кретинами».

Только раз, кажется, промелькнет у Набокова с силой отчаяния идея спасительной любви, не у Вана-Ады, а в его воспоминаниях, в главе 14-ой «Других Берегов»; там, сознаваясь в необоримой своей «привычке проводить радиусы[89] от этой любви, не только к жене и к сыну (к кому-либо), примеривать эту любовь к безличным и неизмеримым величинам»,

[89] Кстати, в « Conclusive Evidence» привычка проводить радиусы от любви названа «зловредной» — прилагательное это выпало из русского текста.

к сетям вечности, к ужасу перед «крутизнами времени и пространства», сливающимися одно с другим. Этот «беззвучный взрыв любви» настолько поразителен для Набокова, что он спрашивает себя, не заснул ли его разум, так неразумно кажется человеку Набокову, что он мог «развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования».

В «Войне и Мире» то, что томило и радовало Андрея Болконского, человека гордого и неверующего, при пеньи Наташи, это была «страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам».

В сборнике «Стихи» есть стихотворение «Слава», помеченное 1942 г.: оно тоже чрезвычайно загадочно. Начинается оно с разговора автора с его совестью — или «пародией совести», в образе некоего «с копотью в красных ноздрях». Этот гадюка-шутник навязчиво напоминает писателю-изгнаннику о всем, что его мучает и терзает, но в конце Набоков уже не называет ужасного гостя пародией: он счастлив, что его совесть не затронула самого тайного. О тайном этом он сказать нам не вправе, тайна всегда с ним, все остальное, даже мечта о славе или отдаление от России только частность — и пустяк.

Ночь зашифрована, и в звездном алфавите и в себе самом, Поэт познает, что «он может себя превозмочь» — потому что «пласты разумения дробя» он увидел «как в зеркале, мир и себя и другое, другое, другое».

Какая тайна может быть скрыта от совести — почему совесть ужасный гад, с копотью в красных ноздрях? и «сводня»? Что открылось человеку, раздробившему «пласты разумения»? Так из книги в книгу полуоткрывается нам загадочный и сумеречный мир Набокова.

В «Даре» можно сделать так много открытий. Если белый карандаш нравился Годунову-Чердынцеву, то потому, что он

рисовал невидимое, все оставляя воображению. И в том же пассаже поклонник Лермонтова и его Демона, Набоков пишет, что если уж рисовать этим белым карандашом ангела, то чтобы ангел этот был помесью райской птицы с кондором и чтобы он душу младую нес «не в объятиях, а в когтях».

Вместо черта Гоголя, или бесов Пушкина частый гость Набокова — печальный демон, дух изгнания.

В связи с упоминанием Врубеля в «Аде» и ощутимой в Набокове внутренней близости к «Демону» Лермонтова, вдохновившего Врубеля на картину «Летящий Демон», курьезно здесь привести толкование советского искусствоведа Ю. Алянского этой картины:

> «... кажется под ним простерлась чуждая мертвая планета, где ни единый звук, ни единый проблеск света не согреет вечного странника. Холодной тоской вечного одиночества веет от картины. Оно страшнее смерти, потому что вечно. Такое вечное одиночество ужаснее самой страшной казни, потому что всякая казнь имеет конец...»[90]

Ада — роман демонический, но и до Ады и после Ады образ демона мелькает то там, то тут. В «Даре» читаем, что в нашем обычном существовании, в «зловеще-веселом соответствии» с ним, развивается и «мир прекрасных демонов». Но у этих прекрасных демонов всегда есть какой-нибудь «тайный изъян», что-то их уродующее. В «Смотри, смотри, Арлекины» Вадим Вадимович, «фальшивый близнец» — Демон заставил его воплощаться или идентифицировать себя с другим писателем, более великим, сильным и жестоким, чем Вадим Вадимович. Демон отражение зеркал, демон пародии, демон пустоты: «Свет по сравнению с темнотою — пустота» («Дар»).

---

[90] «Рассказы о Русском Музее». Изд. Искусство, Ленинград-Москва, 1964 г.

Ночь Набокова хорошо зашифрована, а тайна вряд ли открылась и самому Набокову до конца, или была лже-тайной. А если открылась, то так же, как открылась созданному им Себастьяну Найту — слишком поздно — он не успел ее высказать, — он был мертв.

Однажды он со станции случайной
в неведомую сторону свернул.
И дальше ночь, безмолвие и тайна...[91]

Париж
2 ноября 1928 г.

Приложения[92]

La Cité Chrétienne» Bruxelles, Juillet 1937

Мастер молодой русской литературы Владимир Набоков-Сирин

(Перевод с французского)

Ровно год тому назад я сидела с Иваном Буниным на террасе парижского кафе и мы говорили о молодой русской литературе.

Бунин высказывался очень скептически: «Молодые не знают своего ремесла» — сказал он. — «А Набоков, Иван Алексеевич?» — спросила я не без лукавства. Бунин помолчал. — «Этот-то уже принадлежит к истории русской литературы. Чудовище, но какой писатель»!

К бунинскому мнению прибавлю наугад выбранные из статей русских критиков цитаты: «Дар воплощения соединяется у него с безудержной стилистической фантазией»

---

[91] Из стихотворения «Толстой», В. Сирин «Новь» 1928 г.

[92] Автор сознательно сопоставляет тут две свои статьи, 1937-го и 1950-го гг., несмотря на имеющиеся в них и в тексте книги повторения, чтобы оттенить разность оценок их Владимиром Набоковым до его мирового признания и после него.»

(Адамович). «Сирин преимущественно художник формы литературного приема» (Ходасевич). «Сирин самый законченный, самый большой и самый оригинальный из писателей эмиграции» (Струве)...

Этот тридцатисемилетний писатель порождает споры и противоречия, никто не оспаривает его громадный талант, но каждый оценивает его по-своему. Что же до самого Сирина, то он смеется над наложенными на него этикетками и, может быть, даже над своим успехом. Самое важное для него это — писание.

Читая Сирина можно испытывать сомнения и замешательство, притяжение или отвращение от того что им написано, но всегда остается впечатление в присутствии чего-то чудесного, — писателя тронутого гением, кто нам не должен давать отчета. Он идет своей дорогой. «Чудовище», утверждает Бунин, скажем странный цветок, расцветший на старом стебле русской литературы, крепко связанный с ее сущностью и одновременно так резко от нее отличный, что некоторые иностранные критики не признают Сирина за русского писателя.

Думают ли они, что быть русским писателем это следовать по стопам тех, кто шел перед нами, упрямо возобновлять старые эксперименты и игнорировать искания времени? Новая жизнь требует новых форм и, мне кажется, что именно Набокову-Сирину принадлежит честь и ответственность за новую струю в русской литературе.

Никто до него не творил в таких условиях, Сирин первый русский ставший писателем в эмиграции, он также первый из них, произведения которого не могут быть прочтены народом, для которого он пишет. Это, может быть, и объясняет тот странный мир, им созданный, выкованный, с его персонажами, у которых только видимость существования. Писатель — космополит. Его космополитизм еще более примечателен потому, что его творчество вне географических

границ... Аллегорическое человечество, страны служат только декорацией.

Искусство Набокова-Сирина свободно. Никакое соображение, не относящееся к его творчеству, его не останавливает. Его феноменальная стилистическая (литературная) виртуозность, секреты ремесла, которые он нам открывает с высокомерным равнодушием — могут иногда нас раздражать. Его игра может нам казаться напрасной и опасной, но победителей не судят, мы в нее втягиваемся вопреки нашим собственным понятиям о литературных приличиях — очарованные замысловатостью его почерка.

Сирин любит метафоры, но в смелом сверкании его фраз никакое слово не случайно, все дозировано, как хорошо составленный коктейль. Он злоупотребляет анимизмом. Если у героев его романов не хватает души, то предметы слишком очеловечены. Шкап похож на беременную женщину, нож вонзается в пухлое и белое тело книги... Он изменяет правилу Толстого, который переделывал слишком удачную фразу, чтобы придать ей больше естественности и который не мог описывать даму, идущую по Невскому, если такой дамы не было.

«Будем прежде всего сочинителями», написал мне когда-то Сирин, фокусник, любящий только чудеса, которые он сам творит.

Творческая сила у него поразительна, воображение его льется из бурного источника, Сирин мчится по своим произведениям и они кажутся написанными одним дыханием, одним усилием, одним темпом. Все его романы неизменно хорошо построены, из хаотичного начала вырисовывается повествование, следующее определенным правилам, дисциплинированное холодной логикой. Каждая вещь на своем месте и, несмотря на обилие деталей, не лишенная ясности...

Мы можем приблизительно, конечно, сравнивать технические приемы Сирина с приемами Джойса, с лучшим Хакс-

ли и, даже, с Жироду, с которым Сирина связывает несколько холодная умственность.

Если можно определить литературную технику Сирина, то внутренние тенденции его творчества многогранны и зачастую противоречивы. К каждой новой книге его надо «акклиматизироваться», запутывать нас — его, авторская, забава: когда он думает, что мы привыкли к его иронии и его скепсису, он позволяет себе нежную улыбку.

В его творчестве нет ничего устойчивого, на что мы могли бы опереться. Никогда «я» его писательства не открывает «я» Сирина — человека. Холодный судья, не испытывающий любви к существам, им созданным, Набоков-Сирин отделяет их жизнь от своей.

Если мы начнем отыскивать корни, которые связывают Сирина с большими русскими писателями, то мы найдем смесь откровенности с типично русской жестокостью по отношению к себе самому. Сирин выбрал новый путь, чтобы сообщить нам, что он не обманут благополучием нашего мира и никогда им обманут не будет... Если он отбрасывает (вопрос темперамента) публичные крики Достоевского — он близок к Гоголю. Способы разные, цель одна и та же: жалость, так обнаженно выраженная Достоевским, сатирический смех Гоголя, ужас рассказов По, стараются нас оторвать от нашего прекраснодушия, от нашего погружения в быт... Сирин выбрал себе оружием ироническую горечь хорошего тона, полное отсутствие жалости, сумасшествие, бесовскую улыбку.

Бес, или черт, зачастую скрывается в произведениях Набокова. Мы узнаем его в некоторых персонажах, обычно второстепенных. К тому же разве это не бесовское наваждение, эта ирреальность жизни, эти люди, которые только видимость людей, даже собака и то поддельная собака — в «Отчаянии».

После «Машеньки», «Короля, Дамы, Валета», романов довольно посредственных, Сирин в 1929 году издает первую значительную книгу. «Защита Лужина», это мастерски, конечно, рассказанная история потерянности, блуждания, моральных страданий слабого Лужина, одержимого шахматным миром. Лужин не найдет иного выхода из этого мира, убивающего все, что есть в нем живого — чем смерть, самоубийство.

И тут впервые мы встречаем соблазнителя: импрессарио Валентинова, еле заметного, запрятанного за кулисы действия, он появится в какой-то момент, чтобы играть роль, как будто и небольшую, но в сущности главенствующую, будет знаком соединения человека и его болезни, его зла. Какое лукавство, какая бесовская уверенность в словах, сказанных по телефону жене выздоравливающего Лужина: «Шепните ему одно: Валентинов тебя ждет», говорит смеющийся голос... и голос «провалился в защелкнувшийся люк».

Валентинов только эскиз, который вырисуется ярче, позднее в «Рассказах 1930 года» в лице фокусника Шока: «Он не мог пропустить случай, чтобы не сотворить обмана... изысканно хитрого» — Сам Шок был «мираж».

В каждой книге таинственный персонаж становится все менее безопасен и все более жесток. В «Камере Обскура», книге наиболее мрачной, которую Сирин написал до тех пор, Валентинов и Шок соединяются — превосходя его в жестокости — в Хорне, для которого все было «комментарием к его искусству».

Бессознательный цинизм достигает своей кульминационной точки в отношении Хорна к Кречмару, Отсутствие тепла, один из бесовских атрибутов имеется и у Хорна. А ключ к сомнениям самого Сирина находится в его книгах...

Мы найдем его и в «Отчаянии». Это страх быть обманутым в чем-то наиважнейшем, начальная неверность всего существующего.

...«Представьте себе что вы умерли и вот очнулись в раю, где с улыбками вас встречают дорогие покойники. Так вот, скажите на милость какая у вас гарантия, что это покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкий демон — мистификатор...»

В этом мире подтасовок, где всякий предмет, всякий человек может представлять любого другого, их отражать их искажая, родилась у Сирина обцессия тайны зеркал. Одно из них чудовищно раздувает, как жабу, отраженного человека, или растягивает его как макаронину... Другие зеркала в «Приглашении на Казнь» обращены в модную игру «неток», обратных зеркал, которые раздробляют (декомпозируют) реальность, но составляют из бесформенных предметов видимость человека, а то и прелестные пейзажи, цветы и т. д.

«Приглашение на Казнь», которое, я надеюсь, скоро выйдет на французском языке, в моих глазах одно из наиболее значительных произведений нашего века. Петр Вицилли в своей статье «Возрождение аллегории» приравнивает его к «Мертвым душам».

Имея эпиграфом, «как сумасшедший считает себя богом, мы считаем себя смертными», «Приглашение на Казнь» переносит нас в вымышленное человеческое общество — вечное, потому что оно вне времени — и вводит нас в конфликт одного человека с этим обществом.

Человек, названный Цинцинатом, приговорен к смертной казни за странное преступление — его непрозрачность. Среди существ совсем прозрачных Цинцинат обладает секретом непрозрачности. Существа, которые его осуждают, могут быть определены словами Цинцината своей матери: «Вы только пародия». Адвокат Роман, сторож Родион, директор тюрьмы Родриг — отметим созвучие, как в галлюцинации, этих имен — представляют собою игры, символы, знаки...

Странность общего тона повествования как бы оттенена тончайшей точностью деталей, и Сирин тут показывает всю

свою виртуозность. Сцена, где адвокат возвращается в камеру смертника, разыскивая свою запонку, жива как сама жизнь.

Или еще сцена прощания с семьей, которая входит к Цинцинату в сопровождении домашней утвари, мебели и даже стен его дома. Наконец персонаж мосье Пьера, палача, который воплощает дух Валентинова, Шока, Горна, который передергивает в карты, показывает фокусы. Многословная речь его образец пошлятины. Г-н Пьер мучает Цинцината, морально преследует его своим вниманием, своей вежливостью. Он представляет Цинцинату, уже примиренному с неизбежностью, все самые низменные удовольствия, от которых он будет оторван: «Еще многое придется покинуть: праздничную музыку, любимые вещички, вроде фотоаппарата или трубки, дружеские беседы... курение...»

Прошу прощения за эти длинные цитаты, но мне хочется, чтобы читатель мог бы судить сам о ценности этой книги, которая должна выйти по-французски. Последнее письмо Цинцината, для которого Сирин впервые очеловечивает свое искусство и как бы пригибает его под тяжестью страданий живого человека, тут следует все привести:

«Может быть гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость (хозяйка еще не встала), быть может... ярмарочный монстр в глазеющем, безнадежно-праздничном мире, — я прожил мучительную жизнь, и это мучение хочу изложить — но все боюсь, что не успею» «...я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо»!.. «нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке, или короче: ни одного человека говорящего; или еще короче: ни одного человека...»

После обманных надежд на бегство и освобождение, после исполнения гротескных обычаев, как совместные визиты к отцам города палача и смертника или роскошного банкета, на котором они оба присутствуют, и фейерверка в честь каз-

ни — Цинцинат вступает на эшафот: «Я еще ничего не делаю — произнес Мосье Пьер... и уже побежала тень по доскам, когда Цинцинат стал считать: один Цинцинат считал, а другой Цинцинат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета»... Затем Цинцинат встал и осмотрелся, зрители стали прозрачными, все рушилось, падало как театральные декорации, обращаясь в труху и Цинцинат «пошел... в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа подобные ему».

«Приглашение на Казнь» имеет множество интерпретаций, может быть разрезано на разных уровнях глубины. Аллегория, сатира, сопоставление воображаемого и реальности, страшная проблема жизни и вечности — во всяком случае большая книга большого писателя, которой надлежит занять место среди шедевров всемирной литературы.

* * *

Получив этот номер «Сите Кретьен» Набоков мне написал: «Я с интересом и умилением прочел Твою статью о «Приглашении на Казнь» — она во-первых прекрасно написана, а во-вторых очень умна и проницательна».

(Цитаты приведены в сокращенном виде)

«La Revue des Deux Mondes»
15 августа 1959 г. Париж

Набоков или Рана изгнания

(Перевод с французского)

Те, кто мог как я, прочесть в оригиналах — русских и английских — все или почти все произведения Владимира Набокова, т. е. около пятнадцати книг, несколько рассказов, пьесу и стихи его, испытывают сегодня некоторое замешательство перед успехом, пришедшим к этому писателю со скандалом «Лолиты». Набоков стоит большего, чем споры, вызванные вокруг этого, не самого лучшего, его романа,

Вырванный из-за скабрезности его сюжета из числа предыдущих книг и может быть и тех, которые за ней последуют, «Лолита» угрожает Набокову легкомысленным причислением его к эротическим авторам...

«Лолита» принесла Набокову деньги, но она искажает подлинное лицо писателя, интересного во многих отношениях. Очень жалко, что «Защита Лужина», его шедевр, переведенный Денисом Рошем и появившийся в 1933 году, не был замечен во Франции, как и «Соглядатай», напечатанный с тех пор в Евр Либр, «Камера Обскура» в 1934 г. или «Отчаяние» в 1937 г. (Две последние книги, впрочем, в переводе не позволяют оценить блистательный стиль Набокова). Другой его шедевр — «Приглашение на Казнь», был предложен (во Франции) нескольким издательствам и ни одним из них не принят. Вероятно из-за коммерческого успеха «Лолиты» мы можем теперь надеяться, что прочтем, наконец, эту книгу по-французски и думается, что многие, упивающиеся «Лолитой» будут разочарованы серьезностью и глубиною «Приглашения на Казнь».

Владимир Набоков — явление исключительное и интересное во многих отношениях. Никто лучше его не выразил, может быть даже бессознательно, беспокойство художника, вырванного из своей природной среды. Его творчество беспочвенно — хотя ни в одной из своих книг он открыто не говорит о феномене изгнания, пусть не новом, (патриарх изгнанников — Овидий) но принявшем небывалые размеры в наш век. Набоков выражает его не так сюжетом, как атмосферой и мельчайшими психологическими чертами — из которых выявляется внутренняя, подсознательная трагедия, какой-то кошмарной свободы, духовной и физической; его персонажи мечутся, заранее обреченные на неудачу и на небытие.

С другой стороны, история литературы не знает другого примера писателя, достигшего мастерства, создавшего персональный стиль и своеобразный ритм на двух разных языках. Поляк Конрад писал только по-английски. Труаяя, Роман Гари, Эммануил Бов и другие писатели русского происхождения (к которым принадлежу и я) — только по-французски, как и американец Жюльен Грин. И Райнер Мариа Рильке, когда он хотел выражаться не на немецком языке, терял свое мастерство.

Больше двадцати лет Набоков писал только по-русски и ему случается еще писать на этом языке. Он выработал свой стиль, придал ему особую пластичность и ритм совершенно новый в русской литературе — скажем западный — может быть поэтому, переведенный на французский язык, Набоков кажется менее оригинальным. Уже сорокалетним он начал писать по-английски и если его книги на этом языке до сих пор не достигли тиража «Лолиты», с самого начала он был восторженно встречен англо-саксонскими критиками, Эдмундом Вильсоном и Граханом Грином, которые приветствовали в нем новатора английской и американской прозы.

Я знала Набокова в то время, когда он подписывался Сириным, вероятно из-за того, что его отца, политического деятеля, тоже звали Владимиром. Ему было тогда тридцать с небольшим лет, он был худ и высок. Под большим лбом его насмешливые и внимательные глаза всегда как бы искали что-нибудь странное, что могло бы его позабавить, или вульгарное, пошлое, которое он немедленно прикалывал как бабочку к своей коллекции, впрочем с меньшей любовью — одной лапидарной фразой. Даже и плохо одетый — по бедности — он не терял элегантности. Сегодня на обложке «Лолиты» лицо его похоже на лицо американского профессора, маститого и обеспеченного. Тонкие губы сжаты, взгляд

разочарован. Мы далеки от тощего эмигрантского поэта и так и кажется, что его международная слава имеет привкус горечи.

В 1936 году, я, молодой литератор, сидела с моим почтенным другом Иваном Буниным в кафе на Елисейских Полях. Мы говорили о литературе. Те, кто читал литературные воспоминания русского нобелевского лауреата, вышедшие в издательстве Кальман-Леви, знают, что благосклонностью к своим современникам он не отличался. Новое поколение тоже не вызывало в нем интереса. Я произнесла имя Набокова-Сирина.

Бунин встрепенулся: «Чудовище, но какой писатель!»

Классик Бунин, отдавая дань таланту младшего собрата, не мог перед экстравагантностью искусства молодого Сирина, не считать его чудовищным. Для традиционалистов его «чудовищность» была двойной. Инстинктивно чувствуя гений своего родного языка и все его возможности, Набоков обращается с ним чрезвычайно своеобразно и рвет с традицией «естественности», довольно сильно укоренившейся у русских писателей. Ему нравится придавать легковесность величественной поступи русской прозы и, одновременно, украшать ее замысловатостью.

Он любит иногда излишние метафоры, он весело ищет странные фонетические соединения, его стиль не лишен маньеризма. Да, простота как будто все более делается врагом Набокова, по мере того как он удаляется от первой своей книги «Машенька».

Любитель парадоксов, Набоков непрочь — это теперь не так уже оригинально, «удивить буржуа», высказывая свое презрение к Достоевскому «писателю полицейских романов». Бальзак для него «глыба гипса». Он любит Пушкина, хотя пушкинская уравновешенность, великодушие и возвышенность у Набокова отсутствуют. Он любит Гоголя, которому он посвятил одну книгу, чтобы доказать, между прочим,

что христианство Гоголя было самому Гоголю чуждо, и таким образом приблизить остроумно, но произвольно, автора «Мертвых Душ» к своей философской позиции.

Критики эмиграции, в то время когда русская эмиграция была в полном интеллектуальном расцвете, не замедлили оценить Набокова. «Дар воплощения на службе стилистической фантазии» писал Г. Адамович, «Сирин преимущественно художник формы, литературного приема», отметил внимательный Ходасевич, «Сирин самый оригинальный из писателей эмиграции» утверждал Г. Струве. И я думала тогда, как думаю и сейчас, что появление Набокова в русской литературе оставит на ней глубокий след.

Тема (в единственном числе) книг Набокова — так верно, что писатель всегда пишет одну и ту же книгу — очень характерна для его личной судьбы.

Фабула может быть разной — и воображения Набокову не занимать стать — но это всегда недоразумение, трагедия, несуществование.

В ледяной пустыне копошатся существа не совсем очеловеченные. К персонажам, им созданным, Набоков относится безучастно, поэтому им не хватает души. Как бы из-за ностальгии по человеку, Набоков очеловечивает предметы: — Шкап похож на беременную женщину, нож вонзается в белое, пышное тело книги.

Небесполезно, прежде чем изучать литературное творчество Набокова, знать его биографию и моральный климат, который определил его.

Набоков родился в богатой и культурной семье. Он был сыном либерального политического деятеля и имел какое-то особое счастливое детство и юность. Хочется сказать, что первые годы его были даже слишком счастливы: у него все было, включая зоркую, внимательную и почти почтительную нежность его родителей. Набоков жил в безоблачном мире. Ребенком у него были две страсти — они и

остались: литература и лепидоптерия. Русская природа, воспитавшая творчество великих русских писателей, его окружала и ее меланхолическая прелесть запечатлелась в нем навсегда. Лучезарный этот мир был разрушен до тла революцией, семья Набоковых сметена в эмиграцию. В Берлине его отец был убит пулей ультраправых террористов — пуля была предназначена не ему, а Милюкову: — т. е. опять-таки трагическое недоразумение.

Кроме этой драмы жизнь молодого писателя была похожа на жизнь тысяч других молодых эмигрантов и можно было даже считать его привилегированным, потому что он не участвовал в гражданской войне, в которой погибли или были искалечены многие его современники и еще потому что он смог попасть в Кэмбридж и там закончить свое образование, позволившее ему стать американским писателем.

Но тот факт, что Набоков был сравнительно привилегированным, не исцеляет общую травму изгнания. Каждый на испытания и катастрофы отвечает по-своему. Одни сдаются, другие сражаются и побеждают или погибают в борьбе, третьи находят в себе духовные силы, которые позволяют им игнорировать все, что извне их пригибает.

Набоков по призванию писатель и поэт, т. е. существо особенно впечатлительное, особенно уязвимое. Он никогда не мыслил себя иначе, чем русским писателем, но он жил в Берлине. Надежда вернуться в Россию уменьшалась с каждым днем. Писать в эмиграции — это создавать в пустоте. Нет или почти нет издателей, нет или почти нет читателей. Молчание окружает писателя-эмигранта. Страна, для которой он пишет — не существует. «Легендарная Россия моего детства» скажет Набоков о родине, ставшей для него мифом. Но рабочий инструмент писателя — его материнский язык, а язык не только способ выражения, но и форма мысли, оттенки чувств.

Для заработка Набоков дает в Берлине уроки английского языка, тенниса и, кажется, бокса. Он женится, у него рождается сын. Книги его появляются, не вырывая его из бедности. С каждой новой книгой все отдаляется от него Россия. Скоро нельзя будет догадаться к какой стране принадлежат персонажи им созданные. Как их окружение, они становятся анонимными, вне эпохи, вне, политических перемен. Его искусство делается все холоднее, все абстрактнее. И только в его стихах — муза не любит контроля — мы находим человеческое тепло, эмоции, озарение и грацию пейзажей, так же как и нежные призраки добрых семейных гениев его детства.

Так, в 1939 году, под псевдонимом Шишкова, как будто для того, чтобы лучше зашифровать его потаенный мир, выходят два стихотворения Набокова, которые я здесь привожу, как человеческий документ:

....
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Шишков-Набоков готов навсегда затаиться и без имени жить, чтобы не встречаться с родиной даже во сне, он отказывается от всяческих снов, он готов променять на чужой язык свой родной язык, единственное, что у него есть. Он умоляет Россию за это пожалеть его и не всматриваться в него «дорогими слепыми глазами».

В это время Набоков и его семья уже жили во Франции, так как в гитлеровской Германии им места не было. Бедность последовала за ним и во Францию, как и отчаяние. Позднее в Соединенных Штатах, когда Набоков напишет свои воспоминания, мы увидим что так велика была его душевная пустыня на нашем континенте, что ни русские, ни французы,

ни англичане не найдут в них теплого отклика. Он забудет даже друзей его черных лет.

В 1940 году Набоков отправляется в Америку и становится профессором русской литературы в одном из университетов. С тех пор денег на оплату счетов газа и электричества не будет ему не хватать. Но не без боли он переходит на английский.

Его двойник — его alter ego — Набоков любит двойников — ему напоминает в стихотворении, написанном в 1943 году, что он «страны менял как фальшивые деньги», и

> ...пописывал
> не без блеска, на вовсе чужом языке
> и припомни особенный привкус анисовый
> тех потуг, те метанья в словесной тоске...

Но поэт, который «менял страны как фальшивые деньги», «торопясь и боясь оглянуться назад», хранит в себе тайну, о которой он нам не расскажет. Из-за того, что ему открылась «пустая мечта о читателе, теле и славе», он вырос вне тела, он живет без отклика.

Только в своих стихах Набоков нам сообщает о своей мучительной мутации. А так он появляется перед нами закованным в броню безлюбовного мира, который он сам создал. И только случайный взгляд, брошенный им на прошлое, заставляет его остановиться перед картиной рая его детства и тогда он находит самые нежные слова, чтобы его отразить.

«Сознаюсь я не верю в время». «Я люблю складывать мой волшебный ковер... так чтобы узоры его приходились один на другой».

Набоков печатается в «Нью-Йоркере», что равнозначно признанию. Книги его выходят, он получает премию. Широкий круг читателей все же его не знает до того дня, когда обманутые шумихой поднятой вокруг «Лолиты», множество

людей открывает писателя Набокова, его не понимая. Ему 70 лет, у него фортуна, у него слава.

Набоков создал беспощадный мир, в котором «Лолита» не больше чем одно звено. В этом мире ничего приятного, ничего достойного любви, кроме блещущего фантазией стиля, быстрого и сухого как треск фейерверка. В нем нет доброты, в нем все кошмар и обман. Для тех, кто любит интеллектуальное спокойствие, лучше выпить отраву, чем читать Набокова. Из-за того, что он не смог победить свое собственное испытание никаким иным способом, как литературным выражением отчаяния, Набоков увлекает нас за собой в свои мучения.

Обещания его детства не сбылись. Значит все обман, «веселый безбожник... в этом мире кишащем богами», Набоков хочет, чтобы мы участвовали в его веселом разгуле разрушения, что не что иное как тактика, дымный занавес над его гневом...

В романе «Отчаяние» мы читаем: «Представьте себе, что вы умерли и вот очнулись в раю, где с улыбкой вас встречают дорогие покойники... Какая у вас гарантия, что эти покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь демон-мистификатор... и вечно, вечно, вечно душа будет пребывать в сомнении». Из этого мира подмен, где каждая вещь может заменить собой другую, где даже собака может стать фальшивой собакой, рождается у героев Набокова обцессия зеркал.

«Приглашение на Казнь» шедевр абсурда, но также аллегория, — как все что Набоков пишет. В этой книге мы найдем модную игру негативных зеркал «неток».

Пленником этих зеркал стал и сам Набоков. Нет сомнения, что он испытал влияние и Джойса, и Кафки, главным образом потому, что они были ему созвучны, что он был готов их принять в себя.

Набоков утверждает, что он агностик и даже не без некоторой старомодной аффектации. Зато демон всегда присутствует на написанных им страницах. «Защита Лужина» (которая вместе с «Приглашением на Казнь» лучшие из его книг) уже говорит об одержимости. Слабый Лужин, потерянный в абстрактном мире шахматной доски (Набоков и сам играет хорошо в шахматы) не видит другого выхода, чтобы выйти из одержимости, как смерть, самоубийство. Он почти спасен своей женой, но Соблазнитель от него не отступает в лице его импресарио Валентинова: «Скажите ему только» говорит по телефону голос — с каким бесовским лукавством и уверенностью — «Валентинов тебя ждет» и голос исчезает, как будто захлопнулся люк... В другом рассказе фокусник Шок играет эту роль. «Он не мог пропустить случай, чтобы не сотворить обмана, мелкого, ненужного, но изысканно хитрого». Сам Шок был: «Мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств».

С каждой новой вещью персонаж вырисовывается все яснее. В «Камере Обскуре» это Горн, который всегда искал пищу своему любопытству. Все было для Горна «комментарием к его искусству».

Когда знаешь творчество Набокова, задумываешься — не приносит ли эта черная литература, истинный смысл которой он скрывает от наивного читателя, самому писателю ту же радость, которую ощущал Горн «Камеры Обскура», видя слепого, садящегося на свежепокрашенную скамейку?

«Приглашение на Казнь», книга о которой во время ее появления критик Бицилли сказал, что она так же значительна как «Мертвые Души», переносит нас в воображаемое и вневременное общество. Человек, названный Цинцинатом, осужден за странное преступление — он непрозрачен. Среди совершенно прозрачных существ Цинцинат, как бы он тщательно это ни скрывал, ИНОЙ.

Те, которые его осуждают, могут быть определены словами героя, обращенными к его матери: «Вы пародия». Адвокат Роман, сторож Родион, директор тюрьмы Родриг — заметим эту галлюцинационную сюиту звукоподобия — символы.

Странность повествования еще подчеркнута точным описанием деталей. Как сцена, в которой адвокат осужденного возвращается в камеру, чтобы найти потерянную запонку. «Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая». Или сцену прощания Цинцината с семьей. Семья приходит на свидание с домашними предметами, мебелью и даже со стенами бывшего его дома (Джойс). Палач Пьер — увеличенная реплика Валентинова, Шока и Горна. Мосье Пьер жулит в карты и в шахматы, показывает фокусы, он говорлив — болтовня его набор пошлостей. Мосье Пьер мучает Цинцината морально прежде чем отрубить ему голову. Он вызывает перед глазами смертника, уже примирившегося с неизбежным, все жизненные удовольствия — самые низменные — этот чудесный мир нам придется покинуть «и все, что в нем находится: праздничную музыку, дружеские предметы, как фотографический аппарат или трубки или дружеские разговоры». Но кто же Смертник? Может быть «гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость... Ярмарочный монстр в глазеющем, безнадежно-праздном мире, я прожил мучительную жизнь и это мучение хочу изложить».

И дальше Цинцинат утверждает, что он знает, предчувствует какую-то тайну. «Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо... но меня у меня никто не отнимет»...

В детстве снился Цинцинату одухотворенный и благородный мир... А теперь, теперь «беда, ужас, безумие». Во всем мире больше нет ни одного человека, говорящего на языке

Цинцината, да и вообще в мире нет человека... После обманутой надежды на освобождение, после того как были исполнены гротескные обычаи страны, как визиты, которые смертник и палач делают отцам города или торжественный банкет, на котором оба они присутствуют как почетные гости, приходит час казни.

«Я еще ничего не делаю» произнес Мосье Пьер... и уже пробежала тень по доскам, когда громко и твердо Цинцинат стал считать: один Цинцинат считал, другой Цинцинат уже перестал слушать»...

«Зачем я тут? отчего так лежу? Цинцинат привстал и осмотрелся», всюду было смятение, присутствующие при казни стали «совсем прозрачны», разрушилась и площадь, все декорации жизни и Цинцинат пошел среди развалин и урагана «туда», где судя по голосам, стояли существа подобные ему».

На минуту сардоническая улыбка стирается и дает место человеческому страданию — если не состраданию.

Я не думаю, что «Приглашение на Казнь» такое же морально возвышенное произведение как «Мертвые Души». Для Гоголя за уродливыми масками зла и пороков стоит имманентность Добра. Если бы Бог не находился в зрительном поле Гоголя, он не захотел бы высмеять грех. Набоков иллюстрирует с брио виртуоза мир отчаяния Кафки и украшает небытие цветистыми гирляндами своих литературных поисков.

«Приглашение на Казнь» легко поддается самым разным толкованиям, может быть распластано на разные слои. Это аллегория, сатира, противопоставляющая воображаемое и реальность, но она не переходит определенную границу. И это, в своем жанре, произведенье, явно заслуживающее вхождения в мировую литературу.

Американское творчество Набокова во всем похоже на его русское. Они близнецы. Это двуглавая птица в разных криках

выражающая одно и то же. И фон и форма подобны и в «Подлинной жизни Себастьяна Найта» мы найдем мотивы «Отчаяния».

Не забудем, что «Лолита» — острая сатира американского быта и странно, что в США никто этого не заметил. Набоков с наслаждением описывает пошлость выражений и пошлость человеческих типов, как будто ведь континент, который Гумберт и его пленница-тюремщик пересекают в своем безнадежном путешествии, не что иное, как громадная часть ничему не служащего бесполезного механизма. Заметим еще, что как в «Зази в Метро» Куено, где только один иностранец правильно говорит по-французски, так и в «Лолите» иностранец Гумберт единственный, говорящий на «королевском» английском языке, на котором туземцы не выражаются.

Наконец, в иллюзионисте Набокове постараемся найти скрытый под аллегорией смысл. Может быть Гумберт художник, старающийся схватить, присвоить — хорошее старинное слово — примыслить — какую-то тайну, таящуюся в нем самом и которую он сам скорее угадывает, чем знает. Выраженная, загрязненная словами, ими преданная тайна уже сама на себя не походит. Тут напрашивается сравнение с романом «Старик и Море» Хемингуэя. Лолита, как Цинцинат, — не персонажи из тела и крови. Не представляет ли она собой произведение искусства, которое его создатель, изнемогая от усилий, силится привести на сушу, таща его за своей лодкой? На берегу морское чудовище всего-навсего бесформенная масса, изуродованная укусами других рыб — читателей и критиков — изъеденная морской солью, жалкий, отвратительный трофей!

На рекламной обложке «Лолиты» автор мог бы написать «не обманитесь» или «не попадитесь на крючок».

Не удивительно ли, что два русских писателя, Пастернак и Набоков, и по способу выражения и по своей устремленно-

сти во всем остро-противоположные, стали в один и тот же год бестселлерами в Соединенных Штатах.

Первый выражает на нарочито простом языке то, что в русском народе есть вечного, второй с западной утонченностью — кошмар человечества без руля и без ветрил...

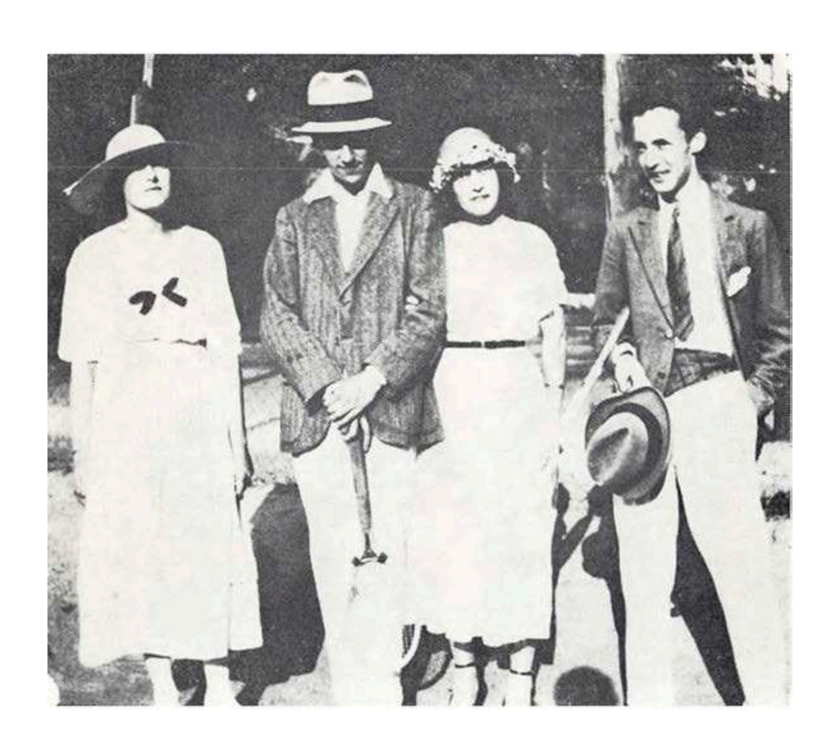
Жак Круазе
(Зинаида Шаховская)

После этой статьи Набоков меня «не узнал» при нашей встрече в Издательстве Галлимар.

Иллюстрации



У В. Е. Кокошкиной, Париж 1937 г.
Слева направо: Ирина Гуаданини, В. Е. Кокошкина,
М. Н. Верещагина, Вл. Набоков,
А. Д. Расторгуев, проф. Михайлов



На теннисе, Берлин 1922 г.
Слева направо: Татьяна Зиверт, Калашников,
Светлана Зиверт, Вл. Набоков



«Посылаю Вам лучшую из моих морд»... 1937 г.



«Вышел я так сказать неважно»...

На Парижской Ярмарке 1932 г.
Слева направо: Саба К., Николай Набоков, Ирина К.,
Владимир Набоков, Н. А. Набокова, Шаховская



Ментона, Франция 1938 г.
Слева направо: З. Малевская-Малевич (Шаховская), Вл. Набоков,
Митя Набоков, В. Е. Набокова

Содержание

Владимир Владимирович Набоков

Другие берега

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru